

ИВАН РЫЖОВ

*И*роза жизни

ОРЕЛ  
• ВЕШНИЕ ВОДЫ  
2005

ББК 84 (Р2)6

Р 93

**Рыжов И. А.**

**Проза жизни.** Рассказы и эссе. Письма и рецензии. – Орел: «Вешние воды», 2005 г. – 496 с., илл.

Редактор и составитель *В. А. Ермаков*

Дизайн – *А. А. Ермакова*

*В оформлении использованы  
фотографии Леонида Тучнина  
и графика Николая Силаева*

От составителя:

*Эта книга задумана и собрана как представление творчества писателя на фоне его биографии. В этом издании наряду с авторской прозой Ивана Рыжова выборочно даны материалы из его личного архива и фондов Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева. Книга заведомо неполна, недостаточна – и все же... Страницы прозы и страницы жизни, переплетенные в единую книгу, с разных сторон выявляют образ автора. Мастер короткой формы и прекрасный стилист, Иван Рыжов среди тех немногих, кто сохранил честь и совесть русской литературы в годы разброда и шатания. А далее пусть сбудется по молитве писателя: «Боже, спаси и помилуй нас, грешных, от лишних слов...»*

ISBN 5-87295-178-7

© И. А. Рыжов, 2005

© А. А. Ермакова, дизайн, 2005

© Изд. «Вешние воды», 2005

© ИД «ОРЛИК», 2005

# Ироза ЖИЗНИ

р а с с к а з ы

э с с е

к р а т к и е   р а с с к а з ы

и з   д н е в н и к а   п и с а т е л я

п и с ь м а

п о с в я щ е н и я

н а д п и с и   н а   к н и г а х

о т з ы в ы   и   о т к л и к и

с л о в а   и   р е ч и

в   з е р к а л е   к р и т и к и

*Алене, жене моей,  
посвящается*



# I

СТРАНИЦЫ

ПРОЗЫ



## Конь золотой

**З** Кроткий убогий день. Был — не был. Гостил — уехал. На серо-зеленом лугу стоял, прядал, густо ржал золотой конь. Стоял, прядал — ноги стройные, в белых чулках, бока полные, атласные, хвост волончатый, грива ржаная, длинная, ляжки тугие, точно резиновые, ноздри широкие, мокрые, теплые, глаза карие, налитые, влажные, сам весь светло-рыжий, недоступный — сказка!

Подхожу, смотрю, трогаю — морозится, вздрагивает, напрягается... Глаза яркие, бешено-выпуклые, косят в мою сторону: вот-вот ударит литым тяжелым копытом. И в то же время ластится, тянется мягкими влажными толстыми губами.

Ласкаюсь, шепчу, трогаю, упиваюсь... «Конь, мой конь, удивительно-близкий, родной, древний!»

А он вдруг опять трусится, ржет, опять перебирает будылистыми, изумительно длинными ногами, напрягается, вытягивает крутую шелковистую гладкую шею. Гляжу, шепчу, даю старую засохшую корку хлеба.

Мокрый, пестрый, волнистый луг, травы теплые, светло-зеленые, пологие лысые бугры, уже истоптанные, небогатые; выпуклое, в редких дамасских облаках голубое небо, бледная даль; рядом темный шаткий деревянный мост, узкая спокойная речка, бывшая разоренная усадьба. Бегут и бегут тени, что-то шушит, скребется вокруг, струятся, блестят, переливаются

*ся листья редких берез. Тоска, пустая предосенняя пора, один...*

*А он снова и снова гулко, весело ржет — и окрест все вздрагивает, наполняется неземными звуками, и эти длинные звуки уносятся вдаль, куда-то ввысь, в поднебесье — и там натыкаются на что-то и медленно возвращаются... Упоительно, неповторимо! И нежно, и тревожно отчего-то на душе.*

*Ползут, перебирают невидимыми ножками по блеклой унылой траве нарядные божьи коровки, стороной идут, куда-то убегают телефонные столбы, тонкие провода на них то серебряные на западной стороне, то темные вблизи — разные; тишь, великая глушь, немота. Почти ночь. Сине-бархатное небо уже дырявится, прокалывается мелкими звездами. Сверху глядит, тепло дышит плоская, с оранжевым кругом луна.*

*А он летит, несется, нежно осиянный месячным светом — мой древний близкий конь, длинные атласные бока дуются, круп лоснится, рыже-белый хвост изгибается, хлестает по стройным ногам — Господи, куда деться от счастья?*

*А на краю цветного луга, у самой кромки ленивой речки, сидят три мужика, пьют, закусывают, тяжело сопят...*

*Узкая гладь воды морщится от слабого ветра, переливается на середине тусклым серебром... Сладко-холодно пахнет уже увядшей поздней травой, остро, зло кусаются зелено-золотистые мухи... Несказанно грустная, печальная пора!*

*И вдруг опять ржание, звук — громкий, неожиданный, сладостный. Внутри что-то обрывается, замирает, на глаза навертываются легкие слезы. А мужики уже галдят, приди-*



*раются друг к другу, о чем-то орут, чуть ли не дерутся...  
Что им эти закаты, дивная вековая глухая речка, этот не-  
бесный, воздушный, золотой от света конь...*

*Мой конь!..*

*Шелковый потертый луг, темно-лиловое небо, хрусталь-  
ное бормотанье сонной птицы. Медленный хруст мертвого  
первобытного песка на берегу речки. Говор мужиков, это древ-  
нее ржание. Был – не был. Гостил – уехал. Куда?..*

## • РАССКАЗЫ •

### Горькая рябина

О т станции до райцентра нужно было ехать еще семнадцать километров, и Клара Иванова растерялась. Поезд пришел под вечер, и было уже сумеречно, серо, а на западе ширилась, растекалась по всему горизонту сине-лиловая страшная туча и прямо на глазах как-то зловеще темнела, и Клара не знала, в какую сторону идти, где автобусная остановка и есть ли она вообще.

«Ну и дыра, — тоскливо подумала она. — Везет же другим. Вот Милка Зубцова и училась хуже, а попала в областной город».

Клара Иванова ехала по распределению после института на работу врачом. Ехала она местным поездом, и вагон оказался почти пуст, был будний день. На станции тоже сошли всего несколько человек, и она как-то не успела, постеснялась спросить: в какую сторону ей идти. А теперь станция была пустынная, все куда-то подевались, точно провалились сквозь землю, и Клара злилась, ругала себя за излишнюю робость, застенчивость. «Ах, какая дура. Какая дурища», — повторяла она. Она испуганно вздрогнула, когда над головой раздался короткий и резкий треск, как будто кто раздрал, сломал огромный сухой сук дерева, и вслед за громом сильно набежал, подул преддождевой ветер, и она, подхватив тяжелый чемодан, помчалась к тускло освещенным окнам приземистого вокзальчика. Дверь оказалась неожиданно тугой, и она с силой открыла ее. Зал ожидания был мал и почти забит людьми, и было душно, сперто от потных тел в нем, но Клара обрадовалась — оказалось, что все ждут автобуса на Силь, ждут давно, но автобуса все почему-то нет.

— Поломался небось в дороге, — прогудел над ее ухом высокий рыжеватый мужчина и незлобно ругнулся: — Старые, туды их мать, выпускают на маршрут.

Клара машинально, будто мужчина обращался к ней, кивнула головой и бочком, напрягаясь, боясь задеть кого чемоданом, пробралась в угол и затихла, застыла неподвижно. Ей почему-то сейчас хотелось плакать. И она не обращала внимания на разговоры, на плач сидящего рядом ребенка. Не слышала она и грома, дождя за стеной, и очнулась от забытья, когда рыжеватый мужчина громко и радостно крикнул:

— Приехал, туды его мать!

Все сразу зашумели, ринулись к двери, боясь опоздать, и в дверях образовалась пробка, и Клару сжали, затолкали со всех сторон, и она, точно по течению, медленно и непроизвольно поплыла к выходу.

На улице было свежо и мокро от дождя, чувствовалось, что дождь прошел сильный, но сейчас уже прекратился, и небо очистилось, темно синело вверху и глазасто сверкали звезды.

— Что рот раскрыла-то, — наткнулись на неё в темноте.

Клара виновато извинилась, неловко посторонилась и угодила в лужу. Она ойкнула, шагнула в сторону и ей опять попалась лужа. В модные белые туфли тотчас налилась вода, и ногам стало мокро и холодно, и ей захотелось плакать еще больше. К автобусу она подошла последней и еле втиснулась в него.

Автобус и в самом деле оказался стареньким, всю дорогу громыхал, дребезжал стеклами, и всю дорогу Клара простояла на ногах у двери — места все были заняты. В разбитое стекло, щели сквозило, дуло невероятно, и Клара озябла, приехала в Силь совершенно разбитая.

Она с трудом отыскала одноэтажную деревянную гостиницу, но свободных мест не оказалось.

— Скажите хоть, как пройти к больнице, — устало попросила она под конец упрашиваний дежурную.

— А это совсем рядом, — сразу же оживилась дежурная. — Выйдете и свернете направо. Увидите двухэтажное белое здание. Это и будет больница.

— Спасибо, — поблагодарила Клара и неохотно пошла к выходу.

В коридоре гостиницы было тепло, и ей не хотелось на улицу, а хотелось спать.

Больницу Клара нашла быстро и решительно постучалась в дверь приемного покоя, но никто не отозвался, не вышел на стук, хоть и горел там свет. «Спит, небось, дежурный врач», — подумала она и постучала громче, настойчивее: «Должна же хоть сестра сидеть...» И на повторный стук отозвались, спросили: «Кто там?» Клара назвала себя и ей крикнули: «Входите, не заперто». В приемной комнате у стола сидела полная пожилая женщина, и лицо ее было устало и слегка помято, она и в самом деле, должно быть, прилегла, вздремнула ненадолго. «Вот и эти короткие минуты я оторвала у нее», — виновато и сочувственно подумала Клара. Она была на практике и знала, что такое ночное дежурство, а женщина уже участливо и приветливо спрашивала ее:

— К нам на работу? Хирургом? Вот и хорошо — хирургов у нас не хватает...

И не успевала Клара толком ответить на очередной вопрос, как женщина (Клара так и не знала, как зовут ее) задавала следующий, видно было, что соскучилась она по свежему человеку, а Клара уже устала отвечать, и пожилая женщина зорко заметила это и прервала себя:

— Ну ладно, хватит на сегодня. Так говорите, что в гостинице нет мест? Это бывает. Какое-нибудь очередное совещание устроили, вот и задержался народ, — добродушно засмеялась она. — Сейчас как-нибудь пристроим вас...

Но устроить сразу не удалось. В комнату поспешно вошла дежурная сестра и, запыхавшись, сказала:

— Людмила Васильевна, Самохину из пятой плохо.

— Сейчас, сейчас, — отозвалась Людмила Васильевна. —

Вы подождите, ладно?

Вернулась она скоро и устало пояснила:

— Положили лед на живот.

Она открыла дверь в соседнюю комнату — там стояла узкая кровать — и спросила:

— Подойдет? Не обращайтесь внимания, что подушка помята. Это я на минуту прямо в халате прилегла.

— Ну что вы, — покраснела, засмушалась Клара. — Спасибо большое.

— До утра, — попрощалась докторша. — Утром еще увидимся. Я слышала, что квартира прежнего хирурга, ну того, который уехал отсюда, еще не занята. Так вы просите ее, — посоветовала она на прощанье.

Утром, несмотря на усталость, Клара проснулась рано — на новом месте, как всегда, спалось плохо, снились разные сны, и она сейчас не могла даже вспомнить их — так причудливы и фантастичны были они. Комната оказалась без окон, и Клара, сидя на кровати, мучительно припоминала, где же выключатель, но так и не припомнив, вслепую зашарила по стенам, стараясь идти на цыпочках, не шуметь. Выключатель она нашла у самой двери и, включив свет, посмотрела на часы — стрелки показывали семь.

В соседней комнате сидела, точно и не вставала всю ночь, Людмила Васильевна и что-то писала. «Заполняет историю болезни», — догадалась Клара.

— Доброе утро, — тихо поздоровалась она и поинтересовалась:

— Ну как больной из пятой?

— Худо, — устало ответила Людмила Васильевна. — Прободение желудка. Пришлось вызывать главного, он у нас хирург, делать операцию.

Клара испуганно заморгала серыми круглыми, как совы, глазами, веснушчатое лицо ее силилось выразить сочувствие, и она не знала, что сказать, спросить еще.

— А главный так и не ушел, сидит у себя. Вы сполоснитесь и идите к нему, — посоветовала, не поднимая головы, продолжая писать, Людмила Васильевна.

— Прямо сейчас? — удивилась Клара.

— А что время даром терять, — ответила Людмила Васильевна и напомнила:

— Не забудьте о квартире.

Робко и неуверенно остановилась она перед дерматиновой дверью с табличкой «Главный врач», откашлялась и робко постучалась в нее.

— А-а, коллега, входите, — пригласил главный врач и поднялся навстречу. — Людмила Васильевна уже говорила о вас.

Был он немолод, но не стар еще. «Лет сорок пять, сорок шесть», — определила Клара. Лицо его было узко и длинно и чем-то недовольно сейчас. Длинными были и руки его с тонкими и длинными пальцами. «Настоящие хирурговские», — восхитилась Клара и огорченно посмотрела на свои короткие и пухлые руки и почему-то испугалась: «Строг, должно быть...»

А главный врач, не замечая ни восхищения и ни испуга ее, спросил:

— По желанию к нам?

— По распределению, — неохотно ответила Клара.

— Ага, по распределению, а вернее по принуждению, значит, — уточнил главный. — Ну что ж...

— Не совсем так, — пыталась запротестовать Клара, но главный уже плохо, почти не слушал ее, а стал звонить, спрашивать у дежурной сестры:

— Как там Самохин? Пульс? Температура?

И удовлетворенный, видимо, ответами, вновь повернулся к Кларе, пристально посмотрел на нее.

— Ну что ж, — весело повторил он, — хоть три года отработаете по закону и то хлеб. А там...

И не договорив, не пояснив, что он подразумевает под этим там, он утвердительно спросил:

— Родственников, конечно, здесь у вас нет?

Клара отрицательно мотнула головой и подумала: «Хоть бы сказал, как зовут-величают. Зря не спросила у Людмилы Васильевны». Ей было неловко, что она не знает, как зовут главврача.

— Та-ак, — протяжно произнес главный и достал папиросы и закурил. — Займете квартиру прежнего хирурга. Формальности я улажу, а ключи, кажется, у заместителя по хозяйству.

— Спасибо, — вскочила Клара. Она не ожидала, что все так быстро и просто решится, и спросила:

— А на работу когда выходить?

— Хоть сейчас, — рассмеялся главный. — Работы ой как хватает.

Клара недоверчиво взглянула на главврача, пытаясь понять — шутит или всерьез все говорит это он, но, так и не поняв, не знала, что ответить. Ей не хотелось сразу на работу, а хотелось отдохнуть с дороги, привести себя, свои мысли в порядок, а главный, видя ее нерешительность, смущение, добродушно сказал:

— Шучу, конечно. Располагайтесь, отдыхайте с дороги, а уж завтра на работу.

И Клара благодарно взглянула на него, подумала: «А он славный, хороший...», — а он опять стал звонить дежурной сестре, спрашивать о Самохине и пришли ли старшая сестра, заместитель по хозяйству, стал давать указания, и Клара все ждала, когда можно попрощаться и выйти. Наконец он положил телефонную трубку, и Клара спросила:

— Я могу идти?

— Да, да, коллега. Подождите только заместителя, — и, увидев, как Клара взяла новый бежевый чемодан, поинтересовался: — Это все? Или нужно послать машину на станцию за багажом?

— Спасибо, не нужно, — поспешно ответила Клара и почему-то покраснела.

— А квартира ведь двухкомнатная, большая, — будто сейчас вспомнил главный. — Пожалуй, великовата для вас...

Клара замерла от этих слов, огорчилась сразу: «Все, сейчас передумает, откажет». Но главный врач вдруг оживился, весело взглянул на нее.

— Ничего, коллега. Вот выйдете замуж, родите, и в двухкомнатной станет тесно, — и он довольно засмеялся от этой мысли и заинтересованно повторил: — А хорошо бы вам замуж за местного...

А Клара жарко и густо покраснела от этих слов. Ей и в самом деле хотелось замуж...

## II

Хочется ей замуж и сейчас...

Клара работает в больнице вот уже скоро два года, привыкла к ней, к Силу, привыкла к операциям — делает она

их часто у себя в райцентровской, а иногда и на выездах в селах, и главный доволен, хвалит ее.

— А вы ничего, коллега, молодцом.

И будто ненароком спросит:

— Ну как — жениха еще не присмотрели?

В больнице не хватает врачей, и он все боится, ждет, что она уедет.

Клара же всегда вспыхивает до слез, хочет сказать что-нибудь гневное, колкое главному — ненавидит она его в эти минуты, но, так и не сказав ничего, молча уходит. Скромна, застенчива она болезненно. И некрасива. Лицо ее кругло, волосы коротко острижены, и лицо от этого кажется еще круглей и больше. Но она почему-то вбила себе в голову, что длинные волосы хирургу носить нельзя — мешают на работе, при операции. Нос у нее маленький, пуговкой, в кости широка и толста она не в меру, хоть и идет всего двадцать пятый год. Волосы у нее густы и волнисты, но какого-то мышинового цвета, и пробовала она перекрасить их, но стало еще хуже. Пробовала и худеть: днями, неделями не ела мяса, хлеба, картошки, в рот сладкого не брала — сидела на одних овощах, украдкой, чтобы никто не видел, часто взвешивалась на больничных весах, смотрелась подолгу в зеркало. Но все так же была кругла и толста — и поститься бросила...

Сегодня она тревожно торопится на работу — ей предстоит ехать по вызову в деревню. Деревня далека, и дорога туда плоха, разбита, но боится она не длинной, трудной дороги, а тревожится за ребенка — что с ним? Телефонная связь была еле слышна, прерывиста и понять что-либо было трудно. И она сердится на себя, на дежурную сестру, принявшую вызов, хотя и знает, что та ни в чем не виновата.

Детей любит она сильно, как-то зверино-жадно, и страдает больше родных, самих детей, когда привозят их к ней. Она часто любит сидеть в райцентровском парке и подолгу смотреть на детей, их игры и повторять про себя придуманную ей самой фразу: «С детьми прекрасны люди, а без детей бесплодны и мертвы они». И ненавидит, презирает себя, когда приходится изредка делать аборт. Пре-



зирает и тех, кому их делает. Она не находит места тогда, плачет где-нибудь в уединении, пробует отказаться, но главный сердито говорит: «Позвольте это бабкам делать? Гинеколога ведь нет». И она смиряется.

Вот и сейчас она шепчет на ходу: «С детьми прекрасны люди...» и почти не видит, как раскланиваются с ней встречные, и отвечает машинально, почти механически.

Машина уже ждет ее, и шофер Николай бодро, весело-шутливо докладывает:

— Карета подана.

— Сейчас, сейчас, — бросает она на ходу, быстро собирает сумку с инструментами, лекарством, и они едут.

Возвращаются они уже под вечер, и Клара устала, пропылена вся, как тракторист, но довольна: с мальчишкой ничего страшного — легкий перелом руки, и, помывшись в душе, раздумывает: «Зайти ли по дороге к Жене или сразу домой». Ей нравится бывать у Жени. С терапевтом Женей Мишиной они дружны, близки, подружились как-то сразу, хотя и нелегко, трудно сходится Клара с людьми — мешает вся та же застенчивость. Женя старше ее на пять лет, но, как и Клара, живет одиноко с маленьким сыном. После института ее послали работать на Крайний Север, там вышла замуж за рыбака, но рыбак пил, а напившись, становился буен, драчлив, и Женя развелась, оставила его. Как и Клара, она некрасива, но некрасива по-другому: она худа, плоска, как щепка, и Клара часто горько шутит:

— Неразумна все-таки природа, Жека. Что ей стоило у меня убавить, а тебе добавить — и было бы все отлично.

Им хорошо вдвоем. Любят они много читать и читают почти одни и те же книжки, любят слушать пластинки. Любят и сами петь. Поют они нежно, как-то печально-грустно — про измены, разлуки, безответную любовь...

Но еще больше любит петь Клара в хоре. Хор у них при больнице, знаменит на всю область, и они часто выезжают с концертами. И Кларе нравится стоять на сцене, смотреть в зал — нравится праздничная обстановка в зале, и быть самой праздничной, нарядной нравится — все они

одеты красочно, в белых расшитых платьях, с серебряным полумесяцем на голове, и кажется, чудится тогда, что нет никого лучше, красивее их, и забывает она тогда на время, что некрасива, толста она.

Она и Женю зовет в хор, но Женя отказывается, говорит:

— А Антошку на кого оставляю?

— Соседи присмотрят, — волнуясь, сердится Клара.

— Нет и нет, — не соглашается Женя.

И Клара отступает, думает про себя: «Как сильно она любит Антошку. Мне бы так...» Ей хочется замуж, хочется детей. «Самой что ли родить», — возникает мысль, но она тут же пугается ее. Просто так, без любви — ни за что...

...Наскоро причесавшись перед зеркалом, она решает не идти к Жене, а домой — устала, разбита она после трудной дороги, всех этих переживаний за ребенка невероятно. На улице тепло, но воздух тяжел, влажен и душно, как в бане. «Дождь, наверное, будет», — думает она, но высокое небо чисто, тихо и сумеречно вокруг, и остро, сладко пахнет спелыми яблоками из садов. Почти пустынные и улицы в этот час — сильцы, возвратившись с работы, хлопчут по дому, ужинают, принаряжаются перед выходом в парк, Дворец культуры. Скоро они высыпают на улицы, и яблочный запах перемешается с запахом духов, пудры и станет многолюдно, тесно на узких асфальтовых тротуарчиках и даже на центральной проезжей дороге.

Клара не любит этих вечерних гуляний, танцев в парке, неуютно и сиротски чувствует она среди нарядной молодежи, еще больше ощущает свою некрасивость, и избегает вечернего парка, Дворца культуры, когда там нет репетиций, концерта.

Перед домом она сворачивает, не заходит к себе, а идет на высокий каменистый обрыв над речкой. Это ее любимое и постоянно-привычное место. Сидит она здесь подолгу, смотрит на темную, потаенную своей глубиной речку, на широкие розовые, красные, бордовые, прямо на глазах меняющиеся закаты, на беспредельные, чистые и прекрасные дали, открывающиеся с высокого бе-

рега, вспоминает дом, мать, родной Воронеж, институт, своих однокурсниц, которые пишут, что устроились хорошо и почти все повыходили замуж... Видится их семейная жизнь, их дети, представляется ей дальняя дорога — она едет к ним в гости и тоже не одна, а с мужем, с маленькими детьми. Потом она, уже поздно вечером, идет домой, но долго не ложится, долго читает. Нравятся ей Бунин, Чехов, Паустовский, «Анна Каренина» Толстого... Читает до глухой, мертвой ночи, но и отложив книгу, устав, не засыпает, лежит в темноте с открытыми мечтательными глазами. Воображаются ей разные истории, случаи, которые будто бы происходили или произойдут в ее жизни.

Часто воображается ей, как с одним высоким красивым парнем случилось несчастье, и она делает ему операцию, спасает его. Однажды утром, при обходе, когда они остаются одни, он робко, несмело говорит ей:

— Клара Алексеевна, вы нравитесь мне...

Но она не дает договорить ему, резко обрывает:

— Больной, лежите спокойно. Вам вредно много разговаривать.

Но на другой день он опять говорит ей:

— Клара Алексеевна, я вас люблю...

И опять она холодна, вежливо-неприступна:

— Больной, вам вредно волноваться.

Но она знает, что уже тоже любит его, и ясно видится ей, как сначала тоже робко, несмело она положила руку на его голову (будто пробуя, есть ли температура) и задержала ее чуть-чуть дольше, а он схватил руку, прижал ее к щеке, поцеловал ладонь... И она вспыхивает вся, жарко краснеет от этого сладкого видения, шевелит в темноте рукой, будто и сейчас горит на ней поцелуй неведомого парня...

Или представляется ей другое. Как она возвращается поздно с репетиции, и к ней пристают, нападают на нее хулиганы. Она кричит на них, отбивается, но они грубы, нахальны, и тут появляется высокий и сильный мужчина и расшвыривает, раскидывает он их в разные стороны, и они трусливо убегают, а мужчина говорит ей:

— Вас проводить?

Она отказывается, но он все равно провожает ее до дома, но потом они долго не видятся и встречаются вновь случайно. Встречаются и уже не расстаются...

Утром она просыпается рано и вспоминает свои ночные грезы, сны, которые она видит постоянно, и томно у нее на сердце и отчего-то хочется плакать... А плакать хочется потому, что обходят, не замечают ее парни. «Почему? — злится она иногда. — Бывают и хромые, и некрасивей меня, а выходят, живут ладно и хорошо...»

Как хочется ей иной жизни!

### III

Сегодня — суббота, и просыпается она поздно, а проснувшись, долго не встает, лежит в постели, читает опять Бунина, его «Темные аллеи». Проголодавшись, вскакивает, ставит на электроплитку чайник и бежит умываться. Потом собирается идти к Жене, но та приходит сама, и не одна, а вместе с Инной Выриной.

— Кларка, собирайся, на речку пойдем! — кричат они еще с порога.

— Ой, Жека, я только что хотела к тебе, — радуется Клара.

— Давай, давай собирайся, — торопят они.

Голос у Инны Выриной выделяется — он мягок и красив. Красива она сама вся — каштановые волосы ниже плеч, лицо тонко, но не худо, а в меру полно, кожа на лице, руках бархатиста, гладка, точно точеная, матово-коричневая, а губы и без краски вишневые. И стройна. Работает она выездной сестрой на «Скорой помощи». Как сошлись, подружились — они и сами объяснить не умеют: у Инны уйма кавалеров, и она часто пропадает в парке, во Дворце на танцах, но замуж не торопится — выжидает удобного жениха. Бывает часто и с ними.

На речке уже много народа — жара стоит невыносимая, хоть и конец августа уже, и они выбирают, ищут место подальше, поукромнее от всех. А найдя, быстро раздеваются, расстилают одеяла. Неподалеку — корявая ракета, и они ставят туда, в тень, сумки с едой — собра-

лись на речку они на целый день. К Жене приехала мама, и Антошка с ней.

Раздетая, в купальнике, Инна Вырина еще красивей: кожа ее шоколадно-черна от загара — работает, дежурит она через день и чаще бывает на речке. У них же кожа розово-бела, почти не тронута загаром.

Вода в речке тепла, как парное молоко, прозрачна и чиста, и они брызгаются, купаются подолгу, потом лениво лежат на одеялах, читают, перебрасываются незначительными редкими фразами и вновь купаются... И так проходит весь день. А под вечер, когда уже падают длинные тени и синеет, темнеет воздух, пустеют берега, Клара вдруг тихо ойкает — ее поражает только что прочитанный короткий рассказ Бунина «Роман горбуна». Поражает сильно, до ошеломления. И не выдержав, она толкает Женю, говорит ей:

— Жека, прочти, как страшно...

— Отстань, — отмахивается Женя.

Она тоже читает что-то свое и не хочется ей отрываться, но Клара не отстает, и Женя видит, как взволнована, возбуждена она.

— Жека, ты только подумай: горбун мечтает о любви и, казалось, находит ее. Ему назначают свидание, он ждет его, а приходит и видит, что ждет его тоже горбуня, — сбивчиво пересказывает она и досадливо умолкает, не в силах говорить, и сует книгу Жене: «Ты прочти сама, там всего одна страничка».

Женя читает и поражается, волнуется не меньше Клары.

— Что это вы такие скисшие? — поднимает голову, спрашивает Инна Вырина, не услышав ответа на какой-то свой вопрос.

— А, так, — неопределенно отвечает Женя и говорит: — На вот, прочитай.

— Ну и что? — прочитав, удивляется Инна. — Гадость какая-то: горбун, горбуня... И чего только не придумывают писатели.

Они молчат, ничего не отвечают, боясь сказать ей что-нибудь резкое, обидное... А она весело говорит:

— Какой вечер, девочки! Давайте что-нибудь споем.  
Голос у нее красив, и она поет вместе с Кларой в хоре,  
но поет как-то холодно и равнодушно.

*Дождь по бульварам  
Листьями метет...  
Милый мой с гитарой  
Нынче не придет, —*

запевает она, но Клара и Женя не подхватывают песни,  
хоть и хочется им уже тоже спеть, но спеть что-нибудь  
другое, свое, близкое, созвучное их настроению.

— А ну вас, — досадливо машет рукой Инна Вырина и  
умолкает, прерывает песню.

— Может, «Рябинушку» споем? — неуверенно предла-  
гает Клара.

— Ага, «Рябинушку», — соглашается Женя. И они уса-  
живаются поудобнее, тесно прижавшись друг к другу, и  
тихо, нежно начинают:

*Что-о стоишь, качаясь,  
То-о-нкая рябина,  
Го-о-ловой склоняясь  
До самого тына.*

И голос их постепенно набирает силу, звучит в нем  
уже тоска, пока еще не сильная, начальная, но все усили-  
вающаяся, давящая на сердце...

*А через дорогу  
За рекой широ-о-кой  
Та-а-кже одиноко  
Дуб стоит высока-а-ай.*

И уже столько безысходной, неизбывной тоски и ще-  
мящей печали в их голосе. Печальны и лица их...

*Ка-а-ак бы мне хотелось  
К дубу пе-е-реб-раться,*

*Я-я б тогда не стала  
Гн-у-ться и качаться.*

И туманятся их глаза, наполняются слезами, мучительно, полностью отдаваясь песне, близким словам ее. «Гибкими ветвями я б к нему прижалась...» Прижались бы крепко, горячо, навечно и безраздельно... «И с его листьями день и ночь шепталась...» Ночь и день, всю жизнь ласкали, ухаживали бы они за милыми, любимыми своими, отдавая им все, все без остатка... И как хороши, как прекрасны они сейчас, несмотря на безнадежность в голосе, печаль свою...

И только Инна Вырина поет ровно и спокойно. Ей безразличны слова этой песни.

Боже, какие дураки парни!

## Аринкин хутор

**В**ставала она затемно, часа в три, и с тех пор уже не присаживалась ни на минуту — делала бесконечные дела по дому, шла в поле, на ферму с бабами, возвращалась в короткие обеденные перерывы и опять что-то делала: убегала доить корову, кормила уток, кур, варила обед...

— Как заведенная — ни минуты покоя, — жаловалась она вечером дочери, но жаловалась мимоходом, не все-рьез — все больше по привычке.

Была она уже не молода, чуть согбенна от времени и от работы, суха и жилиста вся, но крепка еще на вид, еще чувствовала в себе силы. И на просьбы дочери отдохнуть, бросить работу в колхозе, уйти на пенсию отвечала:

— Тебя-то доучить надоть, в люди вывести. А на пенсию рази проживешь. Рази проживешь-то на сорок рублей?

Дочь Тая заканчивала десятый класс, и Матрена души в ней не чаяла: и хороша-то была, и пригожа-то, и смышлена. Тая и впрямь была хороша: тонка и смугла лицом, не по годам высока, стройна телом. И училась она хорошо. И давно решила про себя: закончит школу — поедет в город, устроится на работу или учиться, заберет к себе мать. В деревне молодежь не оставалась, и Тая тоже не хотела оставаться в Аринкином хуторе.

Но Матрена сердилась, когда Тая говорила об этом.

— И не думай, что я уеду, — ругалась она. — Что я не видела в этом городе.

— Но, мама, — протестующе говорила Тая. — Вон все же уезжают, а я что тут буду делать одна?



— А я рази держу тебя здесь, — смягчалась Матрена. — Поезжай, учись... А я отседа помогать буду. Яичков, сальца когда пришло...

— Но ты же больная, отдохнуть пора, — возражала Тая.

— И не думай про это, — Матрена весело проходила по комнате, весело смотрела на дочь. — Силы ишо есть, из рук не валится...

И поругавшись, поспорив незло, они успокаивались, строили планы Тайкиного городского житья. Жили они одиноко, вдвоем — отца своего Тая не знала, не видела ни разу.

— А какой он тебе отец, — отвечала Матрена. — Так, случайный человек.

Мужа своего она и не считала мужем. Да и была ли замужем — она и сама ответить не могла. До войны Матрена не успела выйти замуж, а после войны мужиков почти не вернулось, убило и жениха ее, и она смирилась уже, решила, что проживет свой век вековухой, как жили многие, не одна она.

— Где их взять-то мужиков, когда дед Михей проходит за первый сорт, — смеялись, горько шутили женщины.

И горько, жутко оплакивали иногда судьбу свою, когда собирались на вечеринку, покупали вина... Ох, и проклинали они войну, ненавистных немцев тогда. Но что толку в этих плачах-проклятиях! И Матрена ожесточилась, не жалела себя в работе: и пахала на себе, и бригадиром была... И деревня возрождалась, оживала — забывалась уже война. Не совсем забывалась, а притуплялась как-то, отходила в сторону до поры до времени, до новых бабьих вечеринок, до коротких одиноких ночей в пустом доме...

Так бы и жила Матрена одна. Но как-то остановился у нее на постой проходящий плотник — ходил он из деревни в деревню — подряжался строить. Матрена и сама удивлялась: как это она сошлась с пьяницей-пустоболтом, как оказалось, женатым уже человеком. Сойтись-то сошлась, да жить не стала — выпнала его через месяц.

— Вот тебе Бог, а вот порог, — твердо сказала она, когда узнала, что он женат, что есть у него дети.

— Ты это чтой-то? — удивились на деревне. — Аль мужиков много — бросаешься...

— А и мы не обсевки какие, — гордо отвечала она и прикрикивала: — Хватит чесать языками-то.

А скоро и совсем забылось бы скоротечное жите с плотником, да родилась у Матрены от плотника дочка. С тех пор не узнать стало Матрену — будто переменили ее, наполнили чем — засветилась она вся, повеселела, любая работа так и спорилась у нее.

— Гляди-ка, без мужика-то, а живет не хуже, — одобряли на деревне.

Матрена нарадоваться не могла: дочь росла послушная, ласковая.

— И до ученья охочая, — хвалилась она. — Вырастет — дальше учиться отдам. На учительшу или на бухгалтершу выучится.

— А ты как же — одна останешься? — спрашивали ее.

— А так, — неопределенно отвечала она, а внутри что-то сосало, ныло: ей хотелось и не хотелось отпускать Таю.

Хотелось ей видеть дочь свою не простой колхозницей, зачем тогда и учиться, а сидящей в конторе, чисто и нарядно одетой, с белыми нежными руками — не такими, как у нее, темными от земли, от работы.

«Хватит, что я погорбячила за свой век, — думала она. — Пусть ей-то полегче будет...»

Но и не хотелось ей отпускать Таю — боялась она, что уедет в город, попадетса ей там пустой человек — жизнь испортит...

«Молодая ишо, гляди да гляди», — пугалась она.

А Тайку смешили ее страхи, спала и видела она уже себя в городе, ясно представляла уже: как учиться в институте, как приезжает на каникулы и все завидуют ей, как завидовала и она, когда приезжали в Аринкин хутор в отпуск из города. Ходили отпускники важные, по-городскому культурные.

И в последние дни перед экзаменами Тая стала рассеянна, невнимательна, весела-возбуждена — виделся ей уж скорый отъезд.

— Смотри, ишо не уехала, а нос воротишь, — обижалась Матрена.

— Ну что ты, мамочка, — ластилась, обнималась Тая.

## II

«Зря обижалась, — думает теперь Матрена, лежа неподвижно на печке. — Вот Бог-то и наказал...»

Лежит она неподвижно вот уже второй год — отнялись ноги, парализовало правую сторону тела. Кто бы мог подумать, что такое может приключиться? Не думала не гадала и сама Матрена, пошла полоть свеклу и свалилась. Думала, что пройдет, что ненадолго это — мало ли приходилось прихварывать, а вот все не проходит и нет никакой надежды, что пройдет, что встанет она. И Матрена мучается нестерпимо. Мучается она не от боли, не от неподвижности своей, давно уж привыкла, а от дум всяких. Переживает она за Таю, видя, как терзается та, ухаживает за ней денно и ночью.

«Хоть бы скорей прибрал Господь, развязал руки, — молит она. — Девка-то совсем замучилась...»

— Тася, ты ходила бы куда, в клуб на танцы, — слабо говорит она по вечерам.

— Лежи, лежи, мама, — отвечает каждый раз Тая. — Ну куда я пойду за пять километров. Устала чтой-то.

Вот и сегодня Тая только что вернулась с поля — работала на току, — ей лень было двигаться, что-то делать, наморилась она за длинный день, наработалась... Да и заела, заглодала ее в последнее время тоска-кручинушка. Разъехались, разлетелись в разные стороны ее школьные подружки — кто поступил учиться в институт, кто устроился на заводы, на стройки — совсем опустел без молодых Аринкин хутор.

И Тая часто достает свой слегка уже выцветший, пожелтевший аттестат и остро, до явственности вспоминает школу, выпускной вечер, и как выдавали аттестаты и директор школы сказал: «А вам, Тая, прямая дорога в институт. Закончили школу лучше всех, на одни пятерки». «Кому они теперь нужны эти пятерки?» — Тая зло засовывает аттестат в стол, и слезы проступают у нее на глазах, и вот-вот она уже разревется, но в это время Матрена окликает ее, просит:

— Тася, подай водички, чтой-то сохнет и сохнет во рту...

Тая поспешно вытирает слезы, зачерпывает из ведра холодной воды и, подавая, говорит:

— Может, доктора вызвать?

— Э-е, Тасенька, зачем он нужен, — отмахивается Матрена. — Один мне доктор — могила...

— Ну зачем ты так, мама, — протестует Тая, а сама знает, что никакой доктор уж не поможет матери.

В первые дни она тоже думала, надеялась, что мама скоро встанет, поправится, но доктора, приехавшие из района, сказали, что это серьезно и организм уже износился, не молодой... Но Тая не отчаивалась, тайно ждала какого-то чуда.

Но теперь и она не ждет его. Она слегка изменилась, посмуглела еще больше от солнца, руки ее погрубели от работы, пошершавели от ветров, и стала она выше, как-то длинней ростом, но стройна, легка была по-прежнему. И невеста уже. Уже приходили к ней свататься. Жених был из соседней деревни, только что демобилизовался из армии. Был он тоже высок, русоголов, пышный чуб так и лез из-под фуражки, и самодоволен — знал, что хорош, что ни одна девка не откажется пойти за него. Тая и видела его всего лишь раз в клубе, когда он пьяный подошел к ней пригласить ее на танцы, а она отказалась тогда. И уже уходя из клуба, слышала, как он громко, будто нарочно для нее, спрашивал:

— Чья это такая больно гордая? И не таких видал, обламывал.

Но Тая больше в клуб не ходила и совсем уж забыла о нем, об этой мимолетной встрече, и сейчас с интересом смотрела, встретила сватов. Она хотела и не хотела замуж — тоска, одиночество заели ее. «А что? Стерпится — слюбится. Рожу детишек, сразу веселей, легче станет», — усмехается она, видя, как уверенно, по-хозяйски, усаживается жених на лавку, будто и муж уже.

— Ну что, Матрена, лежишь все? — спрашивают, мнут-ся сваты.

— Лежу, родимые. Залежалась уже, — отвечает Матрена с печки.

Она еще не видит, не догадывается, зачем пришли к ним из соседней деревни, а Тая молчит, ничего не говорит ей.

— Ну это ты зря. Находишься ишо, — успокаивают гости и все никак не могут, не решаются приступить к делу,

а жених подмигивает им, достает бутылку водки из кармана и ставит на стол. И сваты сразу веселеют и громко кричат:

— А мы, Матрена, к тебе по делу. Значит, у тебя товар, тоись дочка... Вон какая красавица, пора и замуж ей...

И они что-то еще весело и долго говорят о ней, расхваливают жениха — и какой он работающий, умный... Но Тая плохо слушает их. Что-то сосет, сдавливают внутри, слезы застилают глаза и опять почему-то хочется разреветься и убежать куда-нибудь, куда глаза глядят...

— А что, дочка, парень он, кажись, неплохой, родителей его знаю, — глухо доносится до нее голос матери.

Тая встряхивает головой, будто отходит от нехорошего сна, смотрит на сватов, на жениха и видит, что все ждут ее слов, а жених уже возле стола — приготовился разливать водку.

— А жених как — к нам перейдет жить? — грубо спрашивает Тая.

— Что ты, что ты, — машут сваты руками. — В примачки он не пойдет. Он один у своих...

— Не пойдет и не надо, — еще грубей выпроваживает Тая сватов.

— Ну что ты, доченька... Не гляди ты на меня старую. Обуза я тебе, — заплакала, запричитала Матрена.

— Лежи, — прикрикивает Тая. — Буровишь лишнее.

А сама затосковала еще больше.

«Может и зря не пошла, — думает она теперь. — Женихи-то вон все укатили в город. Хутор вон будто вымер...»

Аринкин хутор не велик — всего дворов тридцать. Днем он и впрямь будто вымирает — становится пустынным, тихим — все уходят на работу в поле, на фермы... Остаются одни лишь старики да дети, но и они сидят все больше по домам, копаются на огородах, греются на завалинках. И только под вечер ненадолго оживает деревня, когда пригоняют стадо. Выскакивают тогда из домов женщины, ребятишки и суматошно кричат.

— Милка, Милка...

— Оря, оря, черт бы вас побрал...

— Васька, барана нашего нету. Поищи барана-то...

Пахнет тогда молоком, овечьей шерстью, коровьими «лепешками». Но скоро зацыркают подошники, еще сильнее запахнет молоком, и все сядут ужинать — загорятся ярко окна электрическим светом. Но и они светятся, горят недолго — в деревне рано ложатся спать. Нет в Аринкином хуторе обычных матань с гармошками, нет клуба, где бы плясали, танцевали до полуночи. Клуб расположен в соседней деревне, за пять километров, но и туда ходить некому — разъехалась молодежь из Аринкина хутора. Кто уехал учиться, кто не вернулся из армии — остался в городе работать. Тоскливы и неуютны вечера в Аринкином хуторе. Сидит Тая, читает долго, подаст что матери, поправит подушки и опять читает... «Ах, тоска, тоска-кручинушка...» — с этими мыслями, вздыхая, Тая ложится спать... И так изо дня в день. Так и сегодня...

### III

— Эй, Тайка! — внезапно раздается голос под окном. — Пойдем в Муравлево, говорят, артисты из райцентра приехали.

Тая выглядывает и видит соседку Анюточку, незамужнюю сорокалетнюю женщину. Анюточка принаряжена, надушена, неумело завита. На ней темно-синее шелковое платье, новые полусапожки.

— Не хочется, — отвечает Тая. — Да и концерт плохой.

— Откудава знаешь? — возражает Анюточка.

— А-а, знаю...

— А что мы лучше-то видим, — сердито говорит Анюточка, — один раз в год и ходим на какие концерты-то.

— Сходи, Тая, сходи, — просит и мать.

— Эй, девки, на концерт что ль собрались? — спрашивает подошедшая почтальонша Татьяна Кузовкова и раздумчиво говорит: — И мне с вами что ль.

И Тая решается, начинает собираться. Надевает она выходное белое платье, лаковые черные туфли.

— Ой, Тайка, туфли-то какие, — восхищается Анюточка. — Когда купила-то?

— Давно, — недовольно отвечает Тая.

Ей уже почему-то не хочется идти, но прибегает запыхавшаяся Татьяна Кузовкова, и они идут.

Уже поздно, а идти лесом возле речки пять километров, и они торопятся, чтобы не опоздать. На траву уже пала роса, и Тая снимает туфли, идет босиком. Снимают обувь и женщины. От речки тянет сыростью, прохладой, но лес за день нагрелся, наполнился духотой и прохлады не чувствуется.

В Муравлево они приходят вовремя, клуб густо, как мухами, облеплен мальчишками. В коридоре тоже тесно от столпившихся парней, мужиков — они стоят курят — ждут артистов. И Тая с женщинами с трудом протискивается сквозь этот строй, отыскивают свободное место и усаживаются. В клубе жарко, пахнет потными телами, дымом, духами, и запах этот плотен, тяжел.

«Зря я пошла, — сердится Тая. — Ничего хорошего...»

— А-а, Тая, здравствуй, — окликает ее белесая модно одетая девушка.

Она радостно улыбается, продвигается к Тае и усаживается рядом.

— Как живешь? — спрашивает она.

— Ничего, — неопределенно отвечает Тая и нехотя подвигается, уступает место.

Девушка эта когда-то училась с Таей в школе, а сейчас она учится в институте — приехала на каникулы. И Тая остро, враждебно завидует ей.

— Концерт, говорят, муровый, — говорит веселая Нина.

— Что ж тогда пришла? — злорадно спрашивает Тая.

— А-а, от нечего делать...

— Очень хороший концерт, — горячо защищает Тая. — Может, получше ваших городских.

— Ну хватила, — не соглашается Нина.

А Тая обиженно замолкает, отворачивается, с нетерпением ждет артистов: ей хочется, чтобы они были хороши, красивы, талантливы...

Но самодельные артисты из райцентра зло разочаровывают ее: молодых среди них почти нет, все больше пожилые, почему-то толстые, часто сбиваются, и ей обидно, стыдно за них. Ей хочется подняться, уйти, но рядом сидит Нина, и она терпеливо смотрит, громко аплодирует каждому номеру.

После концерта начинаются танцы, и Нина спрашивает ее:

— Останешься? Потанцуем?

На Таю находит непонятное ей какое-то бешенство, желание перещеголять в чем-то модную Нину, и она говорит рядом стоящей Анюточке:

— Ты иди, а я останусь еще, потанцую.

— Гляди, а я пойду, завтра рано вставать, — отвечает Анюточка.

Танцы долго не начинаются, ждут, когда уберут со сцены, отодвинут к стенкам скамейки. Наконец все готово, и баянист начинает играть, но никто не решается первым выйти в круг, девчата жмутся друг к другу, робко поглядывают на парней, а те будто и не слышат баяниста, не видят девчат.

— Пойдем? — предлагает Нина.

И они выходят, кружатся одни. Постепенно смелеют и другие, и вальс уже танцуют в тесноте. Таю приглашают наперебой, и она довольна, счастлива, что ее замечают, и танцует она не хуже Нины. Но ей упорно хочется чем-то поразить, уколоть Нину, быть лучше ее. Напряжена, нервна она сейчас, как струна, что кажется: задень, нажми посильнее — и лопнет, не выдержит она. Знает она, что Нина опять уедет скоро в город, а она останется в Аринкином хуторе, будет ходить с пожилыми женщинами на однообразную скучную работу, будет ухаживать за больной матерью, будет одна-одинешенька... К сердцу что-то подступает, становится горько, щемяще-тоскливо... Она подходит к баянисту и просит:

— Сыграй-ка барыню.

— Барыню, барыню! — дружно подхватывают все. Баянист отнекивается, говорит, что играет барыню плохо, но все настаивают, и он начинает играть, но не барыню, а цыганочку, но Тае все равно.

Она выходит в круг и, притопывая стройными ногами, озорно выкрикивает:

— Ну, кто смелый? Давай, кто кого перепляшет? Может, ты, Нина?



Нина выходит, но выходит как-то робко, неумело — отвыкла уже, скоро устает, убегает в толпу, а Тая торжественно усмехается и пляшет, пляшет. Нину сменяет парень, потом другой, а Тая неумоима, будто влили в нее живые соки.

*Ай, дай дробану —  
Пока молодая.  
Стара буду — позабуду  
И плясать тогда не буду, —*

звонко выговаривает она и идет, идет по кругу. Наконец не выдерживает, замолкает и баянист, а Тая победно говорит:

— Эх, вы! Жилы тонки...

Но устала и она. Прошло возбуждение, желание поразить Нину, всех, и она вяло отмахивается на предложение парня, бывшего жениха ее, проводить, побыть с ней, и быстро, не попрощавшись, уходит. Слезы душат ее. И в лесу она не выдерживает, всхлипывает, всхлипы учащаются, сотрясают тело, и она начинает рыдать. Рыдает она громко, взхлеб, все никак не может остановиться.

«Боже мой, — шепотом причитает она. — Когда же кончатся мои муки...»

И ей на миг приходит страшная, пугающая мысль о матери: «Хоть бы поскорей отмучилась. Все равно теперь не жилец». Мысль эта обжигает ее, радует в первую секунду, но она тотчас спохватывается, ненавидит себя. «Ах ты тварь несчастная, — истязает она себя. — И как только могла подумать такое...» И она бежит, спотыкаясь, домой. Топот ее туфель по сухой дороге вспугивает уснувших птиц, и они шумно поднимаются с земли, взлетают с деревьев.

— Ма-ма! — кричит она еще в сенцах.

— Это ты, дочка? — отзывается Матрена. — Ну как — весело было?

Она облегченно вздыхает, ничего не отвечает, проходит к себе и долго сидит молча, неподвижно...

А скоро у Матрены отнимаются и руки, парализует ее всю, и она умирает. Умирает она тихо, спокойно, под вечер. Тая заходится в припадке, истошно, дурно голосит, кричит всю ночь, и похороны, поминки организует Анюточка. На поминки приходит почти вся деревня.

— Отмучилась, слава тебе Господи, — шепчутся женщины и жалостно, испуганно поглядывают на Таю.

Тая каменеет, молчит днями, тупо смотрит на всех, лицо ее опухло от слез.

— Не свихнулась бы девка-то, — говорят про нее. И Анюточка оставляет на время свой дом, переходит жить к Тае.

Всю неделю Тая ходит потерянная, убитая горем, по ночам плохо спит, часто вскрикивает от испуга, от нехороших снов. А через месяц заколачивает дом, отдает корову, кур Анюточке.

— Что ты, Тайка, — отказывается та. — Продала бы кому, а я где денег столько возьму...

— Бери, бери, — настаивает Тая. — В гости когда приеду...

И уезжает в город.

Так неожиданно и нелепо сбывается ее мечта...

## Один день счастья

**В**се случилось для него неожиданно...

Николай только что вернулся из отпуска, исколесил всю Молдавию вдоль и поперек: был у приднестровских рыбаков, в богатых молдавских селах, и везде его встречали гостеприимно, радушно, он много пил сухого вина, много ходил, ездил на попутных по местам Пушкина и теперь устал от всего этого, стосковался по работе, и в поезде ехал присмиривший, как-то слегка опустошенный — уж много было всего: разговоров, встреч, музеев...

Но не успел он выйти на работу, повидаться со всеми, как позвонили из обкома и весело сказали:

— Собирайся в Псков. На семинар творческих работников.

— А может, можно без меня? — возразил Николай.

— Нет, — твердо ответили ему. — Звонили из Москвы, строго предупредили, чтобы были все.

Он попытался что-то сказать еще, надеясь отговориться, но ничего не вышло. И тогда он вспомнил Псков, как ездил туда позапрошлым летом, вообразил все — его соборы, Печорский монастырь, Михайловское, и как он три дня жил в Святогорском монастыре в бывшей монашеской келье — и ему снова захотелось увидеть все это, и он радостно засобиравшись в дорогу.

С ним ехали секретарь обкома комсомола, из радиокомитета и актриса из драмтеатра, и они договорились встретиться в семь часов утра у театра. Ехать решили на редакционной машине — он долго подбивал на это секретаря обкома, говорил, что поездом ехать долго, с пересадкой и ничего не увидишь из вагонного окошка, а так они поедут не спеша, и на пути у них такие горо-

да, как Рославль, Смоленск, Витебск, побывать в которых одно удовольствие...

— А так когда увидишь их? — убеждал он.

— Уговорил. Едем на машине, — согласился секретарь обкома.

Утром Николай к театру пришел первым. Было еще без четверти семь, и он присел на ступеньки театрального подъезда и с наслаждением вдыхал чистый, слегка уже морозный воздух — стояла середина золотого сентября. И ему было хорошо, что день начинается чистым, теплым, и ехать в такой день среди полей, лесов будет приятно. И он опять вообразил дорогу и как пустынь и печальны сейчас поля, разноцветны по-осеннему леса, и ему стало грустно от мысли, что лето уже прошло и впереди долгая холодная зима, которой он не любит, но грусть эта была легка, недолга — сентябрь был не по-осеннему тепел и о зиме не хотелось думать.

Скоро пришел Завьялов из радиокомитета, секретарь обкома, подъехала машина, и только не появлялась Майя Булгакова, а было уже семь, и Николай вдруг обозлился, раздраженно сказал:

— И зачем брать в такую поездку женщину? С ними всегда одна морока... Неужели не могли подобрать хорошего парня?

Сказал он это в пространство, ни к кому не обращаясь, но секретарь обкома принял упрек на свой счет и почему-то тоже обозлился.

— Подождем минут пять-семь, а не придет — уедем одни.

— Майя очень хорошая, компанейская девушка, — вступился Завьялов. — Зря вы так.

— Все они хорошие, когда спят, — буркнул Николай.

Женщин он не то что не любил, а как-то терялся в их присутствии, мучительно краснел, не зная, как и о чем с ними говорить, и остро завидовал приятелям, которые легко и незаметно сходились с ними. Ему тоже хотелось женщин, хоть и был он уже женат, но жена стала привычна, обыкновенна, не то, что в первые месяцы жизни, и он, как все, иногда говорил:

— Черт, как рано мы женимся. Сколько красивых девушек проходят мимо. И каждая могла быть твоей...

Сам он был некрасив, неловок, и оттого ему еще сильнее хотелось, чтобы его полюбила, приласкала какая-нибудь красивая женщина.

«Вот и еще одна красавица появится, — подумал Николай сейчас. — И за ней начнут ухаживать секретарь, тоже красивый парень, Завьялов, а он будет молча сидеть, завидовать им, переживать, а эта актрисочка на него ноль внимания, а все будет строить глазки секретарю — все-таки начальство. А-а, черт с ними, — ругнулся Николай. — С собой, с полями, наедине интересней...»

— Так где же твоя хорошая Майя? — зло спросил он Завьялова.

— А я откуда знаю? — пожал плечами Завьялов.

— Все, едем, — решительно сказал Николай, обращаясь к секретарю обкома.

Тот на минутку замаялся, посмотрел по сторонам, но кругом никого не было видно.

И только они подошли к машине, как из-за угла театра выбежала Майя Булгакова. Он видел ее и раньше, но видел издали, на сцене, и была она там всегда загримированной, и он не знал — какая она... И сейчас он с интересом посмотрел на нее и удивился: была она очень мила и изящна, как-то по-воздушному легка. Но особенно поразили его глаза — необыкновенно большие и прозрачно-синие.

«Прямо два сказочных блюда на лице», — изумился Николай.

— Прощу прощения, что опоздала, — запыхавшись, сказала она.

Голос у нее был низок, приятно мягок, и ему почудилась в нем актерская кокетливость, наигранность, и он обозлился вновь и грубо ответил:

— А вы б еще дольше нежились в постели.

И намеренно, демонстративно отвернулся. Она удивленно вскинула на него два огромных «блюда» — как-то съежилась, будто ее ударили, и он подумал, ругнул себя: «Зря я так...»

Машина скоро выехала за город, сзади о чем-то оживленно заговорили, засмеялись, а он, нахохлившись, приключнулся к боковому стеклу машины и стал смотреть в осенние безлюдные поля, пока еще редкие перелески — настоящие леса были впереди, и через минуту забыл обо всем, погрузился в печально-нежное созерцание дороги. А дорога была ровна, накатанна и черно блестяла на солнце, как будто ее перед этим любовно начистили ваксой. А по сторонам дороги раскинулись широко степные поля, и все там уже было убрано, голо и только скирды соломы, снопы не свезенной еще пеньки останавливали, задерживали взгляд, да изредка мелькал, металлически отсвечивал какой-нибудь пруд, а на нем снежно белели гусиные стада и дымился кем-то разложенный костер.

«Хорошо бы сейчас посидеть у костра, поесть печеной картошки, — покойно думал он. — А то бы побродить с ружьишком по полям, а потом уж разложить костер... Вернусь — обязательно поеду на охоту...»

И мысли, как дорога, текли ровно, бесконечно, и он уже забыл про спутников, был один и не сразу услышал, что зовут его.

— Ты что — оглох? — сердито спрашивал секретарь.

— А? Что? — отозвался он наконец.

— Завтракать где будем? В Брянске? — спросил Завьялов.

— Можно и в Брянске, — неохотно ответил Николай. — Мне все равно.

— Как Майя? — обратился Завьялов к актрисе.

— Давайте лучше за Брянском, — предложила она. — В Брянске накупим еды, а поедем где-нибудь в поле или у лесочка. Вон как хорошо сейчас в поле...

«А она молодец, умница», — обрадовался Николай и обернулся, вновь посмотрел на нее.

В Брянске они заехали на базар, накупили помидоров, огурцов, картошки, купили и бутылку водки, и когда они покупали водку, он подумал: «А она выпьет?» Ему почему-то хотелось, чтобы выпила и она, и не ломалась, не отнекивалась вначале, а просто и сразу...

За городом они нашли хорошее место, и она быстро и по-женски ловко разложила еду и, будто догадываясь о его желании, взяла стакан водки и весело сказала:

— Выпьем за приятную дорогу, за приятное знакомство. — И, зажмурившись, выпила почти полстакана водки. А выпив, повеселела еще больше, стала ухаживать за всеми, подкладывая еду, и он уже забыл, что не хотелось брать ее в дорогу...

— А мы с вами, кажется, так и не познакомились по-настоящему? — неожиданно проговорила она и посмотрела долго на него.

Николай засмутился, жарко покраснел и невнятно буркнул:

— Николай Горбов.

— Майя Булгакова, актриса драмтеатра, — она протянула маленькую узкую ладонь и вдруг рассмеялась: — И секретарь комсомольской организации театра.

— Ну? — нарочито удивился он и осторожно пожал протянутую руку.

— А вы где работаете? — просила она.

— Замредактора молодежной газеты, — неохотно ответил он.

— О-о, да вы опасный человек. Чуть что — и сразу на карандаш, — пошутила она.

Он промолчал, ничего не ответил — к нему уже пришла обычная стеснительность, неловкость, и уже он не знал, что отвечать, как вести себя, хоть и хотелось ему побыть с Майей, поговорить с ней, — нравилась она ему все больше и больше. И он стал посматривать по сторонам, как будто искал там что-то, и обрадовался, когда Завьялов подсел ближе, вмешался в разговор, а он поднялся сразу, собираясь уходить.

— Пройдусь немного в поле, — извинился он. — Погода вон какая, солнца сколько...

Погода и впрямь была не по-осеннему мягка, тепла, и солнце грело по-летнему жарко, и все вокруг наполнилось каким-то нежным светом, тонкой прозрачностью.

— Я тоже пройду с вами. Можно?

И не дожидаясь ответа, она мягко поднялась и пошла рядом, а Николаю вдруг стало жарко от ее близости, взглядов, и он заторопился, ушел вперед, а она окликнула его:

— Куда же вы так быстро? Мне не успеть за вами.

Он остановился, подождал ее.

— Вы всегда так бегаєте? — спросила она, и он увидел, как она чуть заметно улыбнулась, пристально посмотрела на него.

— Всегда, — угрюмо ответил он и, злясь на себя, пробурчал:

— Пора возвращаться, ехать...

— Уже пора? — не поверила она.

Но не успела она договорить, как просигналила машина, и они заторопились, пошли назад.

— Может, впереди сядете? — предложил он возле машины, но она решительно отказалась, а Завьялов искоса и насмешливо взглянул на него, и он поспешно и неловко плюхнулся на переднее сиденье.

Но ему уже не хотелось любоваться дорогой, полями, не хотелось быть одному, и он начал прислушиваться, о чем говорят позади. А там рассказывали разные анекдоты, вспоминали смешные случаи, и она тоже рассказывала, громко смеялась, и он не выдержал, начал оглядываться, а секретарь пошутил:

— Шею свернешь.

И Николай повернулся к ним окончательно, и хоть неудобно было так сидеть, ему было приятно и хорошо видеть ее, слушать, как говорит она, и как-то нежно думать о ней, а Майя изредка останавливала взгляд на нем, и ему казалось, что смотрит она на него ласково и по-особенному. И в нем росла, поднималась изнутри и захлестывала всего волна тихой и приятной нежности к ней, ко всем, хотелось говорить какие-то ласковые и хорошие слова, но говорить так складно и остроумно, как они, он не умел, анекдоты помнил плохо и сейчас впервые пожалел об этом.

— Хотите читаю стихи? — тихо предложил он.

— Очень хотим, — сразу же отозвалась она.



И он вспомнил, начал читать Баратынского, Тютчева, Бунина...

И все притихли, слегка опечалились и стали слушать его, а он уже опять забыл о них и весь отдался дивным словам, звукам, которые томили и разрывали душу, и хотелось плакать от этого и идти, идти неизвестно куда, и быть с ней одной — неизвестной и желанной...

*Белели стужей облака  
Сквозь сад, где падали капли.  
Бледна была твоя щека  
И, как цветы, глаза синели.*

Он прошептал последние слова и будто очнулся от сна, посмотрел удивленно на всех, на нее, а она отчего-то покраснела, опустила глаза, и он догадался, что она подумала, будто он читает о ней и нарочно выбрал эти строчки о синих глазах, и покраснел тоже... Между ними еще слабо, как-то неясно устанавливалась близость — желанная и пугающая одновременно.

— Хорошо-то как, — она благодарно посмотрела на него.

— Стишки ничего, — отозвался секретарь обкома. — Но слезливы, без стержня.

— Дурак, ах какой дурак, — внезапно громко проговорила она и отвернулась к стеклу.

— Но это уж слишком, — обиделся секретарь обкома. И Завьялов начал успокаивать его, начал мирить их, и они заговорили о поэзии, о жизни и, как всегда бывает в таких случаях, перескакивали с одного на другое, забывая, о чем говорили вначале, и Николаю вскоре наскучил этот бесконечный длинный и никому не нужный разговор, а они уже говорили о месте и значении человека, о чем-то еще...

«Во дают, — удивился он. — А она колючка...»

А скоро показался Смоленск, и они забыли о ссоре, и все вместе отправились смотреть древние крепостные стены, собор, памятник Кутузову, и там все окончательно ушло, отодвинулось перед мощью и красотой тысячелет-

них камней, фресок, и Николаю подумалось: «Вот оно — назначение человека. Прошли века, а мы идем и все любимся и восхищаемся и застываем в изумлении...»

А потом они неожиданно наткнулись на книжный базар, оказалось, что проходит книжная неделя, и накупили книжек, а Майя все радовалась, что наконец-то ей удалось приобрести «Русские народные сказки».

— Дочка так их любит. Вот будет рада, — счастливо говорила она, и лицо ее светилось при этом.

«Дочку очень любит, — ревниво заметил Николай. — И мужа, наверное».

— А дочка уже большая? — спросил он.

— О-о, совсем взрослая. Скоро в школу пойдет, — ответила она, и в голосе прозвучала радость, гордость за дочку.

— И с кем же вы ее оставили, уезжая? С мужем, наверное? — предположил Николай.

— Нет, с мамой, — ответила она. — Муж у меня тоже актер, а это отнимает много времени. И днем и вечером в театре.

— Да, конечно, — уныло согласился он.

А она, догадываясь о его мыслях, улыбнулась чему-то, спросила:

— А вы не женаты?

— Женат, — неохотно ответил.

— И дети есть?

— Двое, — рассмеялся он. — Сын и дочка.

Ему почему-то вдруг стало легко и просто. Насмешливо подумалось: «Совсем семейный разговор. А ты захотел сближения, любви какой-то...»

— Пойдемте, а то нас, наверное, ждут...

— Да, да, конечно, — поспешно отозвалась она.

И снова была дорога, но теперь она казалась Николаю однообразно скучной и долгой, и он то и дело спрашивал шофера:

— Сколько еще до Витебска?

В Витебске они решили остановиться в гостинице, заночевать.

Молчала и Майя, и только Завьялов с секретарем тихонько пели песни.

В Витебск они приехали под вечер, но мест в гостинице не оказалось, и им пришлось долго ждать: пока кто-нибудь съедет и освободит номер, а с дороги хотелось поскорей помыться, где-нибудь поужинать, и они поскущались, нехотя перебрасывались словами.

Через час им повезло — освободились номера, и Николай устроился с шофером, а Майя этажом ниже, и, почистившись, помывшись, они пошли в ресторан — он находился тут же при гостинице.

Метрдотель направил их в большой боковой зал и сказал официантке, чтобы она сдвинула столики и посадила всех вместе. Зал был хоть и большой, но уютный и почти полупустой, тихо играла музыка, и несколько пар медленно, как бы лениво, танцевали в проходе, и Николаю опять стало хорошо, приятно было видеть эти пары, чистые столы с высокими тонкими бокалами, молодых и красивых официанток. Оркестр играл старинный вальс, и это тоже было приятно.

Майя переделалась в номере, и на ней сейчас было светло-серое платье с глухим воротником, и оно плотно облегало ее тело, и от этого она казалась выше, еще стройнее, и все оглядывались, когда они проходили к столику, и мужчины провожали ее глазами.

Она чувствовала это и кокетливо улыбалась, показывая свои ровные, красивые белые зубы. Она и здесь была красивее всех. И у Николая заныло, защемило сердце от какой-то непонятной ревности, будто она была ему женой и сейчас на глазах бесстыдно изменяла ему.

«Ох и дурак же», — обругал он себя, но от этого легче не стало, и он, усевшись за столик, спросил всех:

— Ну как — напьемся по случаю прибытия в Витебск?

— Только пива, — быстро отказались Завьялов и секретарь.

— И минеральной воды, — попросила Майя.

— А ты, Андрей? — спросил он шофера.

— Можно и выпить, — охотно ответил тот.

— Бутылочку столичной, — крикнул он официантке. —

И что-нибудь закусить.

Водку и закуску принесли быстро, и пока Завьялов с Майей выбирали, что поесть, он налил себе и шоферу и спросил на всякий случай:

— Может, выпьете?

— Нет, нет, — отказались они.

Водка была холодна, и он молча, одним глотком выпил большую рюмку, и вскоре приятное тепло разлилось по всему телу и захотелось выпить еще.

А оркестр уже играл медленное и печальное танго, и медленно, но не печально, танцевали пары, и Завьялов с Майей тоже ушли туда и, тесно прижавшись, поплыли по проходу, а ему стало еще хуже и тоскливее от этого, и он подливал себе, шоферу, но водка не брала его, и он подозвал официантку.

— Еще бутылочку столичной.

— А не много ли? — усомнилась официантка.

— Ну что бутылка на четверых мужиков? — бодро, наигранно ответил он.

И официантка сделала вид, что поверила ему, что пьют они все вместе, и принесла еще бутылку.

Майя пристально посмотрела на него и тоже сказала:

— А может быть, не надо больше пить?

— Ерунда, — Николай мрачно посмотрел на нее, на всех. — Бывало и по семьсот грамм выпивал один и хоть бы хны, — соврал он.

И налил и выпил еще, не притрагиваясь к еде, и секретарь недовольно пробурчал:

— Хоть бы закусывал, а то захмелеешь.

— Иди ты... — ругнулся Николай.

— Ну смотри, — неопределенно сказал секретарь. — Мы пошли спать — устали с дороги.

И они поднялись с Завьяловым, посмотрели на Майю, но она сидела и все чего-то ждала.

— Нет, я еще посижу, — отказалась она. — Послушаю музыку.

— Не засиживайтесь долго, — предупредил секретарь. — Завтра рано вставать.

— Не бойся, встанем, — насмешливо ответил Николай. Ему вдруг стало радостно, что Майя не ушла, осталась с ними.

— Налейте и мне немного, — попросила она. — Что-то и мне захотелось выпить.

И Николай поспешно налил ей полную рюмку, а она запротивилась, стала говорить, что это много, а Николай стал настойчиво уговаривать ее выпить все.

— Ну разве много — одна рюмка, — слегка уже пьяно уговаривал он.

И она выпила и весело посмотрела на него, на шофера и пригласила танцевать, но он отказался, сказал, что не умеет, и она пошла танцевать с Андреем, и Николаю приятно было смотреть на них, приятно было ждать их возвращения за стол. Он снова тайно надеялся на какое-то сближение с Майей, ему хотелось обнять, поцеловать ее, быть бесконечно с ней...

И когда они возвращались, он подливал в рюмки, но она больше не пила и уговаривала не пить и их.

— Не надо, Коля, — мягко попросила она.

И его будто ударило током, когда услышал, как она сказала: «Коля», а она повторила:

— Коля, давайте лучше пройдемся по Витебску...

— А это мысль, — обрадовался он, а Андрей сказал:

— Вы идите, а мне пора спать. А то мне раньше всех подниматься — машину заводить.

На улице казалось пустынно, тихо — был уже поздний час ночи. А сама ночь была тепла, бледно-светла от электрических фонарей, взошедшей, но еще низкой луны и пахло остывающим асфальтом, сухой землей и тонко духами от Майи.

— Куда пойдем? — спросила она.

— А-а, куда-нибудь, — неопределенно ответил он.

И они долго бродили по городу, говорили что-то незначительное и тут же замолкали и ему было удивительно хорошо. Потом они внезапно наткнулись на реку — она серебристо отсвечивала своей поверхностью на середине, а по краям глухо чернела потаенной глубиной. «Должно быть Двина», — догадался Николай. И ему захотелось искупаться.

— Ты с ума сошел? — испуганно сказала она.

И Николай почувствовал, догадался, как она покраснела в темноте от сорвавшегося «ты», но ничего не сказал, не ответил, а стал молча, поспешно раздеваться.

— Холодно, наверное, — слабо повторила она.

Но он подошел к воде, осторожно нагнулся и погрузил руки в воду. Вода была тепла, как парное молоко, и он весело окликнул ее:

— Майя! Попробуйте, как в домашней ванне.

Она несмело приблизилась к берегу и, зачерпнув ладонью воды, тихо рассмеялась.

— Ага, теплая...

\* \* \*

Утром он проснулся раньше всех — на новом месте всегда плохо и мало спалось, — но ощущение чего-то радостного и приятного не покидало его, и он отчетливо вспомнил вчерашний вечер, речку и как они вернулись в третьем часу ночи, и сонный, недовольный швейцар долго не хотел открывать двери и что-то сердито выговаривал им, а они засмущались, быстро поднялись по лестнице и на секунду остановились возле номера, и ему остро захотелось обнять, поцеловать ее, и она, наверное, догадалась об этом, быстро сказала:

— Спокойной ночи.

«Хорошо-то как...» Николай потянулся, взглянул на спящего Андрея и громко и весело заорал:

— Подъем!

Андрей нехотя разлепил глаза, тяжело отнял голову от подушки и недовольно пробормотал:

— Чего орать-то так. Не глухие.

И опять была дорога. И опять день выдался чистым и теплым. Солнце будто хотело отдать все последнее тепло, и они опустили стекла в машине до отказа, и полевой ветерок шумно врвался в машину, мохнатил волосы, приятно холодил лицо, все тело, и сильно пахло сыростью от болот, марганцовкой от уложенного возле дороги льна, хвоей от высоких сосен, и запах этот был приятен и свеж, а не душен и тяжел, как в городе. И чем дальше уезжали они от Витебска на север, тем плотнее и плотнее окружали их леса, и скоро они ехали будто по узкому зеленому коридору, и только изредка и внезапно этот коридор разрывался нежно-голубым озером или узкой заросшей речкой. И все притихли, отдались созерцанию этой незнакомой северной красоты.

А въехав на территорию Псковской области, Николай заволновался, попросил:

— Давайте свернем в Михайловское. А? Это недалеко от дороги — двадцать семь километров.

— Участников семинара и так, наверное, повезут на экскурсию, — возразил секретарь обкома. — А сейчас только время потеряем — ехать еще далеко.

— То ли повезут, то ли нет, а Михайловское посмотреть бы надо, — поддержал Завьялов Николая.

Перед указателем «Михайловское — 27 км» Андрей затормозил, вопросительно посмотрел на Николая, на всех, и Николай решительно приказал:

— Сворачивай в Михайловское.

В Михайловском он был не один раз, но сейчас его, как и в каждый приезд, пронзило какое-то непонятное волнение, видение того Михайловского, когда приезжал сюда Пушкин и жил один, ожидая друзей, товарищей, слушал глуховатый, монотонный голос родной и близкой Арины Родионовны и писал свои волшебные, дивные стихи... И виденье это было так остро, отчетливо, что ему казалось, что вот-вот из-за поворота покажется пролетка и в ней он, Пушкин... И что тогда? И Николай пугливо озирался, но по волнистой дороге ехали машины, машины...

В Пушкинских горах, у входа в Святогорский монастырь, им сказали, что музей и комнаты закрыты — был выходной, и они повернули было назад, но их остановил какой-то уже немолодой мужчина и бойко предложил:

— Не хотите ли приобрести на память фотографии?

И быстро, ловко достал толстую пачку фотографий с видами монастыря, Михайловского, Тригорского.... Пачка была засалена, неряшлива, фотографии тоже были плохи, халтурны, и Николай вяло отвернулся от них, зло подумал: «Черт, эти халтурщики-приживальщики, как пьявки, присосались ко всем усадьбам великих...»

Но Завьялов с секретарем жадно набросились на них, и потрепанный мужчина оживился, повеселел, стал хрипло похихикивать, объяснять что к чему.

— Это, значит, Тригорское, а вот в рамочке Анна Керн. Та самая, ну которой Александр Сергеевич посвятил свои

стихи... Те самые, значит, я помню чудное мгновенье и так далее. А это семейство Вульф, то самое... Если желаете, я могу многое пояснить, рассказать...

И захлебываясь от чего-то, похихикивая, он начал рассказывать и как жил Пушкин в Михайловском, скучал по Петербургу.

— По дамам, значит, — пояснил он и похохатывал еще больше, значительнее, и как ухаживал за Вульфами и соблазнил не одну помещицу, красивую крестьянку....

«Ах ты гад ползучий, — Николай яростно сжал кулаки. — Врешь все и выдаешь за правду, авось кто и клюнет. На пушечный выстрел таких нельзя подпускать сюда...»

— Пойдем отсюда, — тихо позвал он Майю. — Я покажу лучше могилу его. А этот гад все врет...

— Я знаю, что врет, — отозвалась она.

И они поднялись по каменным ступенькам наверх к монастырю и остановились на краю высокого обрыва у могилы. И ему опять представилось, как везли его сюда зимой тайком от всех, как плохо и одиноко жилось ему в Михайловском, а Наталья так и ни разу не навестила его, не приехала на могилу.

— А Наталью я бы убил из-за него, — пробормотал он. А Майя неожиданно взорвалась, зло посмотрела на него.

— И что вы все на Наталью? Наталья и такая и рассякая... А она умницей была. К ней сватались какие богатые, красивые женихи. И семья была против Пушкина, а она всем отказывала — вышла за него... Она уже тогда понимала: кто такой Пушкин...

— Ну уж понимала, — насмешливо хмыкнул Николай.

— Не надо больше об этом, — устало попросила она. — Давайте лучше доедем до Михайловского, побродим по парку. Неважно, что комнаты закрыты. Главное не в том, а парк, аллеи, речка, у которой сидел он...

— А вы зря ушли, — встретил их с упреком секретарь. — Дядька интересно рассказывал...

«Вот и эти клюнули», — усмехнулся Николай и зло ответил:

— Пропойца он и халтурщик.



— Но это ты зря, — вступился и Завьялов. — Кое-что он все-таки знает.

В Михайловском они опять отстали от всех — им было хорошо и приятно вдвоем...

В Псков приехали еще засветло, еще оранжево светился закат, отражаясь жарким пламенем в высоких окнах, на куполах многочисленных церквей, и город от этого казался каким-то сказочным, былинно-древним.

Возле гостиницы их встретили представители обкома, ЦК ВЛКСМ, и он заметил, как переглянулись, заулыбались молодые ребята из Москвы, увидев Майю, и как она тоже ответно улыбнулась, поправила прическу, а он сразу насупился, помрачнел, подумал про себя: «Все они женщины такие...»

Номера их оказались почти рядом, и через полчаса Майя зашла к ним, стала звать идти вниз обедать, но пришли ребята из Москвы и пригласили ее в гости к себе. Пригласили и его, но он наотрез отказался, надеясь, что откажется и она. Но Майя согласилась.

— Пойдем-ка тяпнем грамм по сто, — позвал он Андрея. И они пошли в ресторан, заказали водки, но пить почему-то расхотелось.

— Давай один. Я пойду пошляюсь по городу, — невнятно сказал он Андрею.

— Зря это ты, — попробовал удержать его Андрей, но Николай уже поднялся.

Город знаком был ему по прошлым приездам, и он отправился в парк, потолкался там среди гуляющих, но и здесь было скучно, и он остановился в нерешительности, раздумывая — куда пойти? Впереди стройно чернели купола Троицкого собора, отчетливо выделяясь на бледном уже, сером закате, и Николай пошел туда, надеясь застать службу, послушать церковное пение, но широкие крепкие ворота собора были закрыты на замок, и ни огонька не светилось вокруг, и собор оттого был слеп, глух. И Николай повернул назад.

Отчего-то стало тоскливо и он пожалел: «Зря не остался с Андреем...» Но ресторан тоже уже был почти пуст — выпроваживали последних засидевшихся, и он поднялся

к себе в номер и удивился: в комнате сидела Майя. Андрей тоже еще не спал, пил прямо из бутылки пиво, что-то пьяно бормотал и беспрестанно курил — дым густо повис в воздухе.

— Хочешь? — он протянул Николаю бутылку пива, но Николай отказался, отвел его протянутую руку и глухо спросил:

— Ну как — весело было?

— А-а, обыкновенно, — отозвалась Майя. — А вы где так долго гуляли?

— Город смотрел, — неохотно ответил он.

— А мне покажете завтра? — попросила Майя.

— Завтра семинар, некогда будет, — буркнул он. — Да и ребята из Москвы, наверное, опять уведут вас.

Он насмешливо, раздраженно посмотрел на нее.

— А вы злой, однако, — удивилась она и поднялась. — Спокойной ночи, — попрощалась она и мягко, осторожно прикрыла за собой дверь.

— Тюфяк ты, — ругнулся неожиданно Андрей. — Она ждала, а ты...

Андрей не успел договорить, как Николай заорал:

— Заткнитесь вы все! И пошли к черту, радетели... — Он яростно сорвал одеяло с кровати, как попало разделся и почти приказал:

— Туши свет. Спать пора.

И долго еще в темноте поскрипывали слабо натянутые пружины кровати — спалось плохо и тревожно. Снилось ему что-то фантастическое и нереальное — бал и как он танцует с Майей, а потом сидит с ней в парке на скамеечке и уже хочет обнять ее, но вдруг появляется ее муж и грозно вопрошает: «Вот ты где скрываешься?..»

«Приснится же такая чертовщина», — думает он утром и тихо, стараясь не разбудить Андрея, встает, быстро умывается и бесшумно, на цыпочках выходит в коридор и почти бегом минует номер Майи. Ему сейчас не хочется видеть ее, никого. Еще рано, и ресторан закрыт, и, не позавтракав, не выпив обычного чая, он бесцельно слоняется по городу, ждет, когда стрелка часов приблизится к девяти и можно будет идти на семинар в Дом Советов. Город с

утра чист, свеж, как-то бодр, и ему приятно смотреть на широкие улицы, на высокие крепкие дома, на аккуратные и красивые соборы, церкви, и его вновь поражает особая, ни на что не похожая старинность Пскова. Все тут древне, тысячелетне — и мостовые, и дома, и люди...

В девять Николай заторопился к Дому Советов — там уже многолюдно, шумно — собрались со многих областей, и он ищет взглядом своих и скоро находит — Завьялов, секретарь обкома, Майя стоят возле стены и оживленно разговаривают. И он досадливо отворачивается, обходит их стороной и выбирает место в зале подальше от прохода, возле окна и тайно желает, чтобы и рядом расположенные места поскорее заняли другие, не свои...

Скоро начинается и семинар, но Николай плохо, невнимательно слушает выступающих, мысли его далеки, беспорядочно перескакивают с одного на другое: то он видит дорогу, Витебск, то Михайловское и неотступно — Майю... Он украдкой оглядывается и пытается отыскать ее, но от лиц рябит в глазах, и ему все никак не удастся разглядеть: где же она? Наконец, глаза натываются на нее, и Николай видит, что сидит она рядом с какой-то девушкой почти у самого выхода и пристально смотрит на него. Николай краснеет и поспешно, неловко отворачивается и неподвижно и прямо замирает, смотрит на трибуну, на выступающих. Ему хочется опять взглянуть назад, на Майю, но что-то мешает ему сделать это.

— Товарищ, — слышит он шепот сзади. — Возьмите... вам.

И ему передают записку. «Горбову — лично», — читает он и торопливо разворачивает вчетверо сложенный листок. «Не кажется ли Вам, что здесь очень скучно? Не удрать ли нам в перерыв в город? Вы покажете мне его? А? Майя. ...Пожалуйста, не отказывайтесь...»

Николай еще раз перечитывает записку, будто не веря написанному, и оглядывается, отыскивает Майю. Она с ожиданием смотрит на него, и он непроизвольно кивает головой, и она улыбается, глазами показывая на выход.

В перерыве они выходят на улицу, и Николай весело бодро спрашивает:

— С чего начнем?

Чувствует он себя еще неуверенно, как-то неловко, и веселость эта, бодрость наигранна, фальшива.

— А с чего хотите, — отзывается она.

И в голосе ее звучит покорность, желание подчиняться ему во всем, и Николай оживляется, веселеет и ведет ее на старый базар — он любит ходить на базары. Но Майя быстро устает от шума, криков его, и они идут к крепостным стенам, к площади, где когда-то в далекую старину собиралось вече, к Троицкому собору. Николай много и складно говорит о древнем Пскове, Александре Невском, и какие непокорные, вольнолюбивые были псковитяне. И Майя внимательно, чутко слушает его, радостно круглит свои большие глаза и не отрывает их от Николая.

Троицкий собор особенно поражает их. Поражает своей простотой и мощью, какой-то воздушной легкостью. И они то подходят к нему, трогают его руками, то отходят подальше и смотрят на высокие стройные необычно красивые купола, и она тихо говорит:

— Кажется, что он парит.

— Кто парит? — не понимает Николай.

— А собор. Посмотри внимательно.

И он не замечает, как она говорит ему «ты», и пристально смотрит на собор, и ему уже кажется, что собор и в самом деле парит в воздухе. «Умели все-таки строить в старину», — думает он. А Майя внезапно спрашивает:

— Ты почему обиделся вчера?

И тут только до него доходит, наконец, что обращается она к нему на «ты», и ему радостно от этого, и он растерянно бормочет:

— Я не обиделся... Откуда вы... ты... взяла?

— Нет, нет, обиделся, — настаивает она.

— А зачем пошла к ним?

— А-а, вот оно что, — лицо ее серьезнеет, становится строгим. — Просто хотелось узнать, а какие они...

— Ну и как? — интересуется Николай.

— Как и все — такие же бабники, — смеется Майя. Николай почему-то сразу обижается, обижается не за ребят, а за себя.

— Значит, и я бабник? — обиженно спрашивает он.

— Не надо, Коля, — просит Майя. — Нам ведь так хорошо сейчас...

И Николай покорно замолкает, а Майя просяще и ласково дотрагивается до него и предлагает:

— Давай заберемся вот на ту стену — посмотрим в амбразуры. Когда-то там сидели монахи с пищалями и ждали врагов...

И они отыскивают полуразвалившиеся, полуистершиеся ступеньки и взбираются на стену и приникают к маленьким окошкам-амбразурам.

— Ой, что это? — вскрикивает Майя.

Перед ними вдруг открывается широкая темно-желтая водная гладь.

— Река Великая, — вспоминает Николай. — Я и совсем забыл о ней.

День стоит не по-осеннему жарок, и на реке много лодок, катеров, берега облеплены голыми телами.

— Может, и мы искупаемся? — спрашивает Майя.

— Ага, искупаемся, — радостно соглашается Николай. И они спустились к берегу и ужаснулись: так было много народу, а им хотелось побыть одним, и они, не сговариваясь, пошли вверх по реке к большому мосту и перешли на другую сторону и ушли далеко за город. Берег здесь был полог и почти пустынен, и только по середине реки сновали сигарообразные лодки и видно было, как у гребцов тяжело и мощно вздымались грудь, бока и бугристо перекатывались мышцы.

— Боже мой, я ведь без купальника, — жалобно сказала Майя.

— А без купальника нельзя? — спросил Николай. Майя почему-то покраснела, отвернулась, а Николай настойчиво повторил:

— Какая разница — в купальнике или без него...

— Думаешь, можно? — нерешительно спросила она.

— Конечно, можно, — ответил он.

Ему хотелось увидеть ее раздетой, почти нагой, и он бурчал сейчас сердито, что предрассудки это — купальники, что раньше люди купались совсем раздетыми и ничего...

Майя сняла туфли, осторожно вошла в воду, постояла в ней с минуту. Ей тоже хотелось искупаться, полежать на берегу, — жара стояла дикая.

— Отвернись! — приказала она и угрожающе добавила: — И не вздумай повернуться, пока не разрешу.

— Ладно, ладно, — обрадованно согласился он.

Он слышал, как стягивала она платье, и глаза его тянулись назад, но он стоял, напрягаясь всем телом, не шевелясь, и прозевал, не заметил, как она бултыхнулась в воду и звонко крикнула ему.

— Все. Можешь купаться.

Она весело гребла руками, и он видел, как в прозрачной воде гибко и плавно извивалось ее тело, и видна она была вся, но сама она, должно быть, не замечала этого. «Догоню и обниму сейчас ее», — подумал он и торопливо разделся, с разбега бросился в воду и быстро, как торпеда, рассекая воду, понесся к ней. Она только теперь увидела, как прозрачно просвечивает вода, и испуганно вскрикнула:

— Не смей подплывать близко!

Николай на миг приостановился, будто наткнулся на ее крик, и расчетливо нырнул, еще быстрее заработав под водой ногами и руками, не упуская и под водой ее из вида. Майя метнулась в сторону, шумно забарабанила ногами по воде, но Николай был уже рядом и, схватив ее за руку, вынырнул и дико завопил:

— Я чудо речное и морское. Проси пощады, а то уведу на дно в царство свое.

Она не отняла свою руку, и тела их были совсем близки и в какой-то миг коснулись друг друга, и он, не помня себя, неловко поцеловал ее в ухо и хотел поцеловать еще, но она уже выдернула руку и поплыла к берегу, а он, балансируя руками и ногами, остался стоять на месте и все смотрел ей вслед. Майя, не оглядываясь, вышла на берег, не спеша оделась, и у него ёкнуло сердце: «Сейчас уйдет». Но она повернулась к нему, села на траву, выставив вперед колени и положив на них голову, и ему показалось, что она улыбается, и тогда он быстро, быстро поплыл к берегу.

— Не сердись? — робко спросил он.

— Нет, — спокойно ответила Майя.

— Правда? — обрадовался Николай.

— Конечно, правда.

Он сел рядом с ней, и они замолчали, греясь на солнце, искоса поглядывая друг на друга, на реку, на ловких и сильных гонщиков — им было хорошо вдвоем, и хотелось обняться и говорить что-то ласковое и нежное — они знали, чувствовали это, но никто из них не решался сделать первым это.

— Можно... поцеловать тебя? — наконец решился, спросил Николай.

— Кто же спрашивает об этом, — рассмеялась Майя... И Николай жадно набросился на нее, и они задохнулись в долгом, бесконечном поцелуе. Потом они целовались еще и еще, и она только повторяла удивленно:

— И откуда ты взялся такой?

И подолгу, пристально разглядывала его, а он смущался под этим взглядом, невнятно бормотал:

— Какой такой?

— А вот такой — желанный...

Они как бы ошалели от счастья, крепких объятий и говорили, говорили, ласкали друг друга взглядами, прикосновением рук и не могли наговориться, наласкаться вдоволь.

— Помнишь, у Бунина есть рассказ «Солнечный удар»? — спросила она.

— Угу...

— Вот и у нас что-то вроде солнечного удара.

— И да, и нет...

— Почему нет?

— У нас лучше. И ты не сбежишь от меня внезапно?

— А-а, — рассмеялась она. — Не сбегу. А ты?

— Я тоже.

В город они вернулись под вечер. Брели они медленно, взявшись за руки, то и дело останавливались, смотрели друг на друга, и он быстро, коротко целовал ее, и она так же быстро отвечала ему, шепча при этом:

— Люди же кругом...

— А-а, пусть... — хмелея от этих острых, как жало, поцелуев, отвечал он.

По дороге они зашли в какое-то кафе и выпили по чашечке черного кофе. Выпили, стоя у окна, спеша в номер. В номере у нее он остался до утра.

А утром, по дороге на семинар, она ему сказала:

— Сегодня вечером я уеду поездом в Богучанск.

— Как уедешь? — не поверил он. — И почему поездом?

— Так будет лучше, — неопределенно ответила она.

— Ну это уж совсем... — возмутился он. — Какая муха укусила тебя?

— А ты видел, как смотрели на нас Завьялов, секретарь обкома? Они уже догадываются, а по дороге еще будет хуже... Притворяться, что мы чужие, что между нами ничего нет... Нет, сегодня вечером уеду, — решительно объявила она.

Николай попытался отговорить ее, сказать, что все это ерунда и плевать им на Завьялова, на всех, но она была непреклонна.

— Нет, нет. Так будет лучше.

И он покорно уступил, и она пошла к секретарю обкома, что-то наврала о доме, и ее отпустили с семинара. И вечером он проводил ее на вокзал. Рядом были Завьялов, секретарь, и им не удалось поговорить, побыть наедине.

— До встречи в Богучанске! — крикнула она, когда тронулся поезд.

И он понял, что крикнула она это ему.

Через три дня уехали из Пскова и они. Обратная дорога показалась ему утомительно долгой, скучной.

В Богучанске он торопливо попрощался со всеми и сразу метнулся к автомату и набрал номер театра. Через минуту позвали ее, и он услышал, как незнакомо, глухо прозвучал ее голос.

— Булгакова слушает....

Он часто, часто задышал в телефонную трубку, засипел вдруг и, отхаркиваясь, сипя, тихо сказал:

— Это я, Майя....

— Кто, кто? — далеко донеслось из трубки, и он громче повторил:

— Это я...



— Коля, ты? Бог мой, наконец, ты... Ты где сейчас? — спросила она.

— В телефонной будке, — радостно, будто очнувшись, заорал он. — Звоню вот тебе.

— Пожалуйста, потише, — попросила она. — А то лопнут перепонки.

— Я сейчас приеду! — крикнул он.

— Не надо, Коля, — попросила она.

— Почему? — не понял, обиженно спросил он.

— Внизу меня ждет муж. Только что закончилась репетиция, и он ждет меня внизу...

У него что-то оборвалось внутри от этих слов, стало пусто — он совсем забыл, что у нее есть муж, и что они уйдут сейчас вместе, и он не увидит ее, и что его тоже ждут жена, дети, а Майя говорила:

— Коля, какая я дурища... Какая я дура, что уехала раньше из Пскова. Всего один день счастья, а могло больше...

До него плохо, как во сне, доходило, что она говорила, он не понимал сейчас ничего, а она уже прощалась:

— До свидания, Коля. Завтра увидимся...

«Погоди!» — хотел крикнуть он, но трубка уже коротко, раздражающе тонко пикала над ухом, и он снова набрал номер.

— Пригласите Майю Булгакову, — попросил он.

— Она уже ушла, — ответили ему.

Он вяло повесил трубку и вышел на улицу. Было уже темно и высоко-высоко в небе голубовато мерцали редкие звезды. И глядя на них, почему-то вдруг вспомнилось: «Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная...» И такая невыносимая печаль навалилась на него, и, точно в дурмане, он шел и шел, сам не зная куда...

«Господи! Как жить теперь?» — думал он.

## Позднее свидание

Поездка вышла какой-то горькой, полынной.

До этого стали донимать меня сны о деревне, в которой родился, виделись лица товарищей, деда Ефима, Ани и тропка к ее дому с полукруглыми наличниками, и встречи, встречи... Но в снах все это мешалось, виделось смутно, и по утрам мне отчего-то было тревожно и радостно одновременно. Все думалось и думалось: поехать бы туда, посмотреть — как теперь там? И воображалось уже явно, отчетливо, как подхожу к деревне и иду не по улице, а по-над огородами, спускаюсь в ложбинку, перехожу кладу через узкую речку и вижу вытопанную до маслянистости тропинку и в конце деревянный с полукруглыми голубыми наличниками дом, и на крыльце она, Аня. Я весь обмирал от этого видения, сердце колко и часто колотилось, хотя и знал я, что Аня давным-давно тоже уехала из Зоревки, вышла замуж и вряд ли я увижу ее. Но почему-то хотелось думать, надеяться, что и она сейчас там, в Зоревке — приехала в отпуск или по другим каким делам — ведь родители, родственники ее жили в деревне.

Почему-то желалось сильнее всего увидеть ее, хотя в последнее время стала забываться и она.

В родной деревне я не был уже тридцать лет. В первые годы все тянуло туда, все я как-то не мог привыкнуть к городу, но по разным причинам поездки разлаживались, а потом все притупилось, отошло. Забывались уже, стирались из памяти лица соседей, первых товарищей-одногодков, и я с трудом уже припоминал, а то и вовсе растерянно, смущенно разводил руками, когда кто-нибудь из деревенских заезжал случайно к нам, и мать жадно набрасывалась

на гостя, расспрашивая о новостях, своих товарках, моих ровесниках — она так и не привыкла к городу. Не помнил я и тогда уже многих. А было это спустя каких-нибудь лет восемь — десять после нашего отъезда из Зоревки в областной город. Да и что было спрашивать с меня, покинувшего родные места в одиннадцатилетнем возрасте.

А теперь, когда нет в живых матери и тетки с дядей, к которым мы, собственно, и переехали от послевоенной голодухи (отец не вернулся с войны), связь с деревней и совсем потерялась. Может, кто и заехал бы иногда по старой памяти, но нет уже и старого теткиного домика, как нет давно и того деревенского, который вскоре разобрали после нашего отъезда и перевезли в соседнюю деревню, и мать все убивалась, горевала по этому поводу.

И только, собираясь у сестер своих в их новых, удобных квартирах по случаю праздника, выпив по рюмке вина, случайно и слабо возникали иногда разговоры на деревенские темы и тут же забывались. Да, впрочем, и затевали почему-то их городские мужья сестер, сердито сопя при этом: мол, завтра опять ползавода едет в колхоз на прополку свеклы, и им тоже выпало ехать, а работа эта тяжелая, непривычная, и почему это деревенские сами не управляют с нею, и почему это они все больше бегут, уезжают в город, ищут легкой что ли жизни, и деревни пустеют прямо на глазах, почему это... и т. д. и т. п., забывая при этом, что жены их — бывшие деревенские. Что и они тоже в каком-то своем колене деревенские.

Не возник же вот так сразу город из пустоты, из ничего, а когда-то и на этом месте в далекие времена были лес, а потом поле, и не покладая рук трудились люди на своих пашнях, чтоб продолжалась жизнь, род их. Да и не в такие уж и далекие времена — городу всего четыреста лет.

Но скучно мне было говорить об этом с ними. Ведь они, сколько помнили себя, отцов, дедов своих, все-таки были городскими. Но и сестры поддакивали им. Что сестры — жены их! Я хоть и вспыхивал на миг, порывался встрять в эти нелепые разговоры, хотел заступиться как-то, но кому и зачем было мое заступничество, когда я и сам отдаленно, как чужую боль, воспринимал теперь кре-

стьянскую жизнь, их действительно трудные работы. Только мать могла хорошо и правильно возразить им. Но не было ее рядом с нами.

И вот эти сны, эти видения... Как будто пробудилось во мне что-то изначально-близкое и только на время позабытое, но воскресшее теперь вновь. И по утрам я просыпался совершенно разбитый, но и взволнованный ожиданием какого-то приятного свершения. Так, наверное, на чужбине живут до поры до времени, пока не нападет на них непонятная, до без жалости властная тоска-грусть по родине, по родным местам.

И так желанна стала мне Зоревка, так воображаемо-близко чудились встречи с дедом Ефимом, Аней, со всеми, что я не выдержал однажды, взял отпуск на службе и поехал в Зоревку...

Было это в начале июня. Стояли тихие жаркие дни. И в душном от жары, тесном от ехавших людей автобусе мне стало как-то покойно и светло, что я забыл о своем проекте, еще вчера волновавшем меня и моих товарищей по работе, точно отрезало меня от них, от города, от всего того мира...

Дорога была разбита, и автобус двигался медленно, часто останавливаясь — выходили и входили люди на остановках, и я сердито, с неудовольствием смотрел на них, словно они были в чем-то виноваты. Мне хотелось скорей туда, в Зоревку, во мне уже жили тот мальчик — я, девочка Аня, детство, деревня.

И еще неожиданно и остро толкнулась мысль о Бруно, но так и не проклюнулась тогда. Не время еще было ей завладеть мною. Как не время еще было знать, что нет уже в живых деда Ефима, у которого я решил остановиться пожить, что не увижу я и Ани, в Зоревке, и вообще больше не увижу ее никогда. Все это я узнаю потом в деревне. И горькая и чистая мысль об Ане, о Бруно завладеет мною тоже потом...

А сейчас я сердился на водителя автобуса, вышедших и не замечал ни ярости и свежести полевых цветов, высокой и густой травы, глянцевиных, темно-зеленых и ровных, словно подстриженных, хлебов, а сидевшие рядом за-

мечали и громко радовались этому: растет хороший урожай, будут корма... Я же по-прежнему торопился туда...

А сойдя с автобуса, вдруг перестал торопиться. На меня нашла какая-то слабость, оцепенели ноги, и я обмяк, присел у обочины и все никак не мог сообразить: в какую сторону надо идти — до Зоревки от шоссе, помнится, было пять — шесть километров. Да и усомнился до робости опять: надо ли идти, зачем и кому я там нужен и что за встречи ждут там меня... «А-а, интеллигентские штучки-дрючки», — ругнулся, подбадривая себя, но все не решался идти, двинуться с места. И тут мой взгляд наткнулся на покрашенный белой краской невысокий столб на той стороне дороги, а на нем ярко выделялась синяя указательная стрелка: «Зоревка — 4,5 км». И меня точно ударило током...

## II

Растерян я и сейчас. Стою на краю деревни и не верю своим глазам — Зоревки не узнать: дома белеют шифером, нарядно рябят голубыми, зелеными, синими, коричневыми наличниками, ставнями, высоки и просторны с виду — таких домов и в помине раньше не было. Были хаты все под солому, за исключением разве трех — четырех, слепо жались к земле, и мнилось мне тогда, что понатыканы они тесно, но дружно... А эти почему-то были редки и как-то заносчивы слегка казались, отчуждены друг от друга.

«Ну, понесло», — одернул я себя, а сам все искал, отыскивал узкую дорожку по-над огородами к той ложбинке, речонке, к той тропке, по которой бегал в детстве и в недавних снах своих. И не находил. Виделись бескрайние хлебные поля и марево над ними, а огородов как будто и не было, хотя и были они, но представлялись они более длинными, большими по размерам — не такими клочками земли.

Деревня же словно вымерла, несмотря на нарядные, грузные дома, и было пустынно вокруг — не у кого было спросить, как пройти к Ефимову дому, — не до тропки уж было мне. А казалось, думалось, что я легко найду его: раньше он выделялся железной крышей, деревянным резным

крыльцом, такого дома почти ни у кого не было в деревне. Но что теперь Ефимов дом по сравнению с этими?

«Не город, а заблудишься», — весело подумалось мне, и я пошел по улице, надеясь на удачу. Не прошел я и пяти минут, как навстречу, из-за угла большого дома, медленно вышагнула высокая и прямая старуха и первой по деревенской привычке поздоровалась со мной.

— Здрате, бабушка, — обрадованно ответил я. — Скажите, как пройти к дому деда Ефима?

— Это какого Ефима? — спросила она, пристально вглядываясь в меня, приставив козырьком широкую ладонь к сухому синевато-желтому от времени лбу, силась, должно быть, вспомнить: чей я, откуда я.

— Мартынова. У него дом под железо всегда был, — пояснил я.

— А-а, помер он, батюшка, — безучастно, равнодушно сообщила она и уже с большим интересом спросила: — А ты чей, касатик, будешь?

Что ей было до чужой смерти, когда и своя уже стояла на пороге. А меня опечалили ее слова — не ожидал я вот сразу такого горестного известия. Виделось-то мне, воображалось все радостнее, по-другому. Но и вся поездка вышла какой-то щемяще-грустной и печальной...

— Дак, чей же будешь? — настойчиво переспросила меня старуха.

— А вы не помните, — устало и неохотно ответил я. — Мы давно уехали отсюда, сразу после войны...

Но, к удивлению моему, она вдруг сказала:

— Не Катьки Елисеевой сынок будешь?

— Он, — отчего-то смущенно и неловко подтвердил я и сам уже невольно гадал, силился вспомнить: кто она?

Но мог ли я вспомнить ее, когда и сверстников своих почти всех позабыл. А она, будто читая на лице моем, спокойно сказала:

— А меня, небось, не признал? Да и где признать, когда мы жили на краю, а вы посередке. Хворостиной-то жалить тебя не довелось. Срединных небось-то помнишь?

— Ага, помню, — соврал я, а она удовлетворенно кивнула высохшей головой:

— Должен помнить. А Ефимов дом — вон он, — показала она отполированной до блеска палкой вправо от себя. — Он и седни ишшо один под железной крышей. Маруська там теперь одна живет.

— Какая Маруська? — сорвалось у меня.

— Ейнова, Ефимова дочь, какая же ишшо, — ответила старуха и беззлобно засмеялась, обнажая беззубые десны: — А ишшо баил, помнишь-то срединных... Ты, что ль, к ним погостить приехал?

— К ним, — поспешил ответить я и попрощался с ней, а она уже вслед пробормотала: — Дак и то соседи, а родственников у вас и не осталось здесь.

Ох и дурак беспамятный, корил я себя: Мария, дочь Ефима, выпала из памяти, а она нянчила, все татошкала на руках нас маленьких — пока не подросли, не забегали сами, а и подросшие тянулись к ней, ласково звали «нянькой». И злился на себя за то, что деревенские слова, тропки и луга, кладки через речку помню, а ее забыл. А была она в ту пору чуть ли не ближе матери родной. Что делает с нами время! И время ли только одно? А не черствость, эгоизм, себялюбие наши? Или только я один такой? Или так непонятно и загадочно устроены души наши, мозговые извилины в голове — хорошо помнят одно, смутно, отдаленно — другое и глухо, напрочь забывают третье. Но забывают ли? А не откладывается, копится это третье до поры до времени, а потом однажды озаряет тебя и рассеивает, развидняет, как утренние зори, казалось бы, беспросветную тьму, и ты видишь только это третье, забывая о первом и почти о втором?

И вот мне так увиделась сейчас она, Мария, что на миг показалось, что слышу я скрип люльки и ее слова: «Спи, мой маленький, спи, хорошенький...» Хоть и не мог я никак помнить этого.

Дом я нашел, узнал сразу — был он такой и не такой, как помнился: слегка покосился, обветшал уже, крыша в нескольких местах проржавела, прохудилась и не блестела, как когда-то, — не чувствовалось уже мужской Ефимовой руки. Какая-то женщина что-то делала возле погребца, и не сразу признал я в ней Марию — так постарела, осунулась

она, а ведь была и старше меня на каких-то десять лет. А она, подняв голову, тут же громко и радостно охнула:

— Никак, Женя...

Точно и не уезжал я никуда, а так — отлучился на несколько дней, недель.

— Я, няня Маня.

— Помнишь? — ласково удивилась она и попнула, прислонилась к моему плечу.

— Значит, приехал, не забыл... А дед Ефим помер, не дождался тебя, — и по ее обветренному, загорелому до смуглости лицу покатались крупные слезы.

— Ну, ладно, ладно, няня Маня, что поделаешь, — не ловко утешал я, а она, вытерев глаза чистым цветастым фартуком, бодро сказала:

— И то хватит, с того света не возвернешь. Гостечек дорогой приехал, а я, дура, в слезы...

И она захлопотала, стала накрывать на стол, приговаривая, расспрашивая при этом:

— Устал с дороги? Поешь и приляжь, отдохни...

Я пытался сказать, что и не устал вовсе и что мне хочется побыть, посидеть возле дома, осмотреться — давно уж не был в родных местах, но она и не слушала меня, говорила свое.

— Вымахал-то какой! А лицом вылитая Катька, — и она опять всплакнула, вспомнив мать мою. — Сестры как, живут с тобой или отдельно, замужем?

Сама она так и осталась вековухой — какие женихи были после войны? И она все спрашивала и спрашивала, говорила сама и пристально рассматривала меня, сидя на лавке, напротив, будто не веря еще, что я здесь, рядом.

Она и впрямь рада была несказанно моему приезду.

— Слух дошел — на инженера выучился? — заинтересованно она смотрит на меня, как ей хочется, чтоб так и было, чтоб сказала она потом горделиво соседкам, товаркам при встрече: «А Женька Катькин инженером работает...» (видя в этом и свою сопричастность какую-то — как-никак нянчила на своих руках, жили рядом, бегал без порток, и гляди — инженер, не тракторист какой. Тракторист — это привычно, обыденно, а до войны и трактористом гордились).



— На конструктора, — поправляю я. — В СКБ работаю. — И тут же спохватываюсь: откуда ей знать, что такое СКБ, когда и сам часто путаюсь в сокращенных названиях, поясняю:

— В специальном конструкторском бюро — проектируем новые цехи, заводы...

— И ты, как это... придумываешь новые заводы? — недоверчиво спрашивает она.

— Придумываю, няня.

— Охо-хо, — восхищается она, и восхищение это растет с каждой минутой, прямо на глазах: — Надо же такую голову иметь.

Мне приятно видеть и слышать все это, и я замечаю, как уже чуть-чуть горжусь собой — тщеславие — губительная штука. Но окончательно «погибнуть» мне не дает Мария.

— Ох, времечко летит, — спохватывается она. — Ты вон ложись, отдыхай на кровати, а я побегу, на работу пора. Прибегала корову подоить, курям покрошить. А хочешь — посиди на крыльце, а потом ложись. Вечером ишшо наговоримся.

И уже перед уходом ругает себя:

— Вот дура старая, забыла спросить, надолго приехал?

Я и сам не знаю, не определил еще: сколько здесь побуду, но бодро-уверенно говорю:

— Недельки две побуду. Не возражаешь, няня?

— Вот и хорошо, — радуется Мария. — Погости, погости подольше, а то когда снова заглянешь...

А вечером я узнаю, что сверстников моих (с которыми ходил в школу, пас коров, пахал на волах, помогал матери) почти не осталось в деревне.

— Поразлетелись кто куда: одне к вам в Орел, другие в Брянск, кто на эту, как ее, целину, а кто в Одессу, — монотонно перечисляет Мария. — Сам видел, как поредела Зоревка...

— А в Одессу зачем? — почему-то удивляюсь я, представляя не ближний путь от Зоревки до морского города Одессы.

— Бают, что дюже красивый город и матросы много зарабатывают. Вот и подались, — спокойно отвечает она.

Меня же охватывает злое разочарование, душит обида: ехал, надеялся... на встречи. Встретился вот... Словно они в чем виноваты были перед мной.

— Так и все уехали, никого не осталось? — с надеждой спрашиваю я.

Мария, должно быть, понимает мое состояние, извинительно успокаивает:

— Не, кой-кто остался. Галька Заречнева в сельсовете сидит секретарем, Любка Хромая, Костомарова бухгалтершей в конторе работает, Бубозя на тракторе пашет...

— Это какой же Бубозя? — не понимаю я, забыв, что на деревне все больше по кличкам знают друг друга.

— Ну, Гришка Свиридов, — поправляется она, — что возле школы жил. Кажись, и все...

Она напрягает свое лицо, силится вспомнить еще кого, но со вздохом повторяет:

— Кажись, и вправду все.

А ведь было в школе в ту пору целых два первых класса, битком набитых. Правда, ходили в школу и из соседних деревень, но и своих зоревских набиралось больше тридцати.

Об Ане я так и не решился спросить в тот вечер, боясь услышать грустную весть, не подозревая еще, что нет уже Ани.

### III

На другой день я отправился в сельсовет. Галя Заречнева, увидев меня, узнав сразу, обрадовалась страшно, стала расспрашивать о моем житье-бытье, все восклицала восторженно:

— Надо же, столько лет! Столько лет...

А потом опечалилась вдруг:

— Женя, как мы постарели... Боже, как время летит... У меня уже дети старше тех нас, тогдашних.

А я уже почти и не помнил ее ту, прежнюю, и чтобы как-то замять возникший разговор, наигранно перебил, будто и не зная ни о чем:

— Э-е, Галя, хватит о годах. Рассказывай-ка лучше обо всех наших: кто где работает, как живете? Как встретиться с ними?

— А с кем встречаться? — всплеснула она руками. — Нас в деревне и осталось из тех — раз, два — и обчелся. Гриша Свиридов, Люба Костомарова и я — святая троица...

— А где остальные? — притворно удивился я. — Где Миша Рыженков, Коля Зайцев, Вера Сидорова, Женя Филиппов, другие?

— Ты что, слуны свалился? — уставилась на меня Галя и рассмеялась: — Ах да, ты, как отшельник, тридцать лет носа не показывал в деревню. Правильно, тридцать?

— Тридцать, — признал я ее отличную память.

— Я говорю, зазнался, — неожиданно рассердилась она. — А теперь спрашиваешь.

— Но, Галя... — попытался я оправдаться.

— Ладно, ладно, — перебила она и стала перечислять, загибать пальцы: — Миша на целине, бригадирствует в колхозе, Вера учительницей после пединститута в Новосиле работает. Женя, подумай только, прорабом на стройке, Коля шоферит где-то в Орле, Толя Синицын гуляет по морям, по волнам...

И пока она перечисляла, точно называла профессию и место жительства каждого, я с горечью думал: эго как далеко и непохоже разбросала нас судьба, но вот она, Галя, знает почти о каждом, а я не знаю. И когда ехал сюда, в числе других таилась и эта гаденькая мыслишка (от себя не скроешь ведь): поразить деревню, их — мол, стал конструктором и не просто конструктором, а знаменитым, видным, лауреатом закрытого конкурса. И Аню хотел удивить, как бы мстя за что-то... А вот Галя, оказывается, пишет им, и они ей, и радуются успехам друг друга, и обо мне многое знают. Галя сказала при встрече: «Читали о тебе в газете, гордимся». А ведь у меня подспудно мелькала и другая подлая мысль: что надо бы организовать встречу в школе, поделиться воспоминаниями и т. д., чтобы еще раз подчеркнуть, чего достиг, чтобы еще раз выделиться...

Мне было противно, стыдно сейчас за себя, и плохо, смутно я слышал ее голос, а Галя и это заметила:

— Да ты витаешь в облаках.

— Слушаю, слушаю, — возразил я и пошутил: — Все поразьехались, а кто же пахать, сеять будет, кормить нас?

— Э-а, и без вас, стариков, обошлись бы, — не приняла моей шутки, пренебрежительно ответила она. — Худо, что молодежь поразьехалась. Шутка ли сказать — в этом году пойдут в школу в первый класс четыре человека. А ты помнишь, сколько нас ходило?

— Как четыре? — не поверил я.

— А вот так, — зло ответила Галя. — Не смотри, что дома большие — живут одни старики, а они не рожают.

— Почему же так?

— Что так? Старики не рожают? — невесело усмехнулась Галя. — А что изменилось в Зоревке, ты знаешь? Что ты увидел кроме этих домов? Водопровод? Асфальт? Магазин хороший или столовую, ясли? Нет? Баню тогда? Правда, клуб и школу построили новые, но тогда построили, когда ходить некому стало. Кому нужны теперь этот клуб и школа? Ты Мураевку помнишь? Не помнишь? В восьми километрах отсюда. Вот там молодежи хоть пруд пруди. У нас колхоз по земле большой, а трудоспособных, как секретарь сельсовета, тебе точно говорю — сто восемнадцать душ, а у них — около тысячи. У нас что ни год, то новый председатель, а там Алексей Николаевич двадцать лет в председателях ходит. Из них половину все в чудаках числился, а теперь к нему экскурсии возят. Он еще когда построил и Дом культуры, и ясли, и интернат, и асфальт проложил — иди, ноги не замочешь, туфельки не замараешь. Возле правления цветов, елок насажал, как в санатории, деревню, дома штaketником обнес. Чище, культурнее, чем в городе. Ему сначала грозились: коровники строй, а потом бани, все остальное. А он: не люди для коров, а коровы для людей... Понял? Ну и ладно, что понятливый, — она весело рассмеялась, показывая ровные белые зубы, и должно быть зная, что они у нее красивые, смеялась часто.

А была она и впрямь уже немолодая, под глазами, на шее заметно проглядывались морщины, но еще и хороша, статна была, несмотря на годы, эти морщины.

— Заходи вечером в гости, — пригласила она, когда собрался прощаться. — Позовем Гришу, Любу, посидим одни без мужей и жен, поглядим друг на друга, повспоминаем...

— Ладно, — пообещал я, не зная еще, что уже не зайду.

А об Ане я опять ничего не спросил, боясь чего-то, будто мучило уже меня предчувствие какое, а пошел сразу из сельсовета к ложку, через клады по той тропке к Аниному дому. Но дома не оказалось, а бугрилась на том месте, где стоял, земля, густо заросшая крапивой и лопухами.

«Как же так?» — пальцы мои дрожали, знобило меня всего, и я курил сигарету за сигаретой, но успокоиться, прийти в себя не мог. Но теплилась во мне крошечная надежда, что увижу ее непременно — ведь в деревне жили ее брат, дядья, тетки.

Я повернул назад и возле речки на лугу увидел, издалека узнал его, Петра, ее брата. Он сидел на корточках и вбивал в землю свежеструганный колышек, чтобы привязать теленка. Теленок, волоча темную длинную веревку, все порывался к речке, и он покрикивал на него: «Тпру, стой, стерва!»

— Здравствуй, Петр Алексеевич! — громко прокричал я, подумав, что он не расслышит из-за стука топора, бухом которого он бил и бил по расплюсченному уже верхнему концу колышка.

Он медленно приподнял голову и нехотя ответил:

— Здрасте.

И тотчас опять застучал топором, стал привязывать теленка, все так же односложно покрикая: «Тпру, стой, стерва!»

— Не узнал, что ли? — волнуясь, спросил я.

— Не, не признал, — ответил он и уже более внимательно посмотрел на меня.

— Женя Елисеев, забыл? — назвал я себя.

— А-а, Евгений Ваньч, — он приподнял с головы помятую замазленную кепку и протянул руку, потискал мою

ладонь. — А и то, забыл. Да как упомнить, когда ишо уехали... Махонький был, — и он показал рукой, какой я был маленький, — а теперь вот какой вырос, погрузнел, представительный, чисто министр.

И засмеялся довольно, что похвалил, что наконец-то и в самом деле вспомнил меня. А я узнал бы, выделил его не только одного на этом лугу, но и в самой многолюдной городской толпе, хотя и никогда мы не были близки. Близки, дружны были отцы наши, до войны работали в МТС, и я часто бегал к Ане домой, играл с ней и после того, как ушли отцы на войну, и тогда, когда пришли и ушли немцы — до самого нашего отъезда в город. Петр же был старше нас на три года и играл с нами мало, но зато много и часто колодил нас, особенно меня, без всякого повода, а так, из интереса, прихоти ради — старший был — силу показывал. И не очень обидно было, когда бил, а когда дурным голосом голосил, дразня нас: «Жених и невеста объелися теста...» Провалиться бы сквозь землю, думалось мне тогда, и я отчаянно, зажмурив глаза от страха, бросался на него, — но это в тридцать, сорок лет три года разницы невелики... В общем, бит я был постоянно, а в те минуты особенно нещадно.

— Вырасту — все одно побью, — грозился я, отойдя на всякий случай подальше.

— Сопли вытри, а тадды грозись, — презрительно бросал он и опять нарочно дурно голосил: — Жених и невеста объелися теста...

А Ане же как будто нравились эти «жених и невеста».

— Как жизнь городская? — спрашивает сейчас меня Петр.

— Так, идет, — неопределенно отвечаю я. И тягуче потекли с мучительными перебоями ничего не значащие расспросы, а мне хотелось узнать об Ане — пишет ли она, приезжает сюда...

— Родители что — уехали? — осторожно, подступаясь к главному, спрашиваю его, показывая на то место, где стоял их дом.

— А-а... Не, ко мне перешли жить. Одним скучно стало.

— А-а, — облегченно вздыхаю и я.

— Аня пишет, приезжает в гости? — жарко краснея, решаюсь наконец-то спросить я.

Но Петр не замечает этого, лицо его почему-то хмурится, губы начинают нервно подрагивать, и он оглушает меня своим ответом.

— Писала, приезжала, а теперь не приедет. Умерла.

— Ты-ы ч-что? — заикаясь, не веря еще услышанному, говорю я.

— Доктора, туды их мать, недоглядели должно, — ругается Петр. — В роддоме от второго ребенка...

Я плохо, как через вату, слышу его голос, затылок ломит, разваливается от боли, саднит сердце, и я слепо бреду через луг куда-то, а в висках отдается: «Умерла, умерла...» А я и жил ведь ею одной, до сих пор и не женился из-за нее, все чего-то ждал, на что-то надеялся, хоть и надеяться уже не на что стало, но и знать довольно было: она живет, ходит по земле, и уже это одно прекрасно.

Почему же случилась такая несправедливость: старые живут, а она, молодая, красивая, умерла...

И вспомнилась сейчас с длинной косой, в коричневом платье с глухим воротником, стройная, веселая, и как мы случайно встретились на каком-то вечере в доме строителей — она уже училась в городе в педучилище, а я в девятом классе. И мы стали встречаться, видеться почти каждый день — влюбился я в нее по-ребячески горячо, восторженно-нежно. А через год мы уже решили ехать вместе в Москву поступать учиться дальше. Она — в педагогический, а я в политехнический институты. И перед самым выпуском ее из педучилища глупо рассорились — ревновал я ее по каждому пустяку. И она, назло мне, распределилась на Дальний Восток и, не попрощавшись, уехала.

Что за муки настигли меня тогда... Я не поехал в Москву, и вскоре, ровно через год, меня призвали в армию, и разлука наша отдалась, как оказалось — навсегда. Но подлинные муки настали там, в армии — дошел я чуть ли не до безумия — видел во снах ее в первую пору каждую ночь. И все хотел отыскать, написать ей, — но куда? Родителям же ее почему-то написать не решился и, как думаю теперь, напрасно — кто знает, как сложилась бы наша судьба...

И вот нет ее, Ани. Почему такая несправедливость, почему я живу, а ее нет? И не о смерти я сейчас думал, а о ней, живой, видел ее, ощущал всей кожей ее чистые, первые, неумелые поцелуи шершавыми сухими губами, слышал ее голос.

— Мы поженимся, Женя? — спрашивала она. — Навсегда будем вместе?

— Конечно, вместе, — нисколько не сомневаясь, отвечал я.

Как часто несправедливо и непонятно распоряжается судьба нами в этом мире. Я ли не желал соединить ее жизнь со своей, я ли не хотел любить ее до гробовой доски...

Я брел и брел, как в тумане, пока не наткнулся на какой-то мелкий пологий овраг и как во сне спустился в него и присел на траву, все думал о ней, о наших встречах, вспоминая, выискивая в памяти самые мельчайшие, незначительные подробности, а потом повалился на землю и сразу будто провалился в глубокую темную яму, мертво уснул. И спал, должно быть, долго, солнце уже склонялось к горизонту, заходило в белесо-синеватую хмарь. Я поспешно вскочил и заторопился в деревню, к Ефимову дому — мне хотелось уже уехать тотчас, немедленно. По дороге опять стал думать об Ане, ее нелепой смерти, начал размышлять о смерти вообще, и вспомнил смерть матери, брата... А когда вспомнил брата, тут и кольнула меня снова мысль о Бруно и завладела мной окончательно, вытеснив все остальное. Ведь смерть брата, моя жизнь и Бруно были связаны крепко в один узелок, я не знал еще, что и Аня через Бруно тоже связана опять с нами, а вернее со мною... А забыл я на время о Бруно из-за Ани, из-за желания увидеть, встретиться с ней, хоть и всегда помнил, чем я обязан ему...

Мария очень кстати была дома, и я спросил ее:

— Няня Маня, а могила Бруно, ну, того немца, сохранилась?

— А-а, — сразу же поняла она, — цела. Сходи, сходи на нее, я покажу, где она.

И она вышла на улицу и указала рукой за огороды, стала пояснять:



— Видишь, вон у той куртинки дерева — березу с сосной? Катька, мать твоя, ишо посадила. Там и могила. Дак и сразу найдешь — ограда там ишо стоит.

— А кто ограду поставил? — удивился я.

— Нюрка, когда приезжала.

— Какая Нюрка? — волнуясь, спросил я, уже догадываясь, предчувствуя ответ.

— Мельникова, — как я и ожидал, ответила Мария.

— И когда это было? — еще более волнуясь, ждал ответа.

— Давно, когда ишо не замужем была. Приехала с Дальнего Востока нарядная, красивая такая — не узнать. Егору, плотнику, и заказала. Я ишо поинтересовалась тогда: что это ты немцу ограду ставишь? А она в ответ: какая разница, тетя Мань, русскому или немцу — если он хороший человек, если он Жене, тебе значит, жизнь спас.

Лучше бы Мария не говорила этого: значит, помнила, любила она тогда еще меня и, может, ждала, надеялась, что и я приеду в деревню, увижу ее, подойду первым и попрошу прощения за ссору ту, незаслуженную обиду, которую нанес бессмысленной ревностью своей.

Ах, если бы я знал об этом...

«А что ей стоило заехать, остановиться в городе, позвонить бы хотя», — тут же и обиделся. «Ну и человек, недавно еще казнился, был в беспамятстве от горя, а теперь коришь, упрекаешь ее, — удивленно подумал я о себе как бы со стороны. — Она, может, не только Бруно ограду ставила, а и тебе знак этим подавала, надеялась, что приедешь когда в деревню и сразу все поймешь... А я так и не приехал, опоздал...»

Мысли мои путались, как в горячем бреду, и точно издалека услышал голос Марии:

— Иди, иди, чего стоишь-то.

Возле могилы Бруно я остановился, посмотрел на деревья — выросли, вытянулись они высоко, так, что пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть макушки их. Сосна стояла прямо, как свеча, а береза с середины искривилась, потянулась к сосне, и почти у самой верхушки тесно прижалась к ней, обвивая ее своим уже тонким там стволом. Я вошел через узкую калитку внутрь огра-

ды и присел на скамеечку — должно быть, сидела на ней Аня, кому же еще было сидеть?..

Могильный бугорок от времени осел, расплылся, порос жесткой травой и почти уже сровнялся с землей. Внизу возле деревьев зависла сиреневая дымка, а чуть дальше было свежо и чисто. Мокрая трава — перед этим пролился случайный и слабый дождик — блестела бусинками дождевой росы, верхушки деревьев тихо, еле заметно качались, красновато отсвечивали от невидимых лучей только что скрывшегося солнца. И тихая, и покойная печаль нашла на меня. И вспомнил я, как тогда было...

#### IV

Вспомнил лето тысяча девятьсот сорок третьего года. Именно в самом начале июня, в эту пору, только тридцать четыре года назад. Многие я совершенно забыл из того времени, но многое и помню. Помню высокого рыжеватого Бруно в серо-зеленой форме с пилоткой на бритой, гладкой, как тыква, голове, и как он угощает, кормит нас с Вовкой, вкусным мясным супом из своего алюминиевого солдатского котелка, и мы жадно, как утки, заглатываем пищу, почти не прожевывая ее. Голодно было в те годы невероятно — поля пришли в запустение — никто почти не сеял и не убирал их. Коровы, куры у кого остались — немцы забирали все подчистую.

— Не спешите, пищу тщательно пережевывать надо, — ласково говорил нам Бруно.

Точно ли эти слова он говорил тогда — я не помню сейчас. Как не могу передать и речь его — слова коверкал он безбожно, неузнаваемо. Но важно, надо ли до буквы передавать ломаные слова его? Важно ли точно помнить, что он говорил тогда? А говорил он и это матери моей:

— Очень хорошие у тебя дети, Екатерина. У меня тоже хорошие сыновья.

И он показывал на пальцах, что их у него трое — Вальтер, Генрих и Отто, и они почти такие же, как мы, нет, уточнял он: Вальтер и Отто постарше. А еще он всегда грустно добавлял:

— Ах, как нехорошо, что война. Зачем эта война?

— Это у тебя надо спросить — зачем война? — грубо отвечала мать.

А Бруно виновато говорил:

— Но, Екатерина, я тоже не хочу войны.

— Мы, что ль, хотим, — сердилась мать. — Мы, что ль, начали ее... — И психовала, прогоняла нас:

— Ну, что вы прилипли к нему, медом, что ли, он обманан? Кышь отсюда...

Не знала она еще, что Бруно спасет меня, что своей смертью сохранит мою жизнь.

А случилось это на седьмой или восьмой день пребывания части Бруно в нашей деревне. Был, как я уже говорил, сорок третий год, и немцы отступали. Были уже битвы и разгромы их под Москвой, Сталинградом, вот-вот должно было состояться Орловско-Курское страшное сражение. Но мы тогда не знали этого, а замечали только, как сердиты, злы стали немцы: стали мародерствовать в открытую, напропалую, не соблюдая тех внешних приличий, как в первые дни первого года оккупации. И угоняли уже не только лошадей, овец, коров (их и не осталось почти), но и людей увозили в неметчину, и взрослые заползали, прятались в погреба, все больше отсиживались в ямах — будто в логовах звери какие. Но и в логовах достают зверей, а тут и подавно: как ни береглись, ни прятались — многих недосчиталась тогда деревня.

Но что нам были немцы? Находились мы тогда в том детском возрасте, когда беды и заботы взрослых еще не стали нашими заботами — было нам в ту пору по пять—восемь лет. И мы бегали, играли в красных и немцев, сломя голову носились по задворкам, закоулкам деревни и часто, как щенки, вертелись возле Бруно, а он нас угощал то шоколадом, галетами, то играл нам что-то свое на губной гармошке...

Знать бы — не полезли бы мы тогда в эту легковую машину. Стояла она позади Ефимова двора — в доме у него расположился какой-то ихний штаб, и возле крыльца все торчал, прохаживался часовой. И обычно мы сторонились, обходили его опасливо далеко стороной — так угрюм и неприветлив он был. А тут словно что дергало и

дергало нас, все манило: залезть туда, посмотреть внутри, пипикнуть разок. И мы с Вовкой с огородов, пригибаясь до земли, ползком, ежеминутно замирая от страха и готовые повернуть, бежать назад, но не повернули, не убежали, подкралась к ней. Дверка машины легко открылась (или уже открыта была?), и мы с удовольствием, с замиранием плюхнулись на мягкие сиденья, попрыгав попами на них, потрогали за руль, повертев его туда-сюда, не решившись посигналить, боясь часового, и уже хотели вылезать, ползком уйти огородами, но в последний момент глаза мои наткнулись и словно прилипли к продолговато-круглому, как утиное яйцо, железному с насечками шариком с белой (или серой?) веревочкой, с фарфоровой, будто костяшка от счетов, кругляшкой на конце (теперь я знаю, что то была так называемая граната лимонка). Но откуда знать было это тогда? И руки потянулись к железному яйцу, к веревочке, к фарфоровой костяшке, и помню, как Вовка тоже потянулся к ней. «Дай и мне подержать», — хныкая, попросил он, хватаясь за веревочку, дергая ее к себе, и внутри железного кругляша вдруг что-то зашипело, чем-то резко запахло, и мы, испугавшись, мгновенно бросили его на дно машины и пустились бежать. Побежали же не в огороды, как хотели, а понесли нас ноги почему-то на улицу, в сторону часового. А он, должно быть, видел, как выскакивали из машины, должно быть, кричал что-то...

Плохо, смутно, как во сне, помню происшедшее потом. Слышу, как что-то грохнуло позади нас, и меня резко обдало жаром, горячим воздухом, подшвырнуло вверх, а под левую лопатку будто впилась и жалила оса. Вижу, как, споткнувшись, упал и остался почему-то лежать Вовка. Оглушенный, с помутившимся от страха, боли разумом, я и сам не знал, куда бегу, что делаю...

Это уж потом мать, другие рассказывали, что на взрыв выскочили они, немцы (и среди них был Бруно), и видели, как бежали мы, а часовой, вскинув автомат, стреляет в нас, что-то крича при этом.

«И быть тебе, как и Вовке, застреленным, — горестно плакала мать, — ежели б тут не выскочил этот Бруно,

что завсегда жалел, возился с вами, и из своего автомата застрелил часового. Был он тады чисто бешеный...»

Я не мог представить себе доброго, веселого с нами Бруно бешеным.

Говорили также, что Бруно тут же схватили свои же, отобрали автомат и увели куда-то. Мать тоже вызывали на допросы, все пытались узнать, кто научил взорвать машину — не партизаны ли? Спрашивали и меня об этом, когда оправился, пришел в себя от страха, от пустякового ранения осколком под левую лопатку. Потом узнали, что Бруно расстреляли за огородом возле Митрохина ложка.

И пока мы жили в деревне, до самого нашего отъезда в город, мать всегда по праздникам, а то и в будние дни ходила сначала на могилы деда, бабки, Вовки, а потом и на могилу его. Как-то и привезла из леса, посадила там деревца, приговаривая при этом: «Пусть растут, птички глядишь прилетят, попоют на ветках, все не так одиноко ему лежать. Один-то здесь, на чужой стороне, лежит...» И наказывала строго мне: «Помни завсегда, сынок, что жизнь тебе он спас. Сходи когда на могилу, поклонись...» Она и в городе, до самой смерти, благодарила в своих немудрящих молитвах Бруно, хотя и в Бога верила плохо, ругаясь иногда, в тяжкие минуты: «Глаза повыело что ль — не видишь, как мучаюсь одна с детьми».

И только спустя долгие годы я наконец-то смог выполнить наказ матери — поклониться могиле Бруно. И подумалось мне сейчас: вот лежит там глубоко в земле он, и тело его уж давно истлело, а я помню его высоким, рыжеватым, веселым с нами, с бритой гладкой головой, и как он угощает, кормит супом, а потом играет что-то печальное на губной гармошке. А закончив играть, вспоминает свою Германию, свой дом и Вальтера, Отто, Генриха и говорит, что мы похожи чем-то на них...

Солнце давным-давно зашло, скрылось за неведомый горизонт, но еще розовели высоко-высоко в светлом небе воздушно-легкие облака, а внизу, здесь, уже было серо-сумеречно, пахло вечерней сыростью — по ложбинкам, лугу стлался синевато-молочный туман, и немая, глу-

хая тишина стояла окрест, резко нарушаемая утробным и неприятным, слышным далеко, взбрыхом собак да сонным редким вскриком какой-то пичуги в ветвях сосны. Деревня уже спала...

Утром я проснулся и тотчас решил ехать. И несмотря на настойчивые, обиженные уговоры Марии погостить, побыть еще, был твердо непреклонным в своем решении. Вспомнив, что ограду на могиле Бруно надо подправить, подновить — кое-где отстали, прогнили тонкие узкие доски, покосились, осели ножки у скамеечки, насильно отдал, сунул деньги Марии.

— Передай Егору. Пусть подправит ограду, скамеечку.

А по дороге все думалось: какой печальной, полынно-горькой вышла поездка. Но и очищающей она была...

## Встреча

**В** городе было душно, пыльно. От домов, мягкого, как воск, асфальта несло жаром, пахло гудроном, сухими камнями — жара стояла редкая. И даже по ночам, когда темнота, будто на невидимых подпорках, повисла над городом, не наступало желанной прохлады. И только белесые тонкие стены пыли становились заметнее в снопах света от фонарей, от фар машин.

Берега мелкой городской речки постоянно, с утра до ночи были облеплены спело-желудевыми и белыми, еще не успевшими загореть, телами, и вода в речке была взмутнена, грязна и тепла, как парное молоко, — сидеть в ней можно было и час, и другой — бесконечно.

От пыли, духоты, резких и неприятных запахов в городе чувствовалась какая-то теснота, и все это давило на голову, сердце, и Мария Милакова не находила себе места, пропала целыми днями на речке. Но и здесь жара, какое-то липкое и неприятное ощущение пота преследовали ее.

«Черти полосатые, не дали путевку», — слабо думает она теперь, лежа под тентом на берегу, и представляет, как бы поехала к морю, гуляла по вечерам по красивой набережной, ходила бы на танцы...

Вот уже третий день, как она в отпуске, и третий день не дает ей покоя эта обидная мысль. На юг она ездила прошлым летом, и ей так понравилось там, что она твердо решила поехать к морю и в этом году.

«Поехала», — раздражается она, вспоминает мужа и раздражается еще больше.

Муж у нее работает контрольным мастером в цехе, он член завкома и мог бы помочь ей достать путевку, но, обыч-

но тихий и послушный, он наотрез отказался идти хлопотать за нее.

— Есть более нуждающиеся, больные, — сказал он, смущаясь своей смелости.

«Ну ладно... Я тебе припомню это», — грозитя она сейчас, тяжело приподнимает свое крупное, уже начавшее полнеть тело и лениво смотрит на речку, на ракиты, безжизненно повисшие над водой.

Красивое с оспинками лицо ее сонно, глаза полузакрыты, но видят все зорко, полная холеная рука тянется к бежевой сумочке и достает зеркальце — неподалеку расположились двое парней. Долго, пристально рассматривает она себя, красит губы. Ей еще нет и тридцати, но преждевременная полнота делает ее старше. Но и такая она привлекательна — мужчины часто посматривают на нее. Она знает это, и зеркальце, помаду носит с собой постоянно.

Накрасив губы, Мария медленно одевается и идет домой — скоро два, и пора обедать. Живут Милаковы на центральной улице в новом восьмизэтажном доме.

В гастрономе, куда она заходит по пути купить масла, молока, ее тихо окликают:

— Марусь!

Она удивленно оглядывается — давно уж никто не называл ее так просто, по-деревенски — и видит закутанную в платок, с корзинками через плечо тетку, в которой сначала смутно, но потом все яснее угадывает знакомое, когда-то близкое, а теперь почему-то стершееся в памяти лицо.

— Тетка Прасковья? — неуверенно, еще боясь ошибиться, спрашивает Мария.

— Она самая, узнала, — смеется Прасковья.

Прасковья по-детски довольна, что узнала, не отвернулась от нее Маруська Гаманова.

«Как же, цацей стала, зазналась — куда там, — говорили про нее в деревне. — К отцу-матери не ездит».

«Что не набрешут злые языки», — думает Прасковья, а сама жадно рассматривает Маруську Гаманову — теперешней фамилии Марии она не знает, — и с удовольстви-



ем отмечает, что Маруся раздобрела, стала еще красивее, представительнее и одета хорошо, по-модному, только вот коленки и плечи голые зря выставляет.

«Стало быть, в городе ей живется неплохо, — заключает Прасковья. — Зря, што ль, из деревни бегут...»

А Мария начинает расспрашивать о деревне, о знакомых — в деревне она не была уж лет семь.

— Как там батя с мамой? Как вы? — спрашивает она.

— А что им — живут, — неопределенно отвечает Прасковья. — За обновками вот приехала.

Мария и сама знает, что родные ее живы и здоровы, отец совсем недавно приезжал в гости, жил целую неделю — все никак не мог налюбоваться внучкой, звал ее в деревню, а потом вдруг затосковал, собрался и уехал.

— Не, в деревне лучше — воздух чище и спокойно, — сказал он на прощанье.

И все настойчиво приглашал их погостить, приехать в отпуск.

Они обещали приехать, но обещали как-то невнятно, неопределенно, не веря тому, что поедут в деревню...

Разговор с Прасковьей скоро иссякает, и вот они уже мнутя, не знают, о чем спросить друг друга.

— А вы бы в деревню в гости приезжали, — приглашает и Прасковья. — Ты-то ведь совсем забыла нас, — с укором говорит она, и Мария почему-то смущается, краснеет. — В деревне счас хорошо, речка рядом, лес — прямо как на курорте.

«Может, и в самом деле поехать в деревню, а?» — Мария от этой мысли веселеет.

— А что, тетка Прасковья, возьму вот и приеду, — решительно говорит она и уже верит, что так и будет, что прямо сейчас, не откладывая, она станет собираться в дорогу.

— Приезжай, приезжай вместе с мужем, отдохнете, — радуется Прасковья, перекладывает корзины с одного плеча на другое и направляется к выходу.

Мария тоже начинает торопиться. И покупает она уже не только масло, а конфеты, колбасу, батоны — родственников в деревне много.

Вечером она говорит мужу:

— Слышь, Костя, что я буду торчать в духоте? Махну-ка я с Лидочкой к своим в деревню.

— Дело, — быстро соглашается Костя. — Может, и я отпрошусь на недельку — и с вами?

Костя любит Марию, не может и дня жить без нее и часто боится, что, отпусти он Марию одну надолго, она загуляет, изменит ему.

На другой день Костя и в самом деле отпрашивается, и они укладывают чемоданы, удочки — Костя рыбак — и едут на автовокзал.

На автовокзале много народу, толчея, пахнет потными, пыльными мешками, и Марию вдруг пронзает непонятная ей боль, начинается лихорадить. Она удивляется: как все-таки сильна будто и забытая, заглохшая на время любовь к родным местам.

— Ты, Костя, если не будет билетов, иди прямо к дежурному, объясни, — волнуясь, говорит она.

Что объяснить, сказать сможет Костя дежурному, она и сама толком не знает. Но уехать во что бы то ни стало ей хочется сейчас, сегодня.

Идти к дежурному не приходится — билеты есть в кассах. Очереди почти никакой.

В автобусе они усаживаются на потертые, прохудившиеся и жесткие от этого сиденья и ждут не дождутся, когда тронется автобус. Ехать им далеко — восемьдесят километров.

## II

Часа через три, усталые и оглохшие от гудения мотора, дребезжания стекол, от духоты, но счастливые, что наконец-то доехали, они с удовольствием выходят из автобуса, вдыхают теплый, но кажущийся теперь прохладным, полевой ветерок, разминают затекшие ноги.

Автобус, лопоча шинами, медленно отдирая их от вязкого асфальта, трогается, и они остаются одни. И тут их изумляет необыкновенная полевая тишина, непривычные запахи полевых цветов, подорожника.

— Господи, до чего же красиво! А я, дурища, забыла все это, — ругает себя Мария.

Но больше всех изумлена, поражена открывшейся красотой Лида — до этого она никогда не была в деревне. Она сопит носом, глубоко и часто дышит и всю дорогу молчит.

Идти им до деревни, где живут родители Марии, километра полтора — сначала желто-сиреневым от цветов лугом, потом лесом.

— Может, разуемся? — предлагает Мария и поспешно сбрасывает белые босоножки.

Разуается и Лида. Ногам горячо, колко, и Лида вскрикивает, надевает снова туфельки. Робко, как-то неуверенно ступает и Мария. Отвыкла уже и она. А ведь когда-то бегала босая и по скошенному лугу, по жнивью — повсюду.

По дороге Мария не выдерживает, сбегает в густые высокие травы, на луг и рвет, рвет цветы и громко зовет Костю, Лиду тоже на луг. Беспричинная улыбка не сходит с ее раскрасневшегося лица, какая-то приятно-щемящая радость переполняет до краев, и счастливее ее сейчас нет никого на свете.

«Хорошо, что наконец-то вырвались из города», — радуется и Костя.

Ему приятно смотреть на Марию, приятно думать о ней, близкой встрече с тестем, о предстоящей рыбалке.

До самой деревни их сопровождает неумолчный стрекот кузнечиков, и Косте кажется, будто кто нарочно раскидал, рассыпал по лугу, по придорожной траве тысячи маленьких ручных часиков, которые торопят теперь, напоминают о времени. И стрекот этот им тоже приятен и мил.

В деревне поражает их еще большая тишина, во всем дремотность.

Как изменилась деревня! Мария почти не узнает ее — так поредела, поубавилась она.

— Кто в райцентр переехал, кто по другим городам разъехался, — поясняет мать Марии.

Мать уже стара, сгорблена от времени, но еще подвижна, суетлива, еще покрикивает на старика своего:

— Будя тебе трепать-то языком о смерти. Поживем ишо.

Из детей у нее остались только старший сын и дочь Мария, два младших подорвались на mine после войны,

84 и сейчас она все никак не может насмотреться на Марию, на внучку, не может оторвать взгляд от них.

Ласково причитая, будто и не отходя никуда, она успевает накрыть на стол, сбежать в погреб, на огород за луком.

Весть о приезде Гамановой Маруськи быстро разносится по деревне, и чуть погода прибегают соседи, тетка Прасковья, близкие и дальние родственники. И расспросам, поглядкам — какова стала Мария, каков муж ее — не предвидится конца.

Мария же счастлива — начисто забывает она уж о городе, о том, что хотела поехать на юг к морю.

Спать они идут в сад — в омшаник. Засыпая, Мария говорит Косте:

— Как хорошо, что мы приехали.

— Конечно, хорошо, — сонно бормочет Костя.

### III

На другое утро они встают бодрые и отдохнувшие. Их уже ждет мать с парным молоком в кружках.

— Выпейте, выпейте. Очень полезно для здоровья, — настойчиво уговаривает она.

Вышедший на крыльцо отец перебивает:

— Зятю похмелиться надо, а ты со своим молоком.

— Будя тебе, старый, — сердится она. — Ты не слушай его, Костенька.

Она протягивает литровую кружку с молоком, и, не переводя дыхания, чувствуя, что вот-вот задохнется, Костя пьет.

— Вот молодец, — радуется теща, когда он возвращает пустую кружку, и горделиво посматривает на старика.

Старик же, возвышаясь над крыльцом, — он высок и широк телом — Мария вся в него, — нетерпеливо посматривает на Костю, зовет в комнату закусить, выпить.

— А то закусь обидится и водка прокиснет, — гудит он из густой и всклокоченной бороды.

Не успевают они сесть за стол, как приходит Николай, дядя Марии, и упорно, долго зовет их в гости, к себе. Они пробуют отказаться, но куда там!

— На столе все уже, обидите, — скороговоркой говорит Николай.

— Надо идти, — поддерживает и отец Марии.

И они всей семьей идут на другой конец деревни.

Солнце уже успело нагреть землю, воздух, но от речки, леса, который начинается сразу за огородами, тянет прохладой, и жара притупляется, не так тяжела, как в городе.

На речке просторно, пустынно, и вода чиста, прозрачно-темна, а возле краев зелена от травы над берегами. Вечерами же красно-золотиста, волниста от рыбьих всплесков.

— Рыбы тут — жуть, наловишься вволю, — успокоил тесть Костю, когда тот в первый же вечер хотел бежать за удочками, увидев, как гулко, будто кто выстрелил, ударила возле самого берега большая рыба.

— Щука, ей-богу щука, — зашелся от волнения Костя.

— Да, рыба у нас водится, — подтверждает и Николай, когда они снова начинают говорить по дороге, где лучше жить — в деревне или в городе, и тесть нахваливает деревенскую природу, и что у них рядом лес, ягоды, и рыбки можно поймать свежей, не то что в городе продают мороженую или соленую, и вкуса в ней уже никакого.

— Рыбки мы с тобой наловимся, — Николай весело смотрит на Костю. — Вот возьму бредень у соседа и вечером закинем.

— Как бреднем? — не верит, смущается Костя. — Это ведь браконьерство.

— Ну, браконьерство, — возражает Николай. — Не обедняет речка, если мы вытащим десятка три лещей.

— И лещи есть? — расширяя глаза, спрашивает Костя. — Сегодня же попробую, — решительно говорит он и горячо доказывает, что бреднем ловить неинтересно, а с удочками сиди выжидай, а как заклевало — сумей подсечь и вытащить. — В этом-то все и искусство — суметь вытащить, — оживленно, радостно говорит он.

И вечером, не слушая никого, собирает удочки, копает червей, варит какое-то известное только ему тесто и уходит на речку.

Пропадает он там целыми днями.

Мария же с Лидой почти не выходят из лесу — собирают ягоды, бесцельно лежат под кустами, губы их, языки становятся багрово-синими, и Марии уже не требуется губная помада.

IV

Неделя пролетела быстро, незаметно, и Косте настала пора уезжать в город на работу. Под вечер собрались гости; были они уже слегка пьяны, шумны — в деревне отмечали престольный праздник. У соседей тоже гуляли: слышался топот ног, вяканье гармошки.

— Ну и дают, — с завистью проговорил Николай. — Может, и нам сбегать за гармонистом? Без гармошки какое веселье.

— А кого пригласишь? Все гуляют, — возразил отец Марии.

— Покличу Алешку Смуглого. Он пойдет, — предложил Николай и заторопился, тотчас убежал за Смуглым.

— Алешка, может, и пойдет, — согласился и отец Марии. А Мария, услышав про Алешку, как-то обмякла, присела на лавку. Сердце зашлось, забилося гулко, ноги сделались ватными. И Мария никак не могла подняться, оторваться от лавки.

— Как, Алешка здесь, в деревне? — тихо спросила она мать.

— В деревне. Трактористом работает, — ответила мать.

Не ждала, не предполагала Мария, что увидит Алешку. В последние годы она почти забыла о нем, хоть иногда и хотелось ей издали, одним глазком, посмотреть на него, мучило простое женское любопытство: каким он стал сам, какова его жена.

— Жену, должно быть, взял из своей деревни? — слабо, пересиливая волнение, улыбнулась Мария.

— Кто — Алешка-то? — переспросила мать. — А он ишо ходит холостой. Никак не подберет невесту.

Боже мой, как она любила Алешку! Она представила его, высокого, смуглого — лучше не было парня в деревне. Вспомнила, как играл Алешка на гармошке, а она стояла возле него и говорила ему, просила:

— Алеша, я не хочу, чтобы ты играл другим.

И Алешка послушно застегивал гармонь, и они шли домой, к ним в сад, и сидели там, целовались, целовались до утра...

Как давно это было! И неужто все это было?

Перед уходом в армию Алешка предлагал пожениться, а она не решилась, сказала:

— Буду ждать тебя, Алешенька. Вернешься — поженимся.

А потом поехала в город поступать учиться и... не поступила, срезалась на немецком и осталась на стройке — стыдно было возвращаться в деревню, слышать пересуды подруг. Алешка же писал, чтобы не дурила, требовал возвратиться домой, грозился, что не возьмет ее, городскую. А она взяла и вышла замуж назло Алешке...

Как было это давно! Как убивалась она в первые дни, проклиная себя, все на свете! Но не вернуть уж было Алешку...

Николай обернулся скоро.

— Сейчас придет, — весело объявил он.

Через минуту явился и Алешка. Был он тоже слегка пьян, возбужденно-весел.

«И чуб не поредел, колечками падает на лоб», — отметила Мария. Она жадно и внимательно рассматривала Алексея, но все никак не могла определить, изменился он или нет, — все почему-то мешал пышный вьющийся чуб.

Алешка, почувствовав взгляд Марии, забеспокоился, покраснел до ушей.

— Здравствуйте, с праздничком вас, — громко от смущения сказал он.

— Здравствуйте, здрасте, — шумно ответили гости. — Давай сыграй барыню.

— Погоди, — остановил отец Марии. — Давай, Алексей, штрафную, а тада играй.

Алешка начал отнекиваться, говорить, что не пойдет она и много это — полный стакан, но отец Марии, все собравшиеся настаивали, громко кричали, чтобы он выпил до дна. И Алешка, бросив взгляд на Марию, покраснев еще больше, быстро, одним махом, выпил водку, при-

сел на табуретку и начал перебирать лады гармошки, к чему-то прислушиваться.

«Ловит звук», — догадалась Мария.

Алешка всегда говорил, что нужно поймать звук и тогда играй сколько хочешь... Как он играл!.. На все свадьбы приглашали только его, и никого другого.

Алешка же все никак не мог поймать звук, наладить гармошку. То ли от волнения, то ли от чего другого, но пальцы дрожали, не слушались его. Но вот он наконец и заиграл.

И какое-то первобытное, древнее чувство проснулось у всех при звуках этих. Ноги сами начали подрагивать, притопывать, и через минуту уже мать Марии пошла по кругу, задорно пропела:

*Не хотели мы плясать,  
Все помалкивали.  
Чертеняточки под пяточки  
Подталкивали.*

Алешка играл подолгу, и, наплясавшись, устав, все садились вновь за стол, пили-ели, потом Алешка опять играл барыню, старинные песни, а Марии все хотелось попросить, чтобы сыграл он цыганочку, которую плясала она когда-то лучше всех своих подруг.

— Рыбак рыбака видит издалека, — говорили о них в деревне, когда они сходились на матане и Алешка играл, а она плясала, а потом Алешка передавал кому-нибудь гармошку, и они плясали вместе.

Но сейчас она все никак не могла подойти к Алешке, не решалась попросить его. А Алешка, осмелев от выпитой водки, долгого присутствия в доме, стал все чаще и чаще поглядывать на нее и, будто угадав ее желание, заиграл цыганочку.

Никогда она еще не плясала так, никогда она так не пела!

*Цыганочка черная,  
Наверно, ты ученая...  
Почему же ты узнала,  
Что я разлученая? —*



звучно, матово-нежно выговаривала она. И столько было чего-то непонятного, но притягательного и томительно-сладкого и в ее голосе, и в ее пляске, что все собравшиеся замолчали, притихли, и только отец Марии восхищенно выкрикивал:

— Ну и дает! Ты погляди, мать, что выделяет твоя дочь!

А Мария несла свое крупное тело то легко и воздушно, то вдруг замирала на месте, будто вспоминала что, и начинала дробить ногами, приглашать себе парника. Но никто не решался выйти в круг, составить ей пару. И она билась одна, как подраненная птица, отставшая от стаи, от своего дружка.

«Ну и ханурики, никто не может играть, — зло думал Алешка. — Ну и народ...»

Ему больше всего хотелось сейчас выйти в круг и сплестись с Марией, хоть минуту побыть возле нее. Хотелось этого и Марии.

— Кто сыграет, а? — жалко спросил он вслух, еще надеясь на что-то, страстно желая, чтобы совершилось чудо.

Но Алешка и сам знал, что просьба его напрасна, невыполнима, и он сразу как-то сник, потускнел.

— На сегодня хватит, — объявил он вдруг. И стал объяснять, что его ждут в другом месте, стал приглашать всех прийти вечером на матаню — там он поиграет вволю, сколько хочешь — и, выбрав удобную минуту, подошел к Марии.

— Приходи сегодня на матаню, а? — тихо попросил он. — Спляшем... Придешь?

— Приду, — внезапно для себя согласилась Мария. «Что я делаю», — ужаснулась она, когда ушел Алешка, и ужас этот ей был приятен и почему-то желанен.

Но вечером, выйдя на улицу, не успев отойти и десяти шагов, она вдруг повернула назад и быстро, почти бегом отправилась в омшаник, где уже спал Костя, — завтра ему нужно было рано вставать, спешить на автобус.

— Ты что, не пошла на матаню? — сонно спросил Костя, отодвигаясь, уступая ей место.

— Спи, спи, — ответила Мария.

Тело колотилось мелкой дрожью, странные и тревожные мысли не покидали ее.

Возле дома прошел Алешка и высоко и призывно-грустно пропел:

*Ночка темная — боюся,  
Проводи меня, Маруся.*

Мария приподнялась, вслушиваясь в слова частушки. «Завтра же уеду вместе с Костей», — решила она. Проснулась Мария рано, когда окна, как синяки, только-только обозначились на побеленной стене омшаника и сонно было еще кругом. Она сразу же вспомнила вчерашний вечер, Алешку и нервно подумала: «Не случилось бы греха...» И внезапно для всех объявила за завтраком, что уезжает в город вместе с Костей, невнятно пояснила, что ждут ее там неотложные дела.

Костя удивленно вскинул брови, хотел спросить: «Какие такие дела?», но его опередили мать и отец Марии.

— Как уезжаешь? Почему? — не поверили они. И начали отговаривать, упрашивали погостить, побыть с ними хотя бы еще недельку...

Но Мария осталась глуха к их просьбам.

— Собирайся, а то опоздаем, — коротко приказала она Косте и стала поспешно укладывать чемодан, одевать Лиду.

На выходе из деревни она вдруг начала замедлять шаг, часто оглядываться назад, смотреть по сторонам. Ей почему-то хотелось в последний раз увидеть Алешку.

Но пустынно, тихо было кругом. И только чибис беспокойно метался над лугом, гнусил до самой остановки: «Чьи вы, чьи вы?»

*Соломинский кордон, 1966 г.*

## НОВЫЙ ДОМ

Июньский день бесконечен. И даже пастуху Илье Разоренову сегодня он кажется длинным. Он ждет не дождется вечера, завтрашнего утра. Утром он пойдет в правление колхоза к председателю просить денег, чтобы достроить новую избу. Старая уже стала ветха, покосилась на один бок, матицы сгнили, провисли — вот-вот завалются. И теперь Илья терзается мыслями: дадут ли денег? Он уже взял триста рублей, но что триста, когда шабашники наглы, дерут дорого, а чуть что — отказываются, насмешливо говорят:

— А ты найди дешевле.

Знают, что плотников совсем мало, и заняты они по горло на строительстве ферм, токов, и без них никак не обойтись.

Знает и Илья, что если он не успеет сделать дом до осени, зимовать ему опять в тесноте, холоде, дети и он сам будут бесконечно хворать, будут спать вместе с ягнятами, теленком. Семья у него большая — сам — шест, взрослых же всего он и жена, живут бедно — все вложили, все потратили на новую избу.

Строится Илья уже третий год, и третий год подряд жена помогает плотникам, достает доски, лес — все строительные материалы, а достать все это нелегко, и крутится она как белка в колесе. И Илья страдает, мучается от этого невероятно, особенно, когда слышит, как говорят:

— И что ты, Марья, такую муку на себя приняла. Не могла штоль мужика поздоровее найти?

И радуется Илья, слыша в ответ:

— А мне и такой хорош.

Илья болен с самой войны. Женат он второй раз — первая жена бросила его через полгода — как только увидела, что стал он мало пригоден для хозяйства: ни принести, ни подать тяжелого.

С Марьей живут они лет десять и, несмотря на бабьи пересуды, живут ладно и дружно. Дети их еще совсем малы — старшему Николке девять лет, — и помощники они никакие. Илья спит и видит, когда дети подрастут и станут помогать матери, ему, станут работать на тракторах, на фермах — будут пахать землю, сеять, доить коров — делать извечную и такую необходимую крестьянскую работу, без которой Илья Разоренов не мыслит и жизни. Город представляется ему как-то смутно и как-то слегка чужд, непонятен ему: он искренне удивляется и негодует, когда видит, как молодые все больше уходят из деревни в город, и деревня с каждым годом пустеет, обезлюдевает, видит, как простаивает техника. «Раньше в драку лезли, чтобы попасть на комбайн, — думает он, — а теперь ищут, кого бы посадить на новый. Дела».

— А кто же кормить будет этих городских, ежели все разбегаться зачнут? — часто спрашивает Илья.

Не понимает и не хочет он понимать жизни без земли, без деревни. Земля для него — что-то вечное, обязательное... Двадцать пять лет он работает пастухом, но еще раньше от отца, дедов, бабок впитал — земля поит и кормит людей, все живое...

«Самое удобное время построить хату», — думает он сейчас и привычно и зорко смотрит на стадо, по сторонам, замечает, как Лысуха опять норовит сбежать в лес, к молодой темно-зеленой ржи, и громко, будто стреляет из ружья, хлопает длинным глянцевитым кнутом. Лысуха нехотя возвращается назад. Возвращаются мысли и о доме, и Илья который раз мысленно видит уже, как растет печка, настилают полы, вставляют рамы, и он перебирается в просторную теплую избу и живет — кум королю...

Но кирпича, извести, материала на рамы еще нет — нужно доставать, нужны деньги, и хорошо бы сделать это теперь: машины пока мало заняты на работах — можно

привезти, а начнутся покос, уборка хлебов и тогда хана — машины не выпросишь...

О новом доме Илья мечтает давно, с самой войны. Еще на фронте воображал он не раз, как вернется домой молодой, здоровый, крепкий, как пойдет работать не пастухом, пастухи зарабатывают мало — сезонная работа, а трактористом; проработает год-другой и построит пятистенный с резными голубыми наличниками, с крыльцом и шиферной крышей дом. Не предполагал он, что вернется больным, что увидит жуткую картину — так разорены и бедны были деревни, такое запустение было кругом.

И будто сейчас он видит, представляет худых коров, запряженных в телеги, в плуги — лошадей совсем не осталось, еще более худых и изношенных от голода и горя баб — мужики не вернулись, почти все погибли, и как они идут за плугом, собирают по огородам, в полях промерзлую прошлогоднюю картошку и перетирают, пекут из нее тошнотики, от которых долго потом болит живот. А по вечерам они робко угощают их, пастухов, последней, пополам с лебедой ржаной лепешкой и робко просят получше, повнимательней присматривать за их коровой — без нее они погибнут вовсе.

«Ох и живуч же крестьянин, — удивлялся тогда, удивляется и теперь Илья. — Кажись, совсем хана, каюк... Глядишь, выцарапывается прямо с того свету».

Выцарапываются... А он до сих пор оправиться не может, хату никак не поставит... Илья резко, с оттяжкой стреляет кнутом, смотрит на бледно-голубое от жары небо, на солнце: коров уж пора гнать на стойло, пора доить, и он негромко покрикивает, похлопывает длинным отполированным до блеска кнутом, поворачивает коров обратно. Лошадь тоже нетерпеливо перебирает ногами, косит большим лиловым глазом на Илью, будто хочет сказать, что и ей пора попить, походить без седла, без уздечки — устала она больше Илья.

Илья ласково, почти нежно треплет Звездочета по крутой гладкой шее, ласково бормочет: «Ну, ну, Звездочет, сейчас походишь, попьешь». Густо-коричневое, как шоколад, лицо Ильи как-то нежнеет, озаряется улыбкой — ло-

шадь он любит сильно, преданно — вот уже пятый год он не может быстро ходить, задыхается, — и пятый год подряд он не слезит с седла; Звездочет стал его верным помощником.

— Без него я загиб бы, — постоянно говорит Илья.

Стойло недалеко, возле речки, и коровы, покачивая упругим выменем, не останавливаясь уже, спешат к прохладной воде. Соски их так налиты, так туги — молоко просачивается, побрызгивает на ходу, и сильно и хорошо начинает пахнуть молоком, сыростью от реки, осокой. А немного погода приходят доярки, усаживаются на скамеечки, и светло-розовое молоко цыркает в подойники, наполняет их, и густой запах молока, вымени разливается далеко вокруг, забивает все другие запахи.

Илья разнуздывает лошадь, пускает ее поближе к лесу — там гуще и сочнее трава, неторопливо, переваливаясь, как утка, идет к березовой опушке. Опушка совсем рядом с речкой, и отсюда хорошо видно коров, доярок. Он долго выбирает место потенистей, — опушка вся конопата от пятен солнца, — расстилает брезентовый выцветший плащ, который берет с собой постоянно, — летом часто бывают сильные внезапные грозовые ливни, — ложится на него, замирает. Скоро придет Марья, принесет обед.

Марья появляется тихо и внезапно, подкрадывается сзади и громко ухает, пугает его. Илья делает вид, что он и взаправду испугался, и они громко и счастливо смеются. Доярки оглядываются и постоянно говорят одно и то же:

— Ну прямо малые дети.

А Марья достает чистую скатерть, расстилает ее перед Илей и выкладывает хлеб, яйца, зеленый лук, наливает молоко. Илья снимает шапку: как черна, как загорела у него кожа на лице, шее и как неестественно бела полоска лба по сравнению с лицом. Ест он не спеша, старательно, а Марья, сдвинув белые брови, устало-ласково смотрит на Илью. Лицо ее бело, как сметана, узкие ноздри тонкого носа подергиваются, подрагивают, пухлые губы вишневы.

— И не стареет, — удивляются бабы. — Родила четырех и хоть бы хны...

Илья же слегка сутуловат, слегка сед, хоть и старше он Марьи всего на три года. Лицо его смугло, волосы на голове смоляны, глаза припухлы и раскосы, — говорят, что прапрадеды его были монголы (на орловской земле много встречается людей с монгольскими чертами лица). Илья и сам любит повторять, что любовь к скотине, невероятное, почти колдовское знание их повадок у него от монголов, ведь монголы — степные люди...

Говорит он всегда мало, сказывается профессия пастуха, не пьет и не курит. И как он, больной и брошенный, сошелся с красавицей Марьей — для всех остается загадкой. Но когда любовь была объяснима?

Поев и попив молока, Илья бережно собирает остатки, заворачивает их в скатерть и спрашивает:

— Ну, что слышно на деревне, как дома?

Марья уже печальна, лицо ее строго и пасмурно:

— Бабы все ругаются — никак паи на свеклу не разделят. Слышь, Илюша, бухгалтершу видела, говорит: не дадут нам денег, пока не возвернем долг.

— Как не дадут? Буровишь лишнее.

Илья испуган, подавлен этой вестью, жутко подумать, что и в самом деле может случиться подобное, но вида не показывает:

— Как не дадут? — повторяет он. — Сама знаешь: нанимался — просил оказать помощь в строительстве. А то бы стал я им стеречь.

Илья верит и не верит Марье, вспоминает свой разговор у правления с мужиками, и как он громко, чтобы слышал недавно выбранный председатель, сказал:

— Колхозные коровы — прямо козы, надоят от них шесть литров молока — и хватит. Работнички, мать их за ногу.

— А ты, Разоренов, возмись пасти колхозное стадо. Докажи, на что способен, — предложил председатель.

— Думаешь, испугался, — Илья, усмехаясь, передернул плечами. — Хочешь по пятнадцать литров давать будут?

— Уж и по пятнадцать? — засомневался, не поверил Аникеев.

— А вот посмотришь... Сколько платить будешь? Шестьсот рублей сразу дашь — хату новую достроить. Потом расплачусь. Ну?

Председатель согласился, но сразу шестьсот рублей не дал — дал триста, остальные обещал дать потом, позже — как будут деньги в кассе. Колхоз их был беден, только-только становился на ноги...

— Может, бухгалтерша так, чтобы язык почесать... — предполагает Марья.

— А ты думаешь, — успокаивает себя и ее Илья, но где-то внутри сосет, не дает покоя мысль: а вдруг так, вдруг правда.

— Ты иди, иди домой, — говорит он Марье. — Мне пора гнать стадо. Вишь, одуванчики гаснуть начали.

Он смотрит на солнце: оно еще высоко, еще знойно-ярко, но поляна уже не конопата от пятен, уже перевалило солнце через вершину, и лучи его падают не отвесно, косо. Где-то неподалеку стонет, воркует сизая горлица, и стон этот давит, камнем ложится на сердце.

«Ах ты, сизый голубочек...», — почему-то вспоминает он слова старинной песни, которую любила петь его мать, сердито распутывает Звездочета, покрикивает на него, и Звездочет косится, не понимает, что случилось с Ильей, — так редко бывает он сердит.

Давно увезли молоко, давно ушли доярки, но запах молока, вымени еще стоит в неподвижно-стеклянном воздухе. Но сильнее, резче пахнет сырой осокой, разогретой травой, крапивой.

Илья с минуту раздумывает, решает, куда гнать стадо — к Лисьим Ямкам или в Покой, а решив гнать в Покой, начинает покрикивать, резко стрелять кнутом, выгонять коров. В Покой гоняет он стадо редко, бережет это место.

— Вытопчут и хана, больше потом не погонишь, — объясняет он Марье.

Да и боится он часто гонять туда, боится, что когда-нибудь не выдержит и в какой-то, непонятной даже ему, дикой, но такой трепетно-сладостной, такой неодолимо страшной ярости сорвется он с высокого холма и будет скакать, скакать и в дикой скачке загубит и себя и Звздо-



чета. Думается ему почему-то, что много, много лет назад, в далекой древности, на высоком холму схватились в яростной рукопашной схватке сторожевой русский пост и монгольский отряд. И бились они день, и второй, и третий, дрались не на жизнь, а на смерть. Но мало было русичей, иссякли их силы, и только дочь Иванова, красавица Люба осталась в живых. Полонил ее храбрый роскошный монгол, взял себе в жены. А мертвых воинов похоронили в ложбине возле холма, и выросли с трех сторон — с запада, юга и востока — подковой могучие синие леса. И стало место это называться Покоем. А потом здесь опять была кровавая сеча монголов и русских, опять они дрались и день, и два, и три. И погибли монголы все, как один, и только красавица Люба с сыном остались в живых. И пошел от нее род Разореновых.

И долго и неподвижно стоит Илья каждый раз на вершине холма. И кажется, что вот-вот он вместе с конем оторвется от земли и поплывет, полетит в струистой голубизне воздуха над синими лесами, над черно-фиолетовыми пашнями, над ярко-пестрыми зелеными лугами. И чудится уже ему, что вот-вот разверзится земля и поднимутся предки — бородатые русичи и раскосые юркие монголы — и закипит опять сеча, кровавая, жуткая, и вместе со всеми будет драться он, будет бить монголов за мать, за землю русскую. И он гикает, бьет Звездочета кнутом и летит, летит вниз, за лес. Кровь у него все-таки дикая, монгольская.

Но все тихо, все пустынно кругом. Он останавливает коня круто, сразу, так, что чуть не летит через голову, а Звездочет, разгоряченный, взбудораженный, трубно ржет, и эхо глухо подхватывает ржание, уносит в зыбкое марево, к горизонту.

«Но, но, балуй», — прикрикивает Илья и возвращает-ся в лощину. Коровы смачно жуют сочную траву, вымя их опять растут, наполняются, и скоро опять будет пахнуть парным молоком. Скоро уж домой. Где-то возле леса скрипит коростель, приятно и тонко — «фиу-лиу» — посвистывает иволга, Илья слезает с лошади, ложится на спину, подкладывает под голову кулаки и долго-долго, до тем-

ноты, до огненной ряби в глазах, смотрит в высокое бледно-голубое небо, не думая и не тревожась ни о чем.

## II

Ночью Илья спит плохо, беспрестанно ворочается, сны ему снятся странные, нехорошие: будто горит его новая хата и никто никак не может потушить пожар, льют воду, а она оказывается керосином, и хата горит все ярче, все сильнее, а бухгалтерша радостно подпрыгивает и так тоненько-тоненько, как иволга, посвистывает.

— Так и надо, так и надо...

Илья от страха заходится, хочет закричать, но что-то душит его, давит, и крика не получается. Проснувшись, бессмысленно смотрит он по сторонам, все никак не может сообразить, где он, что с ним, а сообразив, глубоко облегченно вздыхает. «Ну и приснится такая чертовщина», — радостно думает он, но какая-то смутная, неясная тревога долго еще не дает уснуть ему. Во дворе темно, слабо синеют низкие маленькие окна, в хате душно, земляно-затхло... «До солнца еще часа два», — определяет Илья.

Просыпается он окончательно рано утром. Марья уже на ногах: гремит ухватами, заслонкой — варит завтрак. Илья долго силится вспомнить ночные сны, но как ни напрягается — вспомнить не может. Болит сердце, что-то еще внутри, и поднимается он тяжело, трудно. На улице чисто, тепло, сизо-розовы дымы над хатами, высверкивает, отчетливо блестит крупная роса. Илья берет уздечку, дает последние наставления Марье: как и где лучше стеречь скотину и когда нужно пригнать на стойло.

— И Колю возьми с собой, одна не управишься, — сипло говорит он.

— Ты бы, Илюша, чего перекусил, поел, — волнуясь, говорит Марья.

— Ладно, ладно, потом перекушу. Счас чего-то не хочется, — он отправляется на конюшню, седлает Звездочета и едет в правление.

Правление колхоза — в соседней деревне, километра за два, и Илья едет шагом, не спеша. Еще рано.

Председателя нет.

— Скоро придет, — говорит сторож, и Илья, привязав Звездочета, садится на завалинку, ждет.

Председатель появляется минут через сорок и, проходя мимо, спрашивает:

— Ты что, Разоренов, ко мне? Проходи, — приглашает он.

Они заходят в тесный, плохо обставленный председательский кабинет, Аникеев садится за стол, достает авто ручку и что-то быстро, быстро пишет. Илья переминается с ноги на ногу и все никак не решается начать разговор, попросить денег.

— Ты садись, садись, Разоренов, — приглашает Аникеев и спрашивает: — Ну как дела, как пасешь?

— Ничего, помаленьку, — отвечает Илья. — Доярки уже по шестнадцать литров надаивают.

— Да ну? — оживляется председатель. — Не врешь?

— Зачем врать, — обижается Илья, а председатель перебивает его:

— Ты извини, Разоренов. Понимаешь, заматался я совсем. Все собираюсь к вам на ферму и никак не доберусь, все времени не хватает. Значит, говоришь, по шестнадцать? Молодец, Разоренов, ей-богу молодец... Вот мы к осени школу передового опыта организуем — поделишься опытом, расскажешь другим...

Илья же все ждет, выбирает удобную минуту, чтобы сказать, напомнить о договоре, о деньгах...

— Школу это, конечно, оно хорошо, — мямлит он, — это, конечно, мы с удовольствием. Только вот деньжонок нужно — хату достроить, — наконец решается, говорит он.

Но Аникеев будто и не слышит слов Ильи, что-то вспоминает, и глаза его на миг останавливаются на лице Ильи, потом убегают в сторону. И Илья вдруг догадывается, что председатель хорошо знает обо всех делах, и сейчас он спрашивает так, ради видимости.

«Не даст денег», — холодея думает Илья и напоминает:

— Так как насчет остальных деньжонок, что обещали?

— Ах, да, за нами должок, — будто сейчас вспоминает Аникеев, лицо его напрягается, каменеет. — Помню, помню... Понимаешь, Разоренов, денег сейчас нет. Понима-

100 ешь, ни копейки, — вдруг резко говорит он и весь его вид, лицо показывают: на, бей меня, делай что хочешь, но денег все равно не будет.

— Как же так, а договор? — еще тихо, сдерживая дрожь, себя, спрашивает Илья.

Тело его постепенно наливается какой-то тяжестью, пронзительной горечью, в голове легко, туманно — и через минуту уже, не помня себя, злобно кричит:

— Где же я зимой жить буду? В этой развалюхе, которая того гляди — придавит. А? Небось, себе отгрохал целый дворец. А ты бы в моей пожил, понюхал вони.

— Ну, ты успокойся, Разоренов, не шуми, — невнятно, растерянно бормочет Аникеев.

Он видел хату Разоренова и понимает, что жить в ней невозможно и не сегодня-завтра она может рухнуть, завалиться.

— Осенью мы обязательно дадим денег, поможем.

Илья, как ужаленный, подскакивает от этих слов.

— Осенью? А на хрена ты мне сдался осенью! — бешено орет он. — Ты мне сейчас окажи помощь, когда машины не заняты и материалы можно достать.

Раскосые глаза его злобно сверкают, руки дрожат, ноздри тонкого носа широко раздуты, и ругается он матом, орет долго.

— Ты, Разоренов, не ори, нахрапом не возьмешь, не на того напал, понял? Сказал нету денег — и баста. Кончен разговор.

— Значит, не дашь? — сипит Илья. — Значит, от ворот поворот. Хорошо... — грозится он. — Думаешь, обратал и кончено, думаешь, теперь Разоренову некуда деваться, хана. Найдем удавку и на твою шею.

Последние слова он говорит уже в дверях, быстро выскакивает на улицу, отвязывает Звездочета и несется за деревню, в поле, но, отъехав с полкилометра, что-то вспоминает и рысью возвращается назад. Но в правлении уже Аникеева нет.

— Только что уехал, — сообщает сторож.

«Ага, сбежал, мать его за ногу, — злорадно думает Илья. — Ну ничего. Завтра скажу, чтоб нанимал другого.

А то все одна честь, всех под одну гребенку: и хороших, и плохих. Пусть другие погорбят без выходных...»

Илья знает, что пастухом вряд ли кто согласится пойти: работа эта тяжелая, мытарная, однообразная. Да и пастухов хороших нет, и в других бригадах все по-прежнему плохо пасут, по-прежнему коровы, как и козы, дают по шесть-семь литров молока. А его с руками и ногами оторвут везде — давно уж упрашивают снова стеречь деревенское стадо.

И думать так ему хорошо, приятно. Приятно сознавать, что без него не обойдутся в колхозе. Но вспомнив о хате, о ребятишках, о своем разговоре с председателем, вообразив его от начала и до конца, он обозляется вновь, окончательно решает уйти из колхозных пастухов. И долго еще что-то бурчит, бормочет про себя.

Перед поселком он немного успокаивается, вспоминает, что коров пасет Марья и Николка, и начинает волноваться: так ли они пасут и все ли в порядке. Ему уж хочется поскорей к стаду, в Покой.

Вечером он сидит грустный на завалинке, смотрит на сруб и мучительно размышляет — где достать денег, у кого занять... Он так погружается в эти горько-мучительные думы, что не слышит, как подходит соседка Варвариха, толстая, крепкая, как дуб, баба.

— Здравсте, Илья, — притворно-сладко выговаривает она и с ходу начинает жаловаться, ругать колхозную жизнь, хвалить город и как там культурно, чисто живут и хорошо зарабатывают.

— Не то, что тут — работаешь с темна до темна, а зарабатываешь — шиш с маслом.

Варвариха живет одна, в большом просторном доме, оба сына ее уехали в город, женились там, часто приезжают в деревню, а Варвариха спит и видит, когда кто-нибудь из сыновей заберет ее к себе.

Ругает, жалуется на колхозную жизнь она постоянно, и Илья, не дослушав ее, перебивает:

— Будя, Варвара, языком-то чесать. Забыла что ль, как по двести грамм на трудодень давали. А счас совсем иное дело, счас жить можно.

— Тьфу ты, блаженный, — плюется Варвариха. — Хаты вон не можешь нажать от такой жизни, а твердишь все одно. У меня вон получше, а и то думаю уйти насовсем в город.

— И напрасно ты, Варвариха, наостряешься в город, — спокойно говорит Илья. — Кто ж тебя хлебушком-то кормить будет? Аль булки в городе сами растут?

— Тьфу ты, блаженный. И как тебя Марья терпит, — сердито ругается Варвариха и, обиженная, уходит, а Илья опять начинает мучительно думать: где бы разжиться денег, у кого занять...

*д. Елизаветинка, 1965 г.*

## Под одной крышей

**-Г**осподи, пошли ты нам дождичка. Сохнет все, — торопливо молится Настя, стоя в углу перед иконами. Подвижное, морщинистое лицо ее замерло, тонкие губы скорбно сжаты. — Царица небесная, смилуйся над нами, грешными, — горячо шепчет она, и голос ее постепенно затухает, и не разобрать уже слов молитвы.

Я смотрю в темный угол и никак не пойму, какого Бога просит Настя, — так там много разных икон, любовно увитых чистыми вышитыми полотенцами. Сама Настя не очень набожна, молится изредка. Всю иконную чистоту и порядок в Божьем углу блюдет свекровь Насти — Наталья, суровая, похожая на отшельницу старуха.

Лицо Натальи высохло и потемнело от времени, выцвели когда-то синие глаза, ослабла память, но руки и ноги ее двигаются еще проворно, и всю работу по дому делает она: кормит поросенка, медленно и тяжело носит воду, каждый день моет и так уже выскобленные до желтизны деревянные полы, варит обед... Она не помнит ни дня, ни года своего рождения, но смутно припоминает, что ей уже девяносто с гаком. На настойчивые расспросы, сколько же точно ей лет, она укоризненно качает головой и отвечает одно и то же:

— Э, батюшка, и кто же считал энти годы. Это вы, молодые, все боитесь смерти.

Глух и слаб ее древний голос. И остается только гадать: сколько же лет в этом загадочном гаке — три, пять, а, может быть, и все девять... Наталья родилась и состарилась во Льгове. Она многое из жизни прежнего Льгова уже забыла, но многое и помнит. Когда начинаешь рас-

104    сказывать ей о том, что во Льгов приезжал охотиться Тургенев, что об этом он написал рассказ, она только удивленно качает высохшей головой — «Ишь ты...» — и с каким-то непонятным особым почтением смотрит на книги, которые показываю я ей. Читать и писать она не умеет, но хорошо помнит и мельницу, и одноглавую церковь, и широкий пруд.

— И-и, батюшка, сколько было уток, — протяжно выговаривает она. — Мой свекор, дай Бог царство ему небесное, сказывал, что и он помогал охотиться барину, как его... энтому Тургеневу. — Старуха замолкает, что-то с усилием припоминает, но мысли ее внезапно перебивает хриплый голос в динамике, что висит на стене у окна:

— Первое звено пойдет не на подвоз навоза, как было объявлено вчера, а на резку картошки. Прошу не запаздывать.

Настя поспешно заканчивает молитву и торопливо шарит ухватом в печке, достает поджаристую мятую картошку, кулеш и подает все это на стол. Вымыв руки, Наталья и Настя усаживаются напротив друг друга и начинают завтракать. Мне нравится смотреть, как они не спеша едят, строго соблюдая очередность, и каждый раз резко и гордо кладут ложку на стол, как бы спрашивая: «Я отхлебнула. Теперь ты черпай...»

Позавтракав, Настя спешит на резку картошки, а старуха, перекрестившись и что-то прошептав про себя, убирает со стола.

День только начался, но уже жарко. Сильный теплый ветер поднимает и несет с высохшей пахоты, дороги тучу пыли, и, пепельно-серая, она висит над деревней. Нужен дождь. Но на бледном небе ни облачка...

## II

Настя и Наталья живут на краю деревни, возле неширокой и неглубокой болотной речонки Вытебети. Живут они под одной крышей, но в разных избах, разделенных широкими деревянными сенцами. И только на зиму Наталья переходит в избу Насти — не под силу топить им две большие русские печи.



В избах пусто и гулко, на стенах висит множество фотографий в черных и красных рамках, однообразно и до раздражения громко стучат такие же древние, как и старуха, ходики. И странно и непонятно видеть, как рядом с электрической лампочкой по вечерам тускло светится в углу перед иконами лампадка, странно и непонятно слышать, как тихие, долгие Натальины молитвы заглушаются дребезжащим пением динамика. И странно и непонятно смотреть, как верующая Наталья, утверждающая, что все от Бога, ловко и быстро орудует электрическим утюгом.

Поздно вечером, усталая и разбитая, возвращается с работы Настя. Она жалуется на боль в пояснице, на радикулит, который не дает покоя, на свои пятьдесят пять лет и горюет, что в этом году ей идти на пенсию, а трудодней она заработала мало, все хворала, а значит, и пенсию назначат ей малую. Старуха сурово и бесцеремонно перебивает Настю:

— Хватит буровить-то. В прошлые годы и-и сколько заработала.

Пенсию в колхозе начисляют по трудодням трех последних лет, и Настя сама прекрасно знает, что поработала она неплохо и что пенсия у нее будет не хуже, чем у других, но в последнее время ее все гложет какая-то непонятная тоска, одолевают разные думы, и я слышу, как ворочается она по ночам с боку на бок. Все чаще и чаще стала она стоять в раздумье перед фотографиями, и что-то неразборчиво шепчут ее губы. Я догадываюсь, что разговаривает она с сыном и с дочерью, о чем-то просит их. О чем?

И когда Настя начинает вспоминать о детях, горько и в то же время по-матерински ласково жаловаться на то, что разлетелись они в разные стороны и забыли про нее, старуха не перебивает ее, а, подперев острый синеватый подбородок, внимательно слушает, и из ее тусклых потухших глаз медленно выкатывается маленькая слезинка. Никого у нее не осталось на белом свете, кроме Насти. И хотя живут они ладно и дружно, но Настя — невестка, не родная дочь. И видятся, должно быть, ей сыновья — все русые, рослые, статные, крепкие, меньшая дочь Катя с раскосыми чер-

106 ными глазами: говорят, что прадед ее был женат на монголке. Ах, эта проклятая война! Старуха трясется от злости и уходит в избу.

А у Насти свое горе. Страшится она, что придется ей доживать одной, что не вернутся теперь в деревню ее дочь, сын. И нужна Насте не помощь от них — в колхозе на трудодни выдают порядочно, — а самая малость ласки и внимания: чтобы письма почаще приходили, чтобы в гости наведывались, чтобы гостинчика, как говорит Настя, иногда прислали.

И неважно, будет дорог иль дешевле гостинчик, важно, что Настя сможет небрежно, эдак походя, бросить своим товаркам:

— Мой-то вчера прислал отрез на платье.

И товарки будут ахать, качать головами и одобрительно шептаться, а после работы зайдут все вместе к Насте и внимательно будут разглядывать, мять в руках недорогой ситец и приговаривать:

— Ну теперь тебе, Настя, хоть под венец в таком платье.

И лицо Насти разгладится, помолодеет от бабьих похвал, грудь ее стеснит от гордости за сына, за дочь, которым она отдала все без остатка: и молодость, и здоровье, и красоту.

Но молчит она или, мучительно краснея, придумывает всякие небылицы, когда товарки заводят разговор о сыновьях или дочерях. Забыли ее дети. Живут они в городе, неподалеку от хлебозавода, на котором работают: Николай сменным мастером, старшая дочь Нюра — буфетчицей. Нюра раздобрела, раздалась в плечах, маленькие пухлые глазки ее смотрят хитровато, серые размытые зрачки все время быстро и резко, как маятники на часах, прыгают из стороны в сторону. Ходит она неторопливо и плавно, и смешно смотреть, как возле нее суется и семенит хиленький мужичонка Никита — муж Нюры. Никита работает где-то завхозом, живет с Нюрой давно и как будто ладно, но говорят, что связывает их жадность к деньгам, вещам, какая-то ненасытная скупость — зимой снега не выпросишь. И люди не любят их, обходят стороной.

Николай же умен, честен, но ленив и безволен необыкновенно. О деревне он вспоминает охотно, радостно, но съездить туда все-таки не соберется, все не доходят руки, а когда речь заходит о переезде Насти в город, к нему, он мнетса, мучительно краснеет, бледнеет и совсем растерянно, заикаясь бормочет:

— А ка-к-к же М-маргарита Петровна...

Маргарита Петровна — его теща, брюзгливая, недалекая женщина, которую он недолюбливает и с которой давно уже собирается круто, по-мужски поговорить, сказать ей, что мать одна и что она должна переехать к нему, но в последний момент почему-то не решается и молчит. А не решается потому, что боится поссориться с женой — вдруг уйдет, боится расстаться с уже привычной домашней обстановкой. И хоть иногда, в минуты раздражения, озлобленно думает: «Лучше бы и не женился, связан теперь по рукам и ногам», но мысли эти мимолетны, незначительны. Все остается по-старому...

— А я ли их не жалела, а я ли не ласкала, — причитает Настя.

И мне становится не по себе от ее крика. Стыдно и больно мне видеть ее слезы, стыдно и больно за ее детей. И я даю слово себе еще раз поехать и сказать им, что Настя умрет от тоски, если они не приедут...

А Настя затихает, утирается кончиком платка и идет спать, а я долго еще сижу на крыльце. Мутно-розовая заря тает на глазах, и одинокое розовое облачко окрашивается в чернильный цвет, синие нежные сумерки темнеют, становятся гуще и медленно и неохотно подступают к крыльцу. Пыль улеглась, и тишина плотно обступила деревню. От низкорослого соснового леса тянет запахом смолы, хвои, пахнет ржавыми болотными кочками, речной сыростью, осокой. Но резче и сильнее всего пахнет теплой сухой землей. Сухо и неприятно где-то на болоте возле леса скрипит коростель.

Спит деревня. И только Настя тяжело вздыхает, ворочается и что-то бормочет в беспокойном полусне.

## Расплата

**Б**ыл конец августа. Солдат Семен Назаров возвращался с войны. Шел он сейчас один, пешком, на станции не оказалось ни попутчиков, ни случайной подводы. Напрасно он прождал там так долго, все надеялся: а вдруг кто придет или придет из родной деревни по каким-либо делам.

— Домой? — поинтересовался проходивший мимо дежурный по станции. — Или на пересадку?

— Домой, — радостно ответил Семен и с надеждой спросил:

— Из Васютино случайно никого не видел?

— Не видел, — ответил дежурный и тут же посоветовал: — Двигай-ка лучше на своих двоих, пока не смерклось.

Семен посмотрел на трофейные часы, было уже без четверти семь, торопливо вскинул вещмешок, привычно поправил гимнастерку и по-солдатски зашагал домой. До Васютино считалось двадцать километров, и путь этот ему был не в тягость. Тягостно было от другого — вот уже два года Семен не имел никаких вестей из дома, и не хотелось ему думать, что могло случиться плохое. «Эвакуировались, может, далеко?» — утешал он себя часто, да и его мотало по фронтам, частям разным — попробуй разыщи. Вон даже орден за Днепр так и не нашел его.

Воевал Семен не то чтобы охотно (кому война в охотку), но старательно и с оглядкой — зря голову под пули не подставлял. Но пуля-дура находила его — три раза попал в госпиталь. Все обходилось благополучно — раны оказывались нетяжелыми, и Семен быстро выписывался из госпиталя, но в часть родную уже не попадал — войска двигались еще быстрее. И это тоже утешало его. Думалось иногда, что письма затерялись, лежат где-нибудь, никому не нужные. Война...

И вот все — конец войне, и он, солдат Семен Назаров, возвращается домой, и радостно и одновременно грустно и тревожно у него на душе. И грусть эта усиливалась печальным видом полей — так пустынные были они, так заросли травой. А стоял август — горячая пора уборки. Но что было убирать? Как ни вглядывался пристально Семен, как ни вытягивал тонкую шею — попадались изредка ему жидкие клины овсов, небольшие участки ржи да кое-где бабы с серпами на них. Разорение, запустение чувствовалось во всем.

«Ах ты, война, война, — горестно вздыхал он. — Ничего, возвратятся вот все мужики и поправим дело...» Ему уже тотчас хотелось за работу — стосковались руки по топору, по рубанку — до войны он был плотником, столяром. Семен машинально посмотрел на руки и усмехнулся: за годы войны они ничуть не изменились, все так же были тверды и жестки — привычны к любой работе. Изменился только он сам, стал будто суше, еще ниже, хоть и раньше не выделялся ростом. Рос, рос, не дорос, прихватил тебя мороз, — шутили мужики. Но Семен никогда не обижался на эти шутки, в работе он был быстр и ловок — не уступал любому, самому здоровому мужику. Лицо его тоже теперь осунулось, посуровело и выглядело куда старше двадцати семи его лет. Был Семен не женат еще, все как-то не успелось до войны, да и мало волновало его это. Волновали, грызли Семена мысли о стариках — матери и отце, о старшей сестре, которая работала учительницей в соседней области, а перед самой войной приехала в отпуск да так и осталась в родном селе. Семен очень любил сестру, своих стариков и не мыслил, не представлял себе жизни без них.

«А, черт, хватит изводить себя, — ругнулся он сейчас. — Все будет в порядке». Семен Назаров остановился на развилке двух дорог. Одна вела в Козюлькино — богатое село невестами — многие васютинцы брали оттуда жен, и Семен тоже не раз хаживал туда, пропадал ночами до самого рассвета, а отец все допытывался: «С кем гуляешь? Кого в дом приведешь?..»

Другая дорога лежала в Васютино, и у Семена заколотилось сердце, жадно посмотрел он вдоль нее — дорога была разбита, ухабиستا, давно уж не чинили ее, но не она волновала сейчас Семена. Он силился увидеть деревню, хотя бы крыши хат, но глаза застилали слезы, да и вспомнил он, что не увидеть ее отсюда — деревня стояла в низине, за взгорком. И только, словно в тумане, выделялась длинная, по всему горизонту, темно-синяя стена лесов. Леса начинались почти сразу за их селом и тянулись на десятки, сотни километров. И Семену приятно было видеть их — в нем жил уже плотник. Он снял вещмешок и, не развязывая, на ощупь разыскал, потрогал твердое ребро рубанка и засмеялся довольно: рубанок был новехонек, хорош, достался он ему случайно. Подобрал его как-то сослуживец, рязанец Иван Колтунов на заброшенной немецкой усадьбе. К плотницкому делу касательства Иван не имел, и рубанок ему был ни к чему, взял он его просто так, по крестьянской привычке, а потом вспомнил, что Семен Назаров — плотник и отдал, а вернее выменял на пачку махорки. И спасибо ему за это. Семен вскинул вещмешок и зашагал дальше.

На взгорке он вновь приостановился, деревня лежала как на ладони, и Семен быстро пробежал глазами по ней, отыскивая свой дом. Дом стоял почти в конце деревни, и Семен от волнения не сразу увидел, нашел его, а увидев, заторопился, побежал вниз. Возле шаткого деревянного мостка через узкую мелкую речку свернул вправо и пошел тропкою по-над огородами — ему не хотелось встречаться с сельчанами, не хотелось задерживаться на разговоры, расспросы разные. Но уже недалеко от дома он все-таки наткнулся на бабушку Аксиныю, которая возилась на картофельных грядках, подкапывала в фартук новую картошку, и Семен уже было прошел мимо, но Аксиныя вдруг подняла голову и заметила его.

— Аль Сенька? — окликнула она.

И Семен приостановился, взглянул на Аксиныю и поразился про себя: «Как высохла, как ветха стала она». Спина ее была согбенна, лицо стянуто, исполосовано, точно жук-короед прошелся по нему, а ведь до войны была крепка еще, ходила на работы разные, покрикивала быва-

ло на Семена: «Ты мне, кобель, ночами огород не топчи». Но покрикивала не зло, не обидно, так — для видимости.

— Он самый, — смущенно ответил сейчас Семен и неловко поздоровался, спросил: — Живы, здоровы, бабка Аксинья?

Аксинья мелко, мелко засемила к нему и, не дойдя, затряслась вся, забыла про фартук, и картошка просыпалась, раскатилась по земле, но Аксинья и не заметила этого, а все смотрела на Семена и вдруг припала к нему, силясь обнять, заголосила, запричитала тонко и пронзительно:

— Касатик ты мой ненаглядный, сиротинушка ты моя, возвратился живой, здоровый, а мать с отцом так и не нарадуются на своо красавца. Царица ты небесная, и за что же ты посылаешь такое наказание...

— Постой, постой, — перебил, задыхаясь, Семен. — Ты это о чем, что буровишь-то?

Аксинья будто споткнулась, перестала причитать, но руки, тело ее дрожали по-прежнему, и она жалостливо спросила:

— А ты рази ничего не знаешь? Рази не дошел до тебя слух?

— Какой такой слух? Ты это о чем? Говори толком, — грубо, смутно предчувствуя плохое, потребовал Семен.

— Ах, убивцы они проклятые, — заголосила опять Аксинья. Лицо ее переменилось, стало злым и острым, как у хищной птицы. — А все Мишка Бычков из Козюлькиной, энто он указал, выдал всех...

Семен еще не до конца понимал всего, почему-то представил, увидел сейчас Мишку Бычкова, здорового и всегда угрюмого мужика, как он зло, с остервенением дерется на кулачках. Его тяжелого кулака побаивались многие, и когда ходили стенка на стенку на кулачных боях, против Бычкова выставляли троих, четверых, да и то не всегда удачно.

— Толком-то сказывай, — хрипло прикрикнул Семен на Аксинью.

— А что сказывать-то, — ответила Аксинья. — Убили твоих.

— Что? — не поверил Семен, а сердце уже замерло, провалилось куда-то, тело заныло, стало невесомым, и поплыло все перед глазами и, словно в забытии, машинально спросил: — Всех убили?

— Всех, касатик. И отца с матерью, и Маруську, — тихо ответила Аксинья.

Она уже не тряслась, не голосила, притихла вся, сторбилась еще больше, а Семен вдруг дико вскрикнул, побелел как полотно и, ни слова не говоря, путаясь в картофельной ботве, побежал к дому. Возле ограды остановился и не мог идти дальше: дом смотрел на него пустыми глазницами, и было страшно, неумоги́то это видеть. К горлу подступила тошнота, голова закружилась, и Семен все старался стиснуть зубы, напрягся, чтобы не заплакать, и не мог: сначала беззвучные рыдания сотрясли все его худое тело, потом из горла вырвался низкий, хриплый звук, и Семен повалился на землю и завыл однотонным звериным голосом, стал биться головой о землю, грызть ее зубами. Страшен он был в эти минуты, и прибежавшие соседи, бабка Аксинья все никак не решались подойти к нему. Первым решился старик Кузьма.

— Ну, Сенька, ну довольно, — уговаривал он. — Горю слезами не поможешь, не возвернешь с того свету.

Но Семен ничего не слышал, не видел вокруг, его точно кто ударил, оглушил обухом по голове, и он плохо, ничего не соображал сейчас. Бабы, глядя на Семена, тоже заплакали, захлюпали носами, и старик Кузьма сердито прикрикнул на них:

— Хватить воду-то лить. Помогите лучше.

А Семен затих уже, обмяк как-то и безвольно, безучастно дал поднять себя с земли и увести к бабке Аксинье. Приведя кое-как себя в порядок, безразлично, бочком сел в угол на лавку и, посидев немного, отказавшись от еды, попросился на лежанку. На лежанке он вскоре уснул и проспал до утра. Проспал беспокойно, вскрикивая, всхлипывая во сне. А проснувшись, не узнал себя. Не узнали его и другие: так посерело, поземленело его лицо, а волосы будто кто посыпал ржаной мукой.



— Расскажи, как все произошло? — попросил он утром бабу Аксиныю.

Аксиныя испуганно посмотрела на него, а он, догадываясь о причине ее испуга, успокоил:

— Не бойсь. Больше не заголошу...

— Что рассказывать-то? — нервно теребя фартук, ответила Аксиныя. — Маруся с приходом немцев подалась к партизанам. Леса, сам знаешь, какие кругом. Немцы у нас не остановились, а поселились в Козюлькине, у нас, значит, побоялись — лес рядом. Но наезжали часто, постреляют кур, живность всякую, про партизан поспрошают и восвояси. Среди них завсегда был и Мишка Бычков. Он у них старостой исделалси, мордатый, довольный стал кобель, а до нас дюже лютый. Чуть что — сразу кулачища свои сует. Вот он и пронюхал про Марусяку, и что она быдто разведчицей у них служит и часто останавливается у своих. Дак у вас завсегда и другие партизаны останавливались. Он, кобелина, пронюхал и об этом...

Аксиныя остановилась, перевела дух, жалостливо посмотрела на Семена, но он сидел молча, недвижно и только желваки ходуном ходили по лицу, выдавая его волнение.

— Так вот, значит, пронюхал Бычков, — продолжала Аксиныя, а слезы так и катились, так и катились по ее сморщенному лицу, — и стал подкарауливать, ждать, когда зайвится Марусяка или кто ишшо. И подкараулил змей проклятый. Только Марусяка на порог, а с ней ишшо один, молоденький, прямо мальчонка, немцы окружили всю деревню. Схватили, значит, Марусяку и мальчонку и давай пытать изверги. Пытали, пытали, а они молчат, как каменные. Тада... — и Аксиныя не договорила, зарыдала, зашлась опять, запричитала в голос. — Ах, звери они насытные, убивцы смертные. Гореть им в аду...

— Ладно, хватит, — хмуро перебил Семен, — Сказывай дальше.

Но Аксиныя все никак не могла остановиться, выговорить все свои проклятья и жалостливые слова, и Семен тогда встал, молча подошел к ней и жестко, сильно встряхнул ее.

— Дальше рассказывай. Что было дальше? — крикнул он. Аксинья испуганно ойкнула, перекрестилась почему-то, а взгляд Семена требовательно, мрачно сверлил ее.

— Тада немцы через Бычкова пригрозили: не скажешь все про отряд — родителей твоих расстреляем прямо час, на глазах, — Аксинья опустила голову, отворачивая ее в сторону, стараясь не встречаться глазами с Семеном — уж больно страшны, нехороши они были в эту минуту. — А Маруська и мальчонка будто в рот воды набрали. Тада привели отца с матерью, нас всех согнали и опять: не скажешь — расстреляем. А Иван Кузьмич и Анна Савельевна стоят, глядят на Маруську и молчат тоже. Тада, значит, подвели Кузьмича и Савельевну к сараю, к самой стене и подняли ружья, а Маруська как кинется к ним, как закричит: «Мама, папа, простите!» А немцы тянут ее назад, не дают попрощаться. Тада Кузьмич крикнул: «Ничего, Мария Ивановна», так и сказал, Мария Ивановна, а не Маруська, значит, перед немцами не хотел унижаться, он, сам знаешь, завсегда гордый был. Так вот Кузьмич крикнул: «Ничего, Мария Ивановна, наши близко, за все отомстят. А энтому сукину сыну висеть на осине». И он показал на Мишку Бычкова, плюнул в его сторону. Бычков дюже рассерчал, что-то говорит старшему ихнему, а тот прогавкал по-своему, и солдаты ихнии подняли ружья. Мы, значит, думали: попужают, а старшой в очках опять что-то крикнул и...

— Ладно, хватит, — остановил Семен.

В голове у него как-то зазвенело, огненно зарыбило в глазах, и он на секунду ослеп, перестал видеть и со страхом подумал: «Все, хана...» Но через минуту-другую перед глазами прояснилось, и он хрипло спросил:

— Где похоронили? Могила где?

— Сперва и похоронили возле сарая, — ответила Аксинья. — А недавно и Кузьмича с Савельевной, и Маруську, и остальных убитых партизан, красноармейцев перенесли в общую могилу. Она прямо за околицей у трех берез. Там ишло деревянная надгробия с красной звездой стоит. Да я ить и провожу тебя.

— Не надо, — отказался Семен. — Сам найду.

Ему хотелось побыть одному.

— Вина не найдется? — уже перед уходом попросил Семен.

— Откуда ему быть, — ответила Аксинья. — А вот у Кузьмы должна быть самогонка. Я счас мигом добегу, попытаю.

Семен хотел остановить ее, сказать, что и сам зайдет, попросит, но Аксинья уже выскочила за дверь в сенцы, и Семен не стал окликать ее, а вышел из избы и сел на завалинку. Тихо, солнечно было вокруг, из палисадника сильно пахло огуречником, яблоками, полынью, недалеко в дорожной пыли весело купались воробьи, и все это вместе не радовало, а угнетало Семена, усиливало его тоску. Скоро вернулась Аксинья, держа в руках бутылку мутной самогонки.

— Для тебя только и дал. Последняя, — протягивая бутылку, сказала она. — Ты картошечки возьми, сольцы.

— Не надо, — отказался вновь Семен, беря бутылку.

— Ты энто брось! — прикрикнула Аксинья. — Мыслимое ли дело не есть со вчерашнего дня.

— Не хочется что-то, — виновато ответил Семен, собираясь уходить.

— Ты погоди, погоди, — остановила Аксинья. — Я счас.

И она быстро вынесла несколько картофелин в мундире, немного серой крупной соли и вздохнула:

— А хлеба нету. Новины ишшо не давали.

— А что с Бычковым стало? — как бы случайно спросил Семен.

Ему почему-то хотелось, чтобы Бычков был жив, хотелось встретиться с ним, взглянуть ему в глаза, а потом бить при всех, бить медленно — до смерти, и говорить при этом какие-нибудь слова. Какие слова — он и сам не знал, но ему обязательно хотелось бить не молча.

— А ён сперва убег с немцами, — ответила Аксинья. — А после, гряд, в Белоруссии его схватили и сослали в Сибирь. Пятнадцать лет дали, а его, убивцу, убить надо бы, а не в Сибирь...

— Ну, ладно, я пошел.

Ему почему-то стало радостно, что Бычков жив, — про себя он решил непременно поехать в Сибирь, отыскать Мишку Бычкова.

Могилу он нашел сразу, как только вышел за околицу, она оказалась на бугре и видна была далеко, выделяясь красной звездой. Семен рванул ворот гимнастерки, ему стало душно и тяжело дышать, и он ускорил шаги. Возле могилы он остановился, почему-то не решаясь войти за деревянную ограду, потом вошел и сразу же припал на колени у изголовья и замер, все громче и громче говоря одно и то же: «Как же вы так?.. Как же так?..» Потом сорвался на крик, и с ним опять случилась истерика. Он бился головой о могилу, рвал на себе гимнастерку, скрежетал зубами, но вскоре затих, закаменел лицом, взгляд его тупо скользнул по выцветшей уже надписи: «Слава героям, погибшим за свободу Родины», потом наткнулся на бутылку повалившейся самогонки, и Семен потянулся к ней, прямо из горла отпил почти половину. Он снова, шевеля губами, прочел надпись на деревянном надгробье и горько подумал: «Они-то погибли, а вот Бычков, туды его мать, жив...» И какое-то злое, мстительное чувство поднималось и жгло его.

И тут он заметил, что могила заросла травой, бурьяном. И он лихорадочно, с остервенением принялся вырывать бурьян, будто хотел выместить, выплеснуть всю злость, но ему не легчало — одна-единственная страшная мысль прочно овладела им. Семен допил самогонку и сумрачно поднялся, огляделся по сторонам — все так же тихо и пустынно было кругом. Он низко, в пояс, поклонился могиле и решительно, быстро зашагал прочь, минуя Васютино.

Возле Козюлькино он остановился, раздумывая о чем-то, но потом решительно зашагал дальше. Ему сейчас хотелось одного: убить Катьку, жену Бычкова, детей — выравнять весь их корень, поджечь дом. Он не пошел улицей, а пробрался низом с лога — дом Бычковых стоял на самом краю, на отшибе от всех, — и тут сказался характер хозяйна, и это сейчас обрадовало Семена, было ему на руку.

Еще издали он увидел, что Катька дома, она возилась, что-то делала возле крыльца, а возле нее крутилась девочка. «Должно быть, младшая», — подумал Се-

мен. Не дойдя метров двадцати, он остановился, пристально вглядываясь в девочку, ища сходства с Бычковым. Девочка была чернява, в грязном потрепанном платъице и сейчас хныкала, просила что-то. Семен перевел взгляд на Катерину, и она, словно почувствовав этот взгляд, подняла голову, повернулась в его сторону, и глаза их встретились, уставились друг на друга, и Семен успел заметить, как устала вся она, завяла за эти годы. А ведь красавицей была.

Семен шагнул вперед. «Это же я как зверь какой», — мелькнуло больно в голове, и он внезапно, круто повернул назад и затрусил прочь. Он слышал, как Катъка что-то крикнула ему вслед, но слов не разобрал. «Бычкову сподобился, — бежал и думал он. — Убийцей хотел стать. А кого убивать надумал? Детей, бабу беззащитную... Они тут при чем... Отец никогда не простил бы этого... Бычков — дело другое, его, заразу, все одно найду. Он ответчик за все».

В Васютино Семен вернулся поздно вечером. Он проблукал в лесу, то и дело натъкался на незаросшие еще окопы, блиндажи, партизанские землянки. «В какой-то из них сидела и Мария», — подумалось ему.

— У когой-то ты так припозднился? — участливо встретила Аксинья.

— А-а, там, в лесу, — неопределенно ответил Семен.

— Ах ты, батюшки, — испугалась Аксинья. — Там энтих, как их, мин дюже много. Надысь корова Кузьмы подорвалась...

Семен ничего не ответил Аксинье, им овладело какое-то безразличие, равнодушие ко всему, молча он взял так и не развязанный вещмешок и сухо сказал:

— Ну, ладно, я пошел. Спасибо за все.

— Куда энто пошел? — удивилась Аксинья.

— К себе домой, — неохотно ответил Семен.

— Как же ты жить будешь? — всполошилась Аксинья. — Окон нетути, не топлено...

— Счас тепло, переночую и так, — перебил Семен. — А завтра рамы сделаю, починю что нужно...

— Нюрка, что сидишь-то! — прикрикнула Аксинья на притихшую невестку. — Сбегай в сенцы, пошукай лампу.

118 Она хоть и без скла, а все не в темноте будешь, — обратилась она уже к Семену.

— Да и так обойдусь, — попробовал отказаться Семен, но Аксинья не соглашалась, не отпускала его без лампы.

Нюрка, долго повозившись в сенцах, погромев там ведрами, чем-то еще, наконец принесла помятую старую лампу, налила туда керосина, и Семен, взяв ее, пошел к себе.

На крыльце он потоптался, хрипло откашлялся несколько раз, все никак не решаясь войти в дом.

«А где ж ключ?» — кинув взгляд на замок, подумал Семен. Он дотронулся до замка, слегка дернул его, и дужка замка тут же отвалилась. Бабка Аксинья повесила его так, для видимости, хотя и знала, что в доме ничего почти не осталось — все разворовали, растащили Мишка Бычков, другие полицаи. Семен толкнул дверь и робко и неуверенно переступил порог. В доме было темно и неудобно, и пахло уже нежилым. Семен зажег лампу, и свет слабо осветил большую комнату, и взгляд его жадно побежал, зашарил по стенам, но пусты и голы были они, как гол и пуст был весь дом. И только в углу на столе что-то неясно чернело, и Семен подошел поближе, посветил лампой и увидел рамку с фотографиями. Стекло в нескольких местах было разбито, но пожелтевшие фотокарточки были целы, не помяты, и Семен с волнением взял рамку, поднес ее к лицу. На него, точно живые, смотрели молодые отец с матерью, снятые давным-давно перед венцом, а рядом с их фотографией стоял надутый он и Маруся, а потом опять она, но уже не маленькая, а в строгом темном учительском костюме.

Он жадно смотрел на фотографии и все никак не мог насмотреться на них, и сердце уже больно защемило, тупо заныло и запершило в горле, но Семен не заплакал. Слез уже не было. С этой минуты он больше никогда не проронил ни единой слезинки, а стал только угрюм и неразговорчив.

На другой день пришел председатель колхоза и, вздыхав, посочувствовав для приличия, предложил возглавить плотницкую бригаду. Семен на предложение председателя отказался наотрез, а попросился конюхом.

Председатель стал отговаривать: и лошадей осталось мало, и Варвариха справляется одна с ними, а плотники нужны позарез — мужиков в деревне раз, два... и обчелся. Но Семен твердо, упорно стоял на своем, и председатель скрепя сердце уступил, согласился.

— Ты это, конюхом пока иди. Варвариху мы в полеводческую бригаду переведем. А о предложении подумай. Надумаешь — скажешь, — пробормотал он на прощанье.

«Жди — дождешься», — усмехнулся Семен. Про себя он окончательно решил, что и конюхом поработает недолго, пока не разузнает где нужно про Мишку Бычкова, а как узнает — сразу же махнет туда.

С тех пор Семен Назаров работает конюхом вот уже тринадцатый год. Он писал, делал запросы во все концы, но никто толком не отвечал ему. А может и не занимались всерьез Семеновыми запросами, может... Много всяких предположений делал Семен. В одно время он уже надумал, решил поехать в Сибирь, но его отговорили: Сибирь большая, только зря проездишь... И Семен отказался от этой мысли.

А теперь и вовсе он почти забыл о Бычкове, время как-то притупило его мстительное чувство. Притупилась и боль о погибших отце и матери, о Марии. И только когда он приходит на могилку, а ходит туда он каждый день и сидит там подолгу, он становится беспокойным и нервным. Могилу он привел в образцовый порядок, починил ограду, покрасил ее в зеленый цвет (где только раздобыл краску, удивлялись люди), поставил скамеечку...

На деревне его считают немного тронутым за звериную нелюдимость, за пугающую угрюмость, но и одновременно жалеют его. Но это мало трогает его. Он оброс бородой, обносился сильно, хотя и мог купить какую обнову, — он не пьет, не курит — и деньги кое-какие есть. Есть у него и почти новые солдатские штаны и гимнастерка, но надевает их Семен, когда идет на могилу. И сразу же снимает по возвращении домой и бережно укладывает в самодельный сундук до следующего раза. Семен живет один, так и не женился, как ни уговаривали его долго, настойчиво — невест, вдов было кругом много...

На могилу бывает приползает и бабка Аксинья, у нее не вернулся, погиб старший сын. Она уже совсем стара, подслепая, плохо говорит — нет зубов — и держится, живет каким-то чудом. Они ладят друг с другом, хоть и подолгу сидят молчком, перемольвливаются словом изредка.

— Шенька, не женился? — глухо, невнятно спросит Аксинья.

— Не, — мотнет нечесаной головой Семен.

И опять замолкают надолго. Им хорошо вдвоем.

А однажды его поражает новость: из мест заключения вернулся Мишка Бычков. Новость эту он узнает под вечер от бабки Аксиньи.

— Шлышал, Семен? — спрашивает она, опираясь руками, подбородком на отполированную палку.

— Что? — не расслышав, переспрашивает Семен.

— Мишка вернулся, — сердито шамкает она.

— Какой Мишка? — не понимает Семен.

— Какой ишо, Бычков, — сердится Аксинья.

— Как Бычков? Не может быть, — поражается Семен.

— Шама шлыхала. Нюшка шкаживала, — убежденно говорит она.

И Семен верит. Его начинает бить мелкая нервная дрожь, тело покрывается потом и, ни слова не говоря, не спрашивая больше ни о чем, он уходит к себе.

Дома он долго ищет бритву и все никак не может отыскать ее. Побриться он хочет обязательно, думает про себя: «Чтоб он, зараза, видел меня таким... Не-ет...» Наконец он находит бритву — она запылена, потускнела уже, обстригает сначала бороду ножницами и тщательно, до синевы бреется, достает из сундука медали и прикалывает их к гимнастерке, подпоясывается износившимся ремнем и выходит в сенцы. На глаза ему попадает рубанок, и Семен машинально поднимает его. Рубанок загрязнился, потемнел от времени, лезвие его поржавело — Семен редко, почти не пользуется им. Он внимательно разглядывает его, будто видит впервые, вертит в руках и почему-то, обращая мыслями к Бычкову, решает: «Не-е-ет, курва, и конюхом не увидишь».



Завтра же попрошусь в плотницкую бригаду...» И выходит на улицу и решительно шагает в сторону Козюлькино. Дрожь не проходит, а бьет все сильнее и сильнее, хоть и теплынь стоит не сентябрьская, а он уже клацает зубами, никак не может стиснуть их.

Перед входом в Козюлькино Семен приостанавливается в минутном раздумье и решительно шагает по главной улице к дому Бычкова. Уже смерклось, и в окна домов жарко горит электрический свет. Светятся окна и у Бычковых, и Семен, мрачно усмехаясь и не стучась, распахивает дверь. За столом о чем-то оживленно разговаривают и не сразу обращают внимания на вошедшего Семена. Семен молча, не двигаясь, стоит у порога и пристально смотрит на Бычкова — тот мало изменился за эти годы: слегка постарел, сгорбился слегка, но все так же крупен и широк он был телом, по-прежнему чувствовалась в нем сила.

«Во, стерва, и Сибирь не взяла», — удивляется Семен и громко кашляет. К нему поворачиваются и узнают.

— А-а, Семен Иванович, — пугается Бычков. — Проходи, что стоишь у двери, — медленно поднимаясь, приглашает он.

Но Семен не двигается с места и все так же мрачно смотрит на всех.

— Вернулся, значит, — не спрашивает, а как будто снова удивляется он.

— Да вот освободили. Амнистия, — угодливо поясняет Бычков.

Он все еще боится, не знает, зачем пришел Семен Назаров, и Семен замечает это, злорадно думает: «А-а, стерва, дрожишь. Помнишь, значит, что руки в крови. Что не отмывать ее никакой Сибирью». А у Бычкова первый испуг проходит, и Семен тоже замечает это.

— Проходи, Семен Иванович, в ногах правды нет, — приглашает он вновь.

И пытается, хочет подойти к Семену, протянуть руку.

— Не подходи, зараза, — предупреждает Семен. — Убью.

Его уже давно не колотит дрожь, и напряженно-спокоен он сейчас удивительно.

— Ну что ты, Семен Иванович, — вмешивается Катька, жена Бычкова. — Он свое отсидел, искупил вину. Да и какая его вина — немцы все силком заставляли...

«И ты туда же», — усмехается Семен и не сводит глаз с Бычкова, все решает, как ловчее приступить к нему, ударить, и никак не решается. «Не справлюсь», — ясно и спокойно думает он, и почему-то опять вспоминаются кулачки и Бычков на них. Но ударить, бить Бычкова ему хочется до зуда в руках, хоть и прошло уже то мстительное чувство к нему, какое было в первые годы, притупилось от времени.

— Ясное дело немцы, — обрадованно подхватывает и Бычков. — Ты вот думаешь, что я виноват в гибели Ивана Кузьмича, Анны...

Но не успевает он произнести, назвать имен, как Семен взрывается, орет:

— Не моги-и, зараза! Не трожь их своим поганым языком, не моги-и...

Орет он страшно, с надрывом и, как ужаленный, подскакивает с места и бросается на Бычкова, хочет ударить его, но за него цепляется, плачет Катька.

— Семен Иванович, не надо, родной... И так все сердце почернело, изболелось... Пожалей ребят, — умоляет она.

И Семен опускает было поднятую, занесенную для удара руку — вид плачущей Катьки, испуганных детей и покорно стоящего, ждущего удара Бычкова отрезвляет его, только где-то мелькает: «Хоть бы сопротивлялся гад, а то хуже побитой собаки...» И он как ошпаренный выскакивает на улицу и торопливо, почти бегом, обходя Козюлькино, чтобы ни с кем не встречаться, идет полевой тропинкой. Возбуждение постепенно проходит, и он думает, бессвязно размышляет: «А-а, пусть живет гад... Своих-то теперь не возвернешь с того свету... А там дети, Катька... Пусть...» И он, разговаривая сам с собой, идет уже не спеша до самой братской могилы. Во рту у него пересохло и ему хочется пить, и Семен срывает несколько ягод красной рябины, посаженной им несколько лет назад. Ягоды еще незрелы, горьки, но Семен не ощущает никакого вкуса, ощупью находит скамейку и, сгорбившись, уткнув руки

в колени, садится на нее и горько шепчет: «Простите меня... Не мог я... Детишки, Катька... Жизнь есть жизнь... Вот и я завтра пойду плотником опять. А то опустил, на человека стал непохож...»

123

И шепчет, говорит он с отцом, матерью, сестрой долго, а потом замирает, твердея лицом, и сидит возле могилы до самого утра.

## Петрович

**Ч**ерная и мягкая, как сажа, августовская темнота придавила деревню, будто оглушила и ослепила ее — не было ни звука, ни огонька кругом. Не доходил сюда и слабый полевой ветерок — деревня стояла в низине, за холмами, и воздух был от этого тяжеловлажен, душен. И только в доме кузнеца Егора Петровича Сухорукова светились окна, но светились слабо, свет не проникал на улицу — застревал где-то в кустах сирени, в густом вишеннике.

В доме не спали. Вот уже шестой день Петрович тяжело болел, шестой день не вставал с печи, не спал по ночам, стонал. Внутри что-то жгло, мутилось в голове, ослабло все его мощное тело, стало легким. Вызывали доктора из района. Доктор Сизов приехал сразу. Был он уже стар, опытен. «Не прощельга какой-нибудь», — с удовольствием отметил Петрович.

Сизов долго щупал, мял бока, грудь Егора, постукивал по широкой спине, но болезни определенной не признавал, выписал какие-то порошки.

— Старость не младость, — неясно сказал доктор на прощание и, не выдержав, восхитился: — А сложение у вас, батенька, богатырское.

— Чай, кузнецом работаю, — слабо ответил Петрович. Еще неделю назад был он крепок, силен, на спор выжимал десять раз двухпудовую гирию, хоть и шел уже ему седьмой десяток лет. Ходил он еще твердо, не горбясь.

— Ну и Петрович! — восхищались приезжавшие из соседних деревень мужики. — Тебе ишо молодуху, совладел бы, должно.

Петрович хмурился, глухих шуток он не любил:

— Давай, давай, не задерживай, пустоболт. Анекдоты будешь рассказывать вечером своей бабе.

Был он неразговорчив, большое темно-красное от огня и загара лицо постоянно хмуро, косматые брови насуплены. Хмур, строг он стал после войны.

В молодости же был весел, много шутил, любил рассказывать про городскую жизнь, где пробыл недолго, работал слесарем на заводе, но не выдержал, ушел — потянуло в родные края, к своим, — любил повторять:

— Народ какой-то тонкий, прогонистый пошел.

В деревне Петрович определился в кузницу и с тех пор работал кузнецом. Работал хорошо, слава его разнеслась далеко вокруг, и к нему часто приезжали из дальних деревень, хоть и были там свои кузнецы. Любили его не только за хорошую работу, но и за честность — денег, водки, как другие, он никогда не брал ни с кого, постоянно говорил одно и то же:

— А трудодни мне за что начисляют?

И гневался, ругался страшно, когда кто-нибудь из дальних — свои хорошо знали Петровича — пытался отблагодарить за труды.

Жил он долго в тесной старой избе, но жил как-то легко и только недавно, года три назад, построил просторный кирпичный дом, а старый, позеленевший от времени, не сломал, оставил рядом.

— Пусть стоит, напоминает прежние времена, — весело решил он. В последние годы Петрович опять оживился, стал радостно-возбужден, начал громко смеяться, шутить — стала забываться смерть сына, погибшего перед самой Победой.

— А ты, Петрович, молодеешь. Аль знаешь какой секрет? — шутили бабы.

— Знаю, знаю, — весело отвечал Петрович.

Заболел он как-то внезапно, сразу — куда девалась, исчезла его богатырская сила.

— Все, мать, износился совсем. Готовь смертное, — твердо, как будто о давно решенном, сказал он жене.

— Что ты, Господь с тобой, — испугалась Пелагея, — Буровишь лишнее.

— Гроб закажи Фролу Сниткову. Он делает их красиво, — еще тверже, спокойно приказал Петрович. — И поминки устрой получше, пригласи всех.

— Хорошо, хорошо, родимый, — коротко отвечала Пелагея, а сама не верила ни единому слову Егора.

Не верит, не может представить она и сейчас, что Егор может умереть, больше не встанет. Шестой день она мало спит, неотступно следит за Егором, — любит она его больше себя. «Как же так, — думает она сонно, сидя за столом, чутко прислушиваясь к стонам Егора. — Вот и Настюшке пришло время рожать. Внука понянчим. Егорушка вона как мечтал о внуках», — Пелагея вскидывается, смотрит в соседнюю комнату.

Там тоже слабо горит лампа, тускло освещая комнату, широкую кровать, молодую фельдшерицу, сидящую возле Насти. Окна в комнате открыты, и фельдшерице страшно смотреть в густую вязкую темноту, видеть какие-то далекие, внезапно возникающие и так же внезапно исчезающие фосфоресцирующие вспышки.

«Должно быть, гроза», — догадывается она. Жутко ей слышать стоны Насти, видеть ее муки, — роды она принимает впервые, — жутко быть в одном доме с Петровичем, который вот-вот умрет. В смерти его она почему-то твердо уверена.

Проходя днем к Насте, она мельком глянула на Петровича и поразилась: как желто-бледно, сухо стало его крепкое лицо, ввалились щеки, потускнели глаза, как поредели волосы на голове. Поредела и его белая, как тополиный пух, борода.

«Умрет», — сразу решила она, и эта мысль не дает ей покоя, вызывает неприятный озноб. Ей хочется, чтобы поскорей наступило утро, чтобы родила Настя, хочется уйти из этого дома.

Не спит, чутко прислушивается к стонам невестки и Петрович, на миг забывая о себе, о своих болях. Ждет с нетерпением и он, когда родит Настя, больше всего на свете хочется увидеть ему сейчас внука или внучку. «Все равно кого, только бы успеть посмотреть, — шепчет он. — И помирать тогда легче будет».

— Мать, — тихо зовет он.

— Что, родимый? — будто и не дремала, отвечает Пелагея.

— Подай карточки, — просит он.

— Какие карточки? — спрашивает Пелагея.

— Какие, какие, — сердится Петрович. — Будто не знаешь.

Пелагея приносит большие увеличенные фотографии сыновей, и Петрович, приподнимаясь, дрожащими руками подносит их близко к лицу и смотрит на лица сыновей. Старший, Иван, весел, ширококул, броваст — похож он как две капли воды на Петровича. Младший, Василий, серьезен, курнос — весь в мать, — служит сейчас в армии, послали телеграмму, может, приедет.

«Не успеет», — вздыхает Петрович и откладывает фотокарточку младшего в сторону, старшего же держит перед собой. Все надежды, все помыслы были связаны с ним. «Вот выучится на агронома и вернется домой в деревню, — мечтал Петрович. — Женится, а я внуков буду нянчить».

«Проклятая война», — Петрович скрипит зубами, слабо падает на подушки. Внутри опять жжет, зыбко, стеклянно рябит в глазах, тошнит, вот-вот оборвется сердце.

— Мать! — кричит он. — Дай водицы.

Пелагея торопливо шарит по полке, ищет кружку, порошок, а он капризно торопит:

— Что ты там возишься...

Кажется ему, что он проваливается в какую-то яму, из которой уж не выбраться вовеки. «А как же внук?» — пугается он и хочет услышать, что делается в соседней комнате за стеной, но в голове шумит, стоит какой-то звон, и ничего не слышно, ничего не разобрать.

Пелагея наконец наливает воды, берет порошки и подает Егору. Он торопливо выпивает, и ему легчает. Опять он начинает думать о сыновьях, о внуках, потом мысли его перескакивают на работу.

Думает он о кузнице, о своем подручном Николае, о том, что лето выдалось сухменное и часто ему придется менять лемеха, чинить повозки, ковать лошадей... «Ни-

128 чего, выдержит», — решает Петрович. Он всегда был доволен Николаем. Петрович, усмехаясь, вспоминает, как вчера приходила целая делегация мужиков по главе с Николаем. Робко переступив порог, они потоптались у печки, пошушукались с Пелагеей, сунув ей какие-то свертки.

— Ну, как, Петрович, скоро поднимешься? Без тебя нам никак нельзя, — громко, боясь, что не услышит, сказал Аникей Пронников.

— Не кричи, — остановил Петрович. — Чай, ишо не глухой. Вот у вас теперь кузнец, — показал он на Николая. — Не хуже меня.

— Это ты брось, Петрович. Это ты зря, — невнятно выговорил, покраснел Николай.

— Ишо кишка тонка до тебя, — запротестовали мужики. — До тебя ишо ему далеко...

— А я, што ль, сразу родился таким? — рассердился Петрович. — Лучше Николая кузнеца вам не найти.

— Оно, конечно, так, — согласились мужики. — Но лучше поскорей выздоравливай ты, Петрович.

— Может, профессора какого из города вызвать? — предложил Аникей.

— А что, дядя Аникей, обязательно нужно, — горячо поддержал Николай.

Мужики соглашаются, что Петровича непременно должен осмотреть профессор, и уходят об этом просить председателя колхоза.

Вот не ожидал такого. Слабая улыбка трогает лицо Петровича. Он забывается на минуту, глаза его закрываются. За стеной слышится стон невестки, и Петрович вздрагивает, чутко прислушивается, и мысли его целиком отдаются невестке, дому, Пелагее. Зыбко, неясно представляет, как он идет по улице, а на руках у него внук, и встречные улыбаются, радостно говорят:

«Дождлся, Петрович».

«Дождлся, дождался», — счастливо отвечает он.

А внук уже большой и помогает ему разжигать горн, помогает калить, а потом приходит старший сын Иван и, улыбаясь, спрашивает: «Не ждал, отец, а я вот вер-



нулся. Моих сыновей тоже будешь нянчить». Но все смутней, неясней видит Петрович Ивана, внука, все сильнее становится боль — действие лекарства проходит. В доме, как и на улице, душно, пахнет чем-то неприятным, расплывчато-пряным. Лампа почти потухла, и в комнате сумрачно, тесно, страшно. Петрович хочет крикнуть, чтобы Пелагея вывернула фитиль, но что-то тяжело давит грудь, и крика не получается.

«Конеч, — слабо, как-то спокойно решает он. — Так и не увидел внука...»

За стеной о чем-то переговариваются Пелагея и фельдшерица, голоса их тихи, глухи, но оживленны, и Петрович, минуту назад похоронивший себя, беспомощный, оживает, тяжело приподнимается. «Неужели?» — радостно думает он. Пелагея скоро возвращается — фельдшерица просила мокрое полотенце для Насти.

— Нет еще, — отвечает она на молчаливый вопрос Егора и ласково, устало говорит: — Спи, спи, родимый.

— Тяжело чтой-то, мать, — жалуется Петрович. — Выверни поболее фитиль, а то темно.

Пелагея вяло исполняет просьбу, — спать она хочет невероятно, худое и без того лицо ее осунулось, потемнело. Исушило же ее, состарило быстро горе по старшему сыну, постоянный страх в войну за Петровича — не убили бы. И вся жизнь ее была в вечных хлопотах, хоть и хлопоты эти ей были приятны, радостны.

— Чай, не за чужими ухаживаю, за своими, — отвечала она, когда Петрович или сын говорили, чтобы отдохнула она, съездила бы куда.

Редко и плакала она, горе переносила молча, замкнуто, как и Петрович, ожила, повеселела она только в последние годы — с приходом в дом Насти. Как и Петровичу, страстно ей хотелось внуков, повозиться, понянчиться с ними. И в первый год она все шепталась, шушукалась с Петровичем, с надеждой поглядывала на Настю, но та все так же была стройна, тонка, и Петрович хмурился, мрачнел, иногда ругался с Василием:

— Ты смотри у меня, чтоб род Сухоруковых не переводился.

— Успеем, папаня, — ухмылялся Василий. — Нарожаем целую кучу.

— Ты-то, может, и успеешь, а нам с матерью поскорей хочется.

«Надо же такому приключиться, — горестно, дремотно думает сейчас Пелагея. — Заболел-то совсем не вовремя». Свою жизнь и смерть свою она крепко связала с ним и давно уж про себя решила, что и умрут они вместе, в одночасье: «Куда иголка, туда и нитка...»

— Мать, дай порошки, нет мочи больше, — просит Петрович.

— На, выпей, родимый. Скоро уж утро. Утром полегчает, — успокаивает она.

«Скоро и рассвет», — думает и фельдшерица.

Ночь на глазах сереет, становится жиже, отступает от окон — видны уж кусты сирени. Свежеет.

А Петрович, выпив лекарство, опять забывается, ненадолго засыпает. Сны ему снятся неотчетливые, непонятные. Просыпается он оттого, что кажется ему: кто-то зовет его. За стеной опять разговаривают, но говорят уже громко, сердито-оживленно. «Что такое?» — не понимает, холодеет он. И вдруг тишину разрывает пронзительнотонкий, захлебывающийся плач.

«Внучек!». Петрович легко, не чувствуя слабости, боли, поднимается, хочет слезть с печки, но что-то подламывается резко внутри, отрывается сердце, и он плавно летит в невидимую пропасть и не слышит уже, как к одному голосу присоединяется скоро и второй — Настя родила двойню. И долго, горласто орут пока еще безымянные внуки Егора, бестолково-радостно оживление за стеной...

*д. Елизаветинка, 1965 г.*

## Ивановна

Вечером, трудно и неловко залезая на печку, долго ворочаясь там, она, будто оправдываясь перед кем, постоянно говорит:

— А куда мне утром рано вставать. Детей нету — в школу провожать не надо...

Уснуть для нее — целое мучение — болит голова, поясница, ноют, ломят старые кости, что-то постоянно давит на грудь, — часто она вскрикивает, бормочет по ночам, ошалело и испуганно вскидывает свою маленькую головку и, перекрестившись, опять забывается, засыпает легким тревожным сном.

— А много ль старому надоть. Прикорнул часок, другой и довольно, — тихо и ласково говорит она.

Высохшее, но когда-то красивое лицо, большие, будто вдавленные внутрь, глаза ее тоже испускают ласку и доброту. Она затапливает печку, и в чистом уютном доме начинает пахнуть дымом, очищенной картошкой, которую она готовит к завтраку, выносит корм курам, корове, проворно протирает и так чистые полы, подоконники, лавку. Чистота и порядок в доме необычайные. Стены аккуратно оклеены цветастыми веселыми обоями, на стенах множество простеньких, вставленных в самодельные рамки, картин, маленьких и больших зеркал — должно быть, в молодости она любила смотреться в них.

И картины, и зеркала, и икона в углу тоже аккуратно увиты полотенцами, на которых мережкой крупно и неразборчиво вышиты слова: «Не трудна была работа, коли дадена от Бога».

Когда я начинаю расспрашивать о смысле этих слов и откуда они взялись, она смущенно почему-то отвечает:

— А кто ее знает. В старину положено так было...

Да и разговаривает, отвечает на расспросы она мало, неохотно. Не успеваем мы позавтракать, как в окно стучится соседка:

— Ивановна, пойдешь на работу?

— А што ноне делать-то? — спрашивает Домна Ивановна.

— Солому на фермы подвозить, — отвечает крепкая и низкорослая, закутанная в теплую шаль и оттого похожая на толстый гриб боровик, соседка.

— Поясница что-то разболелась, — жалуется Домна Ивановна.

— Гляди... — неопределенно говорит соседка и уже собирается уходить, но Домна Ивановна поспешно останавливает:

— Погоди, латоха. Счас соберусь.

И быстро надевает валенки, телогрейку, закутывается в такую же шаль, как у соседки.

На работу Домна Ивановна может и не ходить — она уже стара, больна и пенсию получает. Живет она в достатке — есть куры, овцы, корова. Живет одна — в большом просторном доме — муж ее умер лет десять назад, дочь замужем в соседней деревне. И тяжело ей одной присматривать за хозяйством, заготавливать сено скотине, тяжело ходить на колхозную работу, но с коровой, с овцами, с работой она не может, не хочет расстаться.

— Как же без работы-то, — удивляется она. — Одной, как сычу, сидеть в избе...

— И корову не продам, — отвечает она, когда дочь настойчиво уговаривает ее продать корову, молоко и так дают в колхозе за деньги. — Внучонки придут, а чем их попотчую? От своей коровки молочко слаще...

Внуков она любит горячо, больше себя, и в редкие приходы их она оживляется, не находит себе места, похожа она тогда на наседку.

— Яблочков хотите? — то и дело спрашивает, угощает она. — А, может, пряников сходить в сельпо купить?

И идет за три километра в сельпо, покупает там всякой всячины: слипшихся от долгого лежания конфет, твер-

дых, как камень, пряников, селедки, консервов... Внуки же шустры, подвижны, и их поминутно тянет на улицу, на речку к ребятам, и Домна Ивановна тогда огорчается, лицо ее тускнеет, и она нехотя собирает их.

— Скушно им со мной, старой, — жалуется она неизвестно кому и, не отрываясь, надолго прилипает к окошку, высматривает своих внучат — как бы кто не обидел их.

Дочь давно зовет ее жить к себе, но Домна Ивановна упорно отказывается. Зять как-то обидел ее, и Домна Ивановна боится теперь, что продаст она свой дом, сорвется с насиженного гнезда, а с зятем не уживется — и что тогда? Да и могила мужа тут — рядом, за которой она присматривает денно и ночью.

— А без меня она зарастет бурьяном, рассыплется, — возражает она дочери.

— Да будет тебе, — ругается дочь. — Долго, штоль, придти из нашей деревни.

— Не, погожу маленько, — упирается Домна Ивановна. И незло поругавшись, они расстаются до следующего такого ж разговора.

На могилу она зимой и летом носит пшено, посыпает возле невысокого и оплывшего уже слегка холма с почерневшим от дождей и времени крестом, потом присаживается на дубовый кругляк, брошенный кем-то, и задумывается, каменеет лицом. И только блеклые губы мелко и быстро шевелятся, произносят какие-то слова.

Летом здесь зелено, шумно от крика грачей, поселившихся на недавно посаженных березах, от крика воробьев, которые охотно слетаются и дерутся за пшено, раскрошенные яйца... Зимой же на погосте голо, пусто и тоскливо. Но Домна Ивановна не замечает этого.

Посидев, она неохотно встает и ласково бормочет одинокой синице:

— Поклюй, милая, поклюй...

Синица уже давно сердито тинькает, ждет, когда уйдет человек, и жадно, торопливо набрасывается на пшено.

...Сейчас, перед уходом на работу, Домна Ивановна спрашивает:

— Обедать придете?

Я и сам не знаю — управлюсь ли с делами, но Домна Ивановна, сердясь, ласково увещевает:

— Как же без обеда-то... Я все одно прибегу скотине давать. Хоть молочка выпьете.

Я приехал сюда по своим делам в командировку и живу у Домны Ивановны уже шестой день и благодарю судьбу, что везет мне на хороших людей, на такие встречи.

В обед мы видимся с Домной Ивановной мельком — торопится она поспеть разогреть обед, накормить и напоить корову, овец, не отстать на работу.

Перед вечером я покупаю в магазине красного вина и жду не дождусь Ивановну. Хочется немного выпить, посидеть с ней у теплой печки, услышать о ее долгой и, должно быть, нелегкой, но интересной жизни.

Много приходится разъезжать мне, а все не устаю удивляться, встречая таких людей: живут трудно, скромно и как стойко! И, смотря на Домну Ивановну, вспоминаю и мать свою. Сколько перенесла она и в войну, и в трудные послевоенные годы, а все по-прежнему хлопотлива, несмотря на свои бесчисленные хвори, заботлива по-прежнему не о себе, а о нас, наших детях. И трудится, трудится без конца. И, как Домна Ивановна, спокойно-счастливо отвечает всегда:

— Отдохну, когда помру. Успею належаться в могилке-то...

На улице за окном то ли от сине-чернильного неба, то ли еще от чего, снег становится сиреневым, и сиреневость эта, отражаясь, легко разливается, повисает в воздухе. Деревья же, что растут у дороги, четко, как на гравюре, выделяются на этом фоне. И только стволы редких и тонких берез синева-белы, как снятое жидкое молоко.

Постепенно сиреневость повсюду сгущается, синеет, растворяется в неплотной серости сумерек, к вечеру все более темнеющих, потом внезапно и незаметно поглощается чернотой безлунной морозной ночи.

— Ох и темень — хоть глаза выколи, — запыхавшись, вся присыпанная легким снежком, точно только что с мельницы, говорит с порога Домна Ивановна.

Я и не заметил, как она прошла прямо на задворки, дала уже сена корове, овцам и теперь, усталая, отряхнув засох-

шим грязно-белым гусиным крылом снег с валенок, телогрейки, присаживается на лавку. Но сидит недолго — минуту, другую — тут же вскакивает и начинает хлопотать возле печки, готовить ужин, а заметив на столе бутылку вина, всплескивает руками.

— Зачем же вы потратились. Аль промерзли?

— Промерз, Ивановна. На улице вон как ветрено, — отвечаю я. — Выпьете со мной немного?

— Счас потишало. Кура должно к утру пойдет. — На мой вопрос не отвечает, гремит заслонкой, что-то ставит в печь.

Немного погодя спрашивает:

— А вино не дюже крепкое, сладкое?

— Совсем не крепкое. Кагор, — поясняю я.

— Ну тогда маленько выпью за компанию, — соглашается она.

А выпив, она веселеет, выпрямляет слегка уже круглую спину, и как-то отчетливее, явственнее проступает на лице ее былая красота.

— А што — в молодости я была бойкая, завлекательная, — лукаво посмеиваясь, говорит она. — Ухажоры табуном за мной бегали.

Я представляю ее молодой, и как она, нарядная, стройная, идет по улице, а мужики завистливо глядят ей вслед, покачивая лохматыми головами: — Ну и девка выросла у Ивана — царевна!

На матане парни наперебой приглашают ее в круг плясать, а она жеманно поводит плечами, сначала отказывается, потом как бы нехотя, лениво перебирает ногами, плавно идет по кругу и начинает дробить, петь частушки...

Но представляется все это неясно, отдаленно, и я прошу Домну Ивановну рассказать о себе.

— А што рассказывать-то? — отказывается Домна Ивановна. — Жила-то как? А всяко... Нас в семье было восемь душ. Землицы никакой, бедно жили. Не успела очухаться, подрасти, как меня определили в няньки к мельнику. Мужик он был очень лютый, жадный — ни приведи Господь. Помучалась я у него годика три и не выдержала, убе-

136 ла к своим. Апосля батрачила у барина Самохина. А как исполнилось мне семнадцать, папаня и говорит:

— В девках засиделась. Пора и замуж. Это теперь девки и до тридцати лет сидят дома. А по тогдашним временам и в двадцать считались в перестарках, мужики нос воротили. А жениха я и видела-то всего один раз. Но перечить родителям упаси Бог.

Домна Ивановна замолкает, поправляет сбившийся на лоб платок. Взгляд ее неподвижно упирается в печку и долго не отрывается от неяркого пламени догорающих уже углей. Она, должно быть, вспоминает что-то свое и начисто забывает обо мне, о нашем разговоре.

— Дальше-то што? А ничего, — отвечает она, сиюсья вспомнить, о чем говорила перед этим.

— А ничего, — тускло повторяет она. — Мужик мне достался тихий, работной. Детки пошли: Ванюшка-то старшой на ветеринара выучился. А тут эта война грянула. Мужиков-то и забрали на фронт. Остались мы одни бабы. Ну и зачалось для нас одно мучение. И все бы ничего, да мужики мои не все вернулись с войны. Ванюшка погиб на чужой земле. Даже где могилка его не знаю. Поубивалась я, поубивалась, а жить надоть. Старик мой пришел квелый, хворый. Все кых да кых... Пожил годков десять, хату новую поставил и помер. Вот и живу теперь одна. Дочку-то выдала замуж...

Она опять умолкает, потом спохватывается вдруг:

— Вона, стара дура, заболталась, вьюшку забыла задвинуть.

Задвинув вьюшку, она идет в чулан, достает сохранившуюся еще у нее прялку, клочок шерсти и начинает пряхть.

— Внучонкам надо везеночки и чулки связать. Бегают в магазинных, а они куды не прочны, холод пропускают.

— А мне свяжете, Ивановна? — прошу и я.

Носки у меня вигоневые, только что куплены в магазине, но в них, действительно, холодновато при таких морозах, и хорошо бы иметь связанные из шерсти. Я помню, как было тепло и приятно ходить в них в детстве, когда вязала их мать.



— Отчего не связать, свяжу, — обещает Домна Ивановна. И я радуюсь, как ребенок, при мысли, что у меня будут такие носки, что я буду в них ездить в командировки, и не страшны мне тогда никакие морозы.

На улице слышно, как начинает тарахтеть движок у клуба — там сегодня кино. Мимо проходят парни с гармошкой, и голоса их тоже резки и отчетливы в морозном воздухе.

— Может, и вы в клуб сходите? — предлагает Домна Ивановна и вспоминает: — Чтой-то Степанида не идет. Обещалась прийти посидеть в карты поиграть.

В клуб мне идти лень, и я тоже начинаю посматривать на дверь, в окно, ждать Степаниду, хочется и мне поиграть в карты — незаметно скоротать время. Но Степанида почему-то долго не идет, и я начинаю клевать носом, подремывать, начинаю думать, что никакая Степанида уже не придет и пора ложиться спать.

И как только я так подумал — пришла Степанида. И не одна, а со своей, приехавшей из города погостить, дочкой. Я обрадовался: дочка была молода, миловидна, щеки у нее раскраснелись с мороза, были упруги. В Степаниде я узнал соседку, что утром приходила звать Ивановну на работу. Сейчас она была принаряжена, не так закутана и выглядела молодой, чем-то похожей на дочь.

— А ты, Верка, что стоишь? — прикрикнула она на дочь соседки. — В ногах правды нет. Или его стесняешься?

Верка и впрямь застеснялась, что-то пробормотала невнятно и села подальше от меня, в углу под рушниками.

— Ну, как там в городе живется, небось лучше нашего? — спросила Домна Ивановна.

— А что — лучше, — громко ответила Вера и с вызовом посмотрела на меня.

Домна Ивановна почему-то вдруг обиделась, стала ругать городских, Верку.

— Вертихвостки вы все там. К матери, небось, ездешь за помощью — дай того, другого. А мать крутится тут с утра до вечера, горбячь на вас.

— Ну ты, Иванна, зря на нее, — вступилась Степанида. — Она у меня работающая, смирная. А своему дитю почему не помочь.

— А я разве говорю, что лодырь. В городе тоже разные бывают, — примирительно пробормотала Домна Ивановна. — Верку-то я знаю. Это я так...

Она порылась в столе, достала карты.

— Вот сыграйте втроем, а я пока допряду. Чуток осталось.

— Успеешь допрясть, — запротестовала Степанида. — Втроем неинтересно играть.

Домна Ивановна попыталась отговориться, но Степанида была настойчива, неумолима, и Домне Ивановне пришлось уступить.

Игра вначале шла вяло, как-то не клеилась — перебивалась разговорами. Разговоры эти все больше касались дочерей — как им живется и не попался бы Верке плохой мужик — намыкаешься с ним только. Верка краснела, недовольно смотрела на мать, Домну Ивановну, пыталась вставить слово, но они не обращали на нее внимания, покрикивали.

— Сиди, молодая еще знать все. Мы-то жизнь прожили. — Верка замолкала, пристально глядела на карты, а они уже говорили о внуках, о колхозе, о каких-то своих делах.

— А ну вас, с вами неинтересно играть, — обозлилась Верка, глянула на меня, ища поддержки, а я думал в это время тоже не о картах — о ней. Она должно быть догадалась об этом, поспешно отвернулась, хотела встать, но Домна Ивановна поддержала ее.

— И правда, хватит разговоров. Давай-ка поиграем.

Игра сразу оживилась. Степанида начала нервничать, недовольно смотреть на меня — играл я плохо, путал, не понимал ее хитрых, одной ей известных, замыслов, ходов. Наконец, она не выдержала.

— Не, так нельзя. Завтра втроем придем. Да и поздно уже, — стала оправдываться она.

— И взаправду поздно, — согласилась Домна Ивановна. — Двенадцатый час.

— На работу-то завтра заходить за тобой? — спрашивает перед уходом Степанида.

— Заходи, — отвечает Домна Ивановна, а сама уже идет к прятке, усаживается поудобней и начинает опять пряхть.

И долго еще тонко, дремотно гудит, поскрипывает прялка, в такт покачиваются изогнутая тень на стене и сама Домна Ивановна. Клок шерсти тает на глазах.

Допряв, она трудно разгибает замлевшую спину, тень на стене тоже потягивается, достает до потолка. Ивановна убирает прялку, сонно говорит мне:

— Ложитесь спать. Вам затемно вставать. А я посижу, маленько ишшо повяжу.

Мне и впрямь вставать в четыре часа, кругом сугробы, дороги замело, и председатель обещал отправить меня на лошади до шоссе. До автобусной остановки километров пятнадцать, и чтобы успеть, нужно ехать рано. Следующий автобус пойдет только вечером.

Засыпая, я вижу, как металлически-тускло блестят спицы в руках Домны Ивановны, как ловко и быстро мелькают они.

А проснувшись, я слышу, что Ивановна уже на ногах, уже топит печку.

— Чайку горячего на дорогу выпейте, — предлагает она. — Перед дорогой согреться надоть. Кура вона как густо повалила!

На улице медленно и тяжело падали крупные хлопья снега, прикрывая вчера еще зернистые, будто кем посыпанные солью, вспухшие сугробы.

*с. Бельдяжки. 1967 г.*

## Кинь Грусть

**М**не больно на него смотреть в эти минуты.

Худое лицо его, плотно стянутое бледной, никогда уж теперь не загорающей кожей, еще больше вытягивается, каменеет, высохшие от старости руки подрагивают, трясутся, и в выцветших, размытых уже временем, глазах стоят слезы.

— Алексеич! Ты рассуди, Алексеич, — слабым голосом говорит он.

Я не в первый раз слышу эту историю, но никак не могу привыкнуть к ней, поверить, что может быть такое.

— Ну как можно, Алексеич. Глаза ни разу не показал, не навестил за все время, — голос его дрожит, прерывается от обиды, и слезы оставляют узкие влажные полоски на лице, застревают в редкой и мягкой, как тополиный пух, бороде.

Степан Самсонович слегка пьян и жалуется сейчас на родного сына, который уехал на шахты и совсем забыл, бросил его.

— Ладно, Самсоныч, успокойся... Что поделаешь? — неловко говорю я.

Я и не знаю, что сказать, как утешить его. В первое время я возмущался, кипел негодованием, видя, как мучается, переживает Самсоныч, хотел написать его сыну, но оказалось, что и адреса не знает Самсоныч. Адрес можно было бы и узнать, установить как-то, но Самсоныч не захотел.

— Стыдно унижаться-то, Алексеич, — сказал он мне тогда. — Должна же совесть проснуться у человека.

И сейчас я мнусь, не знаю, какие слова найти, чтобы ободрить и поддержать его. До слез обидно мне за Самсоныча: он добр, приветлив, покладист не в меру.

— Мухи не обидит, — говорят о нем в деревне.

Остановился я на житье у Самсоныча случайно. Полонила меня эта деревня своими садами, широкой речкой, густым, заброшенным уже, старинным парком, поразила необычайным, не встречающимся мне ни разу, поэтическим названием — Кинь Грусть. И я решил приехать обязательно сюда в отпуск, пожить, поработать. Председателя колхоза я знал давно, хорошо (вместе когда-то закончили техникум), и как только я приехал, он сразу же повел к себе.

— Вот и располагайся у меня, — весело сказал он.

— Нет, Виктор, — отказался я. — У тебя семья, дети, а мне нужна тишина.

— Да-а, — протянул, помрачнел Виктор. — Куда же тебя поселить?

— Может, к деду Степану? — предположила жена Виктора.

— А верно. Один совсем живет, — обрадовался Виктор и стал пояснять: — Дом у бобыля большой и никто мешать не будет. А продукты — молочка, яичек — выпьем. Верунька подскочет, сготовит когда надо.

— Но это я и сам могу сварить обед, — возразил я.

— Ладно, ладно, — примирительно сказал Виктор. — Пойдем посмотрим, где живет бобыль<sup>1</sup>.

Мне как-то неприятно было слышать это слово, помнил я, как давным-давно у нас в деревне бобылем звали нищего, не имеющего своего угла, клочка земли, старика Никодима и нас, если мы в чем-то провинились, ругали: «Ну, неслух, бобыленок Никодимов». А тут и дом свой большой, и на житье определяют...

— Так... Длинная история, — уклонился, неопределенно ответил Виктор.

Дом Самсоныча и впрямь оказался большим, просторным, но слегка запущенным, не прибранным только.

---

<sup>1</sup>У Даля среди прочих толкований слова *бобыль* есть и такое: «Бобылем зовут и такого крестьянина, у которого нет сына, хотя бы и были дочери». Очевидно, Виктор и другие жители деревни Кинь Грусть в слово *бобыль* вкладывали именно этот смысл, хоть у Самсоныча и никогда не было дочерей.

— А это Веруньке скажу, придет уберет, — Виктор вопросительно посмотрел на меня и, обращаясь к Степану Самсоновичу, спросил:

— Как дела, Самсоныч? Вот постояльца привел к тебе, примешь?

— Дела как сажа бела, сам знаешь, — ответил Самсоныч и, помолчав, приветливо сказал: — Пусть живет — места хватит...

Был он высок, но уже сторблен, как-то старчески слаб. И потом я только узнал, что согнула, подкосила его силы смерть Натальи, которая умерла пять лет назад, внезапный отъезд сына, непонятное молчание его. До этого он был крепок, на работу ходил еще, хоть и шел ему восьмой десяток. Не было у него и передних верхних зубов, и при разговоре он шепелявил, свистел слегка и оттого трудно его понять было вначале.

— Вдвоем и мне весельше будет, — сказал Самсоныч. — Вот с едой плоховато... Сам знаешь, огород никакой и коровы нету.

— Что надо — выпишем, не беспокойся, — успокоил Виктор.

— Энто другое дело, — оживился Самсоныч и тотчас обратился ко мне: — Звать-то как? А по батюшке, отцу значит? Давай, Алексеич, располагайся. Хочешь здесь, а хочешь в горнице кровать поставим.

Горница была завалена какими-то старыми поломанными табуретками, стульями, одеждой и разным, ненужным уже хламом, запылена, грязны были и окна — и свет слабо проникал сюда, — давно уж не чувствовалось хозяйских заботливых женских рук.

— Не обессудь, Алексеич, — засмутился, поник как-то Самсоныч. — Одному недоглядеть, ослаб я. А ране здесь было чисто, прибрано, хорошо. Сын здесь жил при Наталье-то.

— А где сын сейчас? — спросил я, не зная еще всего.

— На Донбассе, — неохотно ответил Самсоныч. И я тогда не обратил внимания на неохотность эту. Не до того мне было. Мне уже хотелось и не хотелось оставаться жить у Самсоныча — подавляли как-то запущенность, нежилой вид

во всем, хоть и тихо было кругом, и приятно и густо зеленел палисадник, и сейчас в нем было свежо и прохладно, и тянуло туда посидеть.

А через полчаса прибежала Вера, жена Виктора и, переодевшись, я стал помогать ей мыть полы, подоконники, протирать окна, деревянные, когда-то оклеенные обоями, стены, выносить все лишнее, ненужное в чулан, и скоро уж не узнать было дом Самсоныча.

— Эх ты, — бормотал он, видя, как преобразается все на глазах, удивляясь, что сохранились еще в сундуке чистые рушники, скатерть, домотканые половые дорожки. — А я ить и забыл об них.

— И хорошо, что забыл, — поругивалась на ходу Вера. — А то давно б спустил за шкалик.

— Энто ты зря наговариваешь, — обижался Самсоныч. Ему неловко было, должно быть, передо мной, в последнее время он и впрямь часто стал выпивать, и хотя пил не много — износился, ослаб когда-то крепкий организм, и хмелел теперь Самсоныч от полстакана водки, но и на четвертинку нужны были деньги, а где их взять? Пенсия совсем мала, всего шестнадцать рублей, и Самсоныч сначала продал овец, кур и стал уже продавать кое-что из добра, нажитого вместе с Натальей. Корову он продал еще раньше — сыну на дорогу. И сейчас ему стыдно было, что Вера говорит обо всем этом вслух при чужом, постороннем человеке. А Вера будто и не видела, не замечала этого.

— Знаю я вас, мужиков, — весело, незлобливо кричала она. — Дай волю — все спустите.

Работала она тоже весело, быстро, все так и спорилось у нее в руках и, казалось, что не устала она ни капельки, а я уже взмок от пота, нагибался с трудом, а она командовала без конца: подай это, принеси то, и мне уж не казалось милым ее круглое, курносое лицо; мягкая толстая коса, то и дело спадающая через плечо, уж раздражала меня и про себя я думал: «Виктор мог найти и получше, помягче характером..». А Вера, будто подслушав это, участливо спросила:

— Устали небось? Скоро конец. Сбегайте вот лучше — нарвите цветов. Луг вон, рядышком. С цветами совсем другое дело будет.

И когда поставили полевые цветы в стеклянные банки, и даже Самсоныч наклонился, понюхал их, всем стало радостно: так чисто, опрятно стало в доме, и я с удовольствием подумал: «Хорошо, что не поддался минутному утреннему настроению, а остался жить здесь, у Самсоныча».

— А теперь и выпить надо, обмыть по-русскому обычаю, — предложил я, доставая из чемодана бутылку водки, взятую на всякий случай. Мы так и не успели распить ее с Виктором при встрече.

— Но это вы с дедом Степаном, а я побегу домой. Поздно уж, — отказалась Вера.

— Нет, нет, вместе надо, — настаивал я. — Всего по маленькой рюмочке.

— Ладно, выпью за компанию, — согласилась, наконец, Вера и тут же сбегала куда-то, принесла яиц, картошки, пучок луку.

И мы выпили по маленькой рюмочке за мое новое житье-бытье и хотели выпить по второй за Веру, за Самсоныча, но Вера твердо отказалась, ссылаясь, что ждут ее дела, и ушла домой.

— Виктора хоть пришлите. Посидим с ним вместе, — крикнул я вдогонку.

— Если дома — скажу, — пообещала она. Но Виктор так и не пришел, должно быть, был еще на работе, и мы с Самсонычем выпили почти полбутылки водки одни. И захмелев, Самсоныч всплакнул, стал рассказывать, как он хорошо, дружно жил с Натальей, с младшим сыном, старший сын погиб на войне, и дом их был полная чаша и не предполагал он, никак не ожидал, что сын уедет, бросит его одного.

— Не в том дело, Алексеич, что уехал. Уезжают и другие, — жаловался Самсоныч. — Не пишет поганец, глазу не кажет. В прошлом годе приезжал в правление за справкой и, не поверишь, Алексеич, не зашел домой. Сидел, ждал — вот-вот появится, самому бежать в правление гордость не позволила. Так и не дождался, Алексеич, не зашел родной сын к отцу. А вить я с ним и не ругался по-настоящему ни разу, Алексеич...

И Самсоныч уже плакал навзрыд, не мог остановиться, а я не знал, что делать, не мог поверить, что может



быть такое. А Самсоныч достал большую, вставленную аккуратно в красную рамку фотографию, но не сына (фотографию младшего сына я так и не видел ни разу и не знаю, какой он), а свою, где он стоит вместе с Натальей после венчания, и я поразился, как красив, молодежато-строен был Самсоныч и как нежны, широки его глаза под широкими же бровями.

— Хороша, Алексеич? — спросил он, показывая на Наталью.

Лицо Натальи напряглось, испуганно застыло перед фотоаппаратом, но и в этой искаженности, ненатуральной неподвижности выделялись ее правильные, какие-то некрестьянские черты лица: прямой с еле заметной горбинкой нос, округлый подбородок, длинное лицо, и была она плечом в плечо с Самсонычем.

— Хороша, — ответил я и спросил: — А почему на стенку не повесишь, Самсоныч?

— При Наталье-то висела, — ответил он. — Потом убрал, мухи стекло засиживают, а протирать — снимать надоть, боюсь разбить. Вот и храню в шкафчике, подальше от греха...

«Да, славная была пара», — подумал я с хорошей завистью.

— Ладноть, Алексеич, слезами горю не поможешь, — Самсоныч достал рушник, утерся им. — Пора и спать. Тебе надоть с дороги отдохнуть.

— Какая там дорога, — запротестовал я. — Совсем не устал.

— Ну мотри. А я полезу на печку.

И Самсоныч залез на печь, устраиваясь там спать, а я вышел на улицу. Только что прошел короткий теплый дождь, и трава, листья на деревьях мокро блестели, розово отсвечивали от затухающего, но широкого еще винного заката. И редкие высокие облака были тоже розовато-серебристы и легки, наполнены светом. И как ни длинен июньский день, но и он подходил к концу, мерк, затухал прямо на глазах, и облачка уже подергивались по краям синевой, потом синели все больше и больше и как-то тяжелели, опускались ниже, и Кинь Грусть плотно и глухо обступала тишина. И в этой тишине далеко было слыш-

146 но, как скрипели, будто терлись о сухое дерево, коростели, требовательно и нахально кричали перепела: «Спать пора, спать...» да на другом конце деревни возле клуба однообразно повизгивала, вякала гармошка и слышались голоса девчат и парней. И подумалось мне почему-то: «Вот так, наверное, ходил на улицу, гулял с девочками и сын Самсоныча. И Самсоныч гадал, которую из них он приведет домой...»

И не хотелось верить, что все так, как рассказал Самсоныч, думалось, что скрыл, утаил он что-то.

Но на другой день, когда я пошел выписывать и получать продукты и спросил Виктора о сыне Самсоныча, сказал, что не могу поверить в это.

— А-а, зараза он настоящая, — зло ответил, обругался Виктор. — Когда заявился за справкой, я ему сказал: что же ты отцу не напишешь, не наведишь его? А он знаешь что ответил? — и Виктор опять зло и матерно выругался. — Вы, мол, не знаете папаню. Начнет проситься к нему, а он взять не может, у него интеллигентная жена, ребенок, и живут они тесно, в двухкомнатной квартире. Понял? Вот он и решил не приезжать и не писать — не расстраивать папаню, он, видишь ли, слез не переносит, сердце у него слабое. Понял, какая зараза?

— А может, и Самсоныч виноват, обидел когда? — предположил я.

— Но это ты зря, — возразил Виктор. — В деревне все на виду, каждая мелочь известна. Да и не такой Самсоныч человек. Он чужого никого не обидел за свою жизнь...

И вот я живу у Самсоныча уже вторую неделю. И убеждаюсь больше и больше: доброте его и терпеливости нет предела. В первые дни он сокрушался все, что не может сходить за ивовыми прутьями, далеко это, сплести новый кубарь, старый совсем сгнил, никуда не годен.

— Да зачем кубарь? — спрашиваю я. — Удочка есть.

— Э-э, Алексеич, удочками не могу, глаза не те — поплавок не видют, — ласково отвечает он. — А кубарь поставить-то не спеша ишо могу.

— Но так я удочками ловить буду, а вы посидите рядом, — говорю ему.

— Э-э, Алексеич, — возражает он. — Тебе с утра работать надоть, зачем отвлекаться... А рыбу-то и ловить спозаранку, когда на корм выходит.

И я сходил, нарезал ивовых прутьев, и Самсоныч вошелся днями, плел кубарь и радуется теперь, когда приносит плотвицу, пяток окуней.

— Вот и рыбки поджарил, — сообщает он, когда я просыпаюсь, выхожу из горницы. — В ней этого, как его...

— Фосфора, — подсказываю я.

— Во, во, — подхватывает он. — Фосфору много. А это очень пользительно для умственной работы.

И он потчует, угощает меня рыбой — сам он почти не ест, боится обделить меня. Но еще более счастлив он, когда мы отправляемся на речку вместе. Говорит он мало, односложно, но ему хорошо, приятно, когда рядом есть человек. Наскучило, надоело ему одиночество. Я воображаю, как тоскливо бывает ему осенью, зимой одному, и тогда идет он к соседям, пропадает там днями, но как ни добры люди — заняты они работой, своими делами, и скажет ему кто-нибудь иногда:

— Не мешал бы, Степан Самсоныч. Шел бы домой...

И как полоснут, будто ножом, его эти слова, как горько ему тогда. И он идет в магазин, покупает (а когда и в долг берет) вина и пьет один — вино помогает забыться ему.

Сейчас Самсоныч и не пьет почти.

— Да рази я люблю эту отраву, — говорит он. — Раньше и в рот не брал. Спроси у кого хочешь...

Последние слова он проглатывает, плохо произносит, и я все уговариваю его поехать в райцентр вставить новые зубы, но Самсоныч упорно отказывается.

— А зачем они, Алексеич? Все одно помирать скоро.

— Это ты зря, Самсоныч. Еще жить да и жить, — возражаю я.

И не менее настойчиво упрашиваю все-таки поехать к зубному врачу. И Самсоныч наконец сдается, благо и ехать недалеко — каких-нибудь десять километров. В деревне каким-то образом узнают, зачем мы едем, и женщины шутят:

— Смотри, Степан Самсоныч, вставют новые зубы — молодку ишо приведешь.

В райцентре я упрасиваю молодую врачиху не гонять туда-сюда Самсоныча, старый ведь человек, а уделить уж ему внимание, сделать все сразу.

— Сразу не получится, — возражает врачиха и объясняет нам, что надо сделать примерку, что-то еще, и Самсоныч никнет, хочет уйти, но врачиха вместе со мной уговаривает его, и Самсоныч неловко садится в кресло, боязливо посматривает на меня, врачиху. В райцентр мы наведываемся несколько раз, никогда не думал, что так сложно вставить зубы, и после долгих сидений, примерок, обточек рот Самсоныча сверкает блестящими железными зубами, и опять нас встречают женщины и весело спрашивают:

— Ну как, Степан Самсоныч? Покажи-ка свои зубы...

И Самсоныч охотно раскрывает рот, горделиво показывает новые зубы — он и сам все еще удивляется, что так ловко и хорошо получилось, никак не поверит, что может теперь даже щелкать орехи.

— Прямо настоящие, — восхищаются и женщины. — Ну, Самсоныч, и жениться можно. Теперь любая пойдет, — не удерживаются, подтрунивают они.

Но подтрунивают как-то ласково, хорошо. Самсоныча любят в деревне, жалеют его. Часто говорят мне при встречах:

— Жалко, что вы допрежь не знали Самсоныча. Видный был мужик и до работы лютый. А как жили с Натальей! Он и пальцем ее за всю жизнь не тронул.

— А ты про печки скажи, — напоминает кто-нибудь при этом разговоре, — почитай в каждом доме печка сложена им.

И все наперебой хвалят его печки: и не дымят они в любую погоду, и тепло дают в комнаты — никто теперь не умеет так класть, говорят, как справедлив и честен был Самсоныч — рубля лишнего никогда не взял за свою работу.

— А уж меньшого-то любил, завсегда в новое обряжал.

И тут же зло, нехорошо ругают сына Самсоныча, колят его на все лады и гадают при этом и никак не отгадают: почему же таким зверем оказался он.

— С виду вроде и неплохой был, — говорит Иван Савельевич, сосед Самсоныча. — Должно жена скрутила в бараний рог. Не дает пикнуть, — предполагает он.

И предположениям этим, догадкам нет конца — непонятно им, людям, видевшим на своем веку и плохое и хорошее — всякое, что может быть в жизни и такое. Да и возможно ли понять подобное? И в конце разговора убежденно говорят:

— Ничего. Отольются волку овечьи слезки. Не простит ему Бог за Самсоныча. Вот подрастет его малец да и поступит с ним так же...

Иногда слышит эти разговоры и Самсоныч. И трезвый, он всегда обрывает их:

— Типун тебе на язык за такие речи, — сердито говорит он. — Рази можно желать такое человеку.

И только когда выпьет, захмелеет от вина, жалуется, ругает сына и он, но ругает не такими злыми, обидными словами. Он все по-прежнему любит его, хоть и не хочет признаваться вслух об этом, и не понимает и не поймет никогда, отчего все так произошло, случилось такое. Не понимаю и не пойму, наверное, и я, хоть и мучительно допытываюсь, ищу ответа. Видел я одиноких матерей и отцов, сохнувших по детям, уехавшим в город, но никогда еще не встречал, чтобы сын совсем бросил, забыл старого отца...

— Э-э, Алексеич, чужая душа человека — завсегда потемки, — говорит Самсоныч.

— Но это не чужая вам, Самсоныч, — возражаю я.

— Стало быть оказалась чужой, — и лицо его напрягается, вот-вот брызнут слезы.

«За что ж такие муки человеку? — думаю я, глядя на Самсоныча. — Ну болезни всякие, смерть родных, близких... Это понятно...»

— Говорят, завтра уезжаешь, Алексеич? — прерывает мои мысли Самсоныч.

Я все оттягивал, не хотел говорить ему об отъезде, знал, что будет он тяжело переживать, сокрушаться — сдружились мы, привыкли друг к другу.

— Ага, Самсоныч, пора на службу, — смущенно, виновато отвечаю я. И мучительно придумываю, как сказать

150 ему лучше, предложить деньги за свое житье у него. Но так и ничего не придумав, грубовато спрашиваю:

— Сколько с меня за постой, Самсоныч?

— За какой постой? — удивленно спрашивает, не понимает он, а догадавшись, укоризненно смотрит на меня, говорит: — Зачем обижаешь, Алексеич?...

— Дружба дружбой, а денежки врозь, — пытаюсь я еще раз грубоватостью скрыть свою неловкость, растерянность. — Костюм, Самсоныч, купите, а то обносились совсем.

От этих слов смущается и Самсоныч. Костюм у него и в самом деле заношен, застиран до невозможности и залатан уж в нескольких местах, и хорошо бы, конечно, купить новый, но сейчас Самсоныч сердито говорит мне:

— Ты того, Алексеич, прекрати эти разговоры. А то я обижусь всерьез.

Я вспоминаю, как так же жалок и сердит бывает Самсоныч, когда встречается со своим одногодком дедом Ефимом. В молодости они, должно быть, дружили, вместе ходили на улицу, на кулачные бои, но сейчас почему-то враждуют. Дед Ефим мал ростом, но крепок, румян ещё, сын у него работает механиком в колхозе, дочь фельдшерницей в медпункте, и он доволен, что уважают они, слушаются его и покупают часто ему подарки: то рубашку, то новые хромовые сапоги... И он при встречах задевает Самсоныча, задает один и тот же вопрос:

— Чтой-то ты, Степан, износился быстро и внутренно, и внешне?

Самсоныч теряется тогда и старается побыстрее разминуться, уйти от Ефима.

— Э-э, Ефим, был ты завсегда дураком, дураком и помершь, — презрительно, на ходу отвечает он.

И я мысленно корю себя, что начал этот разговор: как легко обидеть человека неловкими словами.

— Ладно, ладно, Самсоныч, не буду... простите, — примирительно бормочу я.

А вечером, выпив на прощание, он грустно говорит:

— А не податься ль мне, Алексеич, в богадельню? Все присмотр будет...

Я знал, что ему и раньше предлагали устроиться в дом престарелых, но Самсоныч не захотел туда ехать.

— Помру я там с тоски, — отказывался он. — Слава Богу, свет не без добрых людей. Помогут и здесь прожить остатние годы.

Он и впрямь бы не смог без помощи людей — они помогали и помогают ему во всем: и дров на зиму заготовят, и молока принесут... И сейчас он говорит о доме престарелых так, для видимости — страшит его одиночество, тоска... И вроде рядом люди, а нет их все-таки постоянно под одной крышей, изо дня в день...

Утром Самсоныч провожает меня до автобусной остановки. Свежо и хорошо пахнет от высокой травы, зеленых садов, сизая дымка стоит над отцветающим широким полем ржи, и оттуда сладко тянет медом, а в неподвижном воздухе медленно, как бы нехотя плывет тополиный пух. Кинь Грусть вся белым-бела от него.

— Скоро покос начнется, — говорит Самсоныч. — Приезжай, Алексеич, на покос. Вот когда хорошо-то, бабы песни поют...

— Непременно приеду, Самсоныч, — обещаю я.

На автобусной остановке он неловко обнимает меня, напоминает:

— Ты того, Алексеич, приезжай когда. Не забывай старика.

— Обязательно буду приезжать, Самсоныч, — и в горле у меня першит, застилает глаза.

И я знаю, что не могу я уже не приезжать к Самсонычу, что каждый приезд мой будет для него желанен и необходим...

*Лето. 1967 г.*

## Запах земли

В  
I  
Весна в этом году выдалась ранней, и уже к концу февраля небо стало быстро очищаться от свинцового покрывала, стало наливаться синевой, и снег прямо на глазах начал набухать, сереть, терять свою миткальную белизну, оседать по пригоркам, и появились уже первые проталины, закурились, задымились паром в полдень. С крыш домов повисли, нацелились в землю острые, как пики, мутно-белые с утра сосульки, и Матвей Козлов с опаской поглядывал на них, думал: «Тюкнет по башке такая и хана...» Но думалось ему об этом почему-то весело и приятно. Он всегда с нетерпением ждал прихода весны и уже в январе жадно принюхивался к морозному крепкому воздуху и каким-то своим особым звериным чутьем различал еще далекие и неясные запахи весны. Он шел за овраг, где росли клены, и долго мял, растирал короткими и крепкими пальцами кленовые почки и от них начинало пахнуть молодым зеленым горохом. И Матвей волновался тогда, заходился от этого острого запаха.

Жил Матвей на самой окраине города, и поля, небольшие перелески были совсем рядом, а это тоже было ему приятно. Деревянный дом, построенный еще после войны, слегка уже осел, покосился слегка, потемнел от времени, и Матвею не раз намекали, чтобы продал он его и тогда дадут ему хорошую квартиру в центре города.

— Как никак ты передовик производства. Карточка вон твоя висит на Доске почета, — говорили ему.

Но он наотрез отказывался от этих предложений, хотя жена тоже настаивала, пилила его. И люди удивленно пожимали плечами.



— Чудит что-то Матвей. С огородом, садом не желает расставаться — все лишний рупь в доме, — предполагал кто-нибудь.

«Дураки, — усмехался Матвей, слыша эти разговоры. — Ну и дураки...» Три яблони и груша — вот весь и сад его. Да две сотки земли, на которую Анна понатыкает и картошки, и луку, и моркови, и черт знает что. А в результате и не растет толком ничего. Пробовал он по-своему распорядиться этой землей, но куда там. «Не блажи, — кричит Анна, — все лучок свой». «Какой там к черту лучок, все равно на базар бегают... Ну и дураки..».

Ездить на работу тоже было далеко, почти в самый центр, работал Матвей слесарем на машиностроительном заводе, и не раз он злобился, ругал дорожные порядки, особенно утром и вечером — в часы пик, и мелькала мысль бросить завод и устроиться куда-нибудь поближе. Но куда? Заводов и фабрик на окраине не было, а идти в артель скобяных изделий, что расположилась неподалеку, не хотелось.

— Что я инвалид, чтобы идти в эту шаромыжную контору? — супился Матвей, когда Анна, слыша, как он ворчит и ругает далекую дорогу, духоту и тесноту в автобусах, уговаривала его устроиться туда — и заработает он там не хуже, и работа не пыльная, легче, чем на заводе...

Анна работала там счетоводом.

— Ну и работай, ежели нравится, — насмешливо отвечал Матвей. — А мне с инвалидами не с руки.

Был он крепок весь, слегка приземист и широк в кости, румянец так и пылал на его круглом мягком лице. И не болел, хотя пришлось ему холодать и голодать не раз — прошел он всю войну и трудные послевоенные годы.

— Ну и здоров ты, Матвей, — удивлялись товарищи.

— А это во мне крестьянская жила крепкая, — хвастался он. — Вы и воздуха настоящего не хлебали, земли не нюхали...

Он любил землю, ее запахи и как-то стеснялся, не хотел объяснять, как город чужд и враждебен ему, хоть и живет он в нем, работает вот уже восемнадцать лет.

Родился и жил Матвей в деревне и никогда не думал, не предполагал, что придется жить ему в городе, работать на заводе. С малых лет умел запрягать лошадь, подвозил сено к стогам, зерно на тока, а потом освоил и трактор, и после семилетки не пошел дальше учиться в школу в соседнюю деревню, а поступил на курсы трактористов и не мыслил уже другой работы.

Но война перепутала все на свете. На войну Матвей пошел охотно, без страха и воевал старательно, будто делал нужную и привычную работу, но про себя все ждал конца войны, чтобы вернуться домой, к земле, к своим крестьянским обязанностям. Но не сбылись мечты Матвея. Узнал он, что немцы разбомбили его деревню и погибли все его родные, и сжалось сердце Матвея от боли, от чего-то еще, и стал он молчаливее, угрюмей и воевал еще старательнее — к концу войны был он уже сержантом и имел орден и четыре медали, но где-то тайно надеялся, что цела его деревня, и живы мать с отцом, старшая сестра; и только, когда вернулся и увидел, как разрушена и сожжена деревня и почти все погибли в той страшной бомбежке, поверил, что это правда, и не знал, что делать, куда податься.

— А ты поселяйся в моей землянке, — пригласил дед Афоня. — Заместо своего будешь.

И Матвей поселился у него. От деда Афони узнал все подробности: и как остановилась в их деревне наша батарея и, по словам деда, стреляла с утра до ночи — уж больно укрепились немцы на том берегу речки, а потом прилетели немецкие самолеты — тьма-тьмущая — и зачали бомбить.

— И не приведи такое видеть, — дед Афоня закуривал и отворачивался от Матвея. — Стреляють наши, они — свету белого не видно. Нам, дуракам, бежать куда в поле, а мы забились по углам, а они долбають и долбають... — И дед Афоня задумчиво замолкал, затягивался вонючей, пополам с сушеными лопухами, махоркой, должно быть, вспоминал виденное, переживая его заново.

— И что дальше, дед? — торопил, напоминал Матвей. Не терпелось ему почему-то услышать вновь о гибели деревни, родных, вообразить ту страшную картину.

— А ничего, — угрюмо отвечал дед Афоня. — Гахнуло по нашей хате и очухался я на огороде. Мотрю, а деревни-то и нету. И тишь кругом мертвая. Побег я к себе, а хаты не вижу. Все разворотило. И своих не нашел...

— А мои, дед?

— И твоих не видал — всех в куски, — неохотно и вяло уже отвечал дед Афоня и почему-то добавлял: — И батарею поломали всю.

Дед Афоня вставал и звал идти собирать доски, оставшиеся бревна — строить избу.

— Не в этой же норе жить, — объяснял он. — Возврутятся вот другие фронтовики и зачнется жизнь. Не помирать же... Вон и Марья что-то хлопочить.

В деревне, кроме деда Афони, остались живы Марья Егорова с дочкой, Дашка Рожнова и тринадцатилетний Васька Скорнин.

Но в Матвее будто что надорвалось внутри, не хотелось ему видеть эти развороченные пепелища, строить новую избу — был он скучный и вялый. Стал он навещать к дальней тетке в соседнюю деревню, пропадать там днями, стал чаще и чаще напиваться, и дед Афоня недовольно хмыкал, осуждал его.

— Энто, Матвей, зря ты. Сопьешься ведь.

— А пошел ты, дед, со своими моральями, — неохотно отругивался Матвей.

— Мотри, — неопределенно отвечал дед Афоня.

А однажды, когда уже начали возвращаться другие фронтовики, Матвей, ни слова ни говоря, не попрощавшись ни с кем, уехал в город.

С тех пор и живет Матвей в областном городе, хоть и не любит его. Не привыкнет он никак к его духоте и тесноте, к каменным запахам — нужен ему простор, запахи такой близкой и понятной земли, деревьев, трав... И в первое время, работая на стройках, живя в общежитии, он все тосковал по родным краям и часто по утрам выбирался на окраину и неотрывно, до слез смотрел на бескрайние холмистые поля, сизодымные вдали леса, на песчаные поспевающие хлеба и вдыхал и не мог надышаться чистым, слегка слад-

156 коватым от трав, воздухом, и хотелось ему тогда все бросить и тотчас уехать, вернуться опять в деревню, но он пересиливал себя, неохотно возвращался назад, на работу.

И когда женился на Анне, уговорил ее не дожидаться казенной квартиры — им вот-вот обещали дать, а построить свой домик на окраине — поближе к лесу, земле. А поселившись на окраине, Матвей повеселел, ожил как-то, посадил на приусадебном участке грушу, яблони и собирался посеять горох, немного ржи, а Анна заспорила, заругалась с ним, и Матвей, поупрямясь, поспорив немного, сдался — он любил Анну. И опять стал рано по утрам перед работой выходить за дом в поле, к оврагу, где росли клены и березы. В последние годы опять напала на него жгучая тоска по своей деревне, по земле — хотелось ему пахать, сеять, делать привычную, но теперь далекую и оттого еще больше желанную крестьянскую работу.

## II

Вот и сегодня Матвей поднялся чуть свет и, стараясь не разбудить жену, сына, быстро оделся и вышел на крыльцо. Утро было теплым, не морозным, и капель остро клюнула его в макушку. Матвей вздрогнул, посмотрел наверх, а там уже нависла, как прозрачная изумрудная серьга, другая, и он ступил в сторону и радостно, с удовольствием засмеялся, а капли дробно и часто чмокали о доски, о тяжелый снег, и там, где они падали, снег рябел, далеко и изломанно тянулась темная пунктирная линия.

«Скоро уж и жаворонки, скворцы прилетят», — отметил Матвей и зашагал по узкой тропинке в поле. Тропинка была утоптана, плотно-тверда, но и на ней сегодня оставались темные, отчетливые следы от ботинок Матвея, стала наполняться влагой и она. И острее, резче запахло прелью от проталин, которых с каждым днем становилось все больше и больше. И запахи эти тревожили, бередили Матвея. На душе было радостно и грустно одновременно. Весной часто виделась ему родная деревня и как там сейчас хлопочут на тракторном стане, стучат молотками, ключами — ремонтируют

трактора, готовятся к выходу в поле. Вспоминал он, как когда-то и сам бегал, ругался, ремонтировал свой старенький трактор, и ему страстно всегда хотелось первым выехать в поле, проложить первую борозду.

«Земля у нас жирная, богатая... Воткни оглоблю — и вратет она», — Матвей усмехался своим мыслям и рвал кленовые почки и все нюхал и не мог нанюхаться — так сладко и хорошо они пахли горохом.

Вспоминал он и как дважды ездил к себе в деревню, и оба раза его звали, уговаривали вернуться назад. Особенно старался председатель — рабочие руки нужны были позарез — колхоз отстраивался, набирал силу, и председатель предлагал:

— Хочешь, бригадиром тракторной бригады поставлю, а?

Но в первый раз, Матвей и сам не предполагал, не ожидал, так заныло сердце при виде пустого, заросшего уже места, где когда-то стоял их дом, так вообразилось все, что навернулись слезы, и он, переночевав у деда Афони, рано утром уехал и дал себе слово — больше никогда не приезжать. Было это давно — лет пятнадцать назад.

Но не сдержал своего слова Матвей, повстречал земляка и, выпив с ним, завспоминав прошлое, забыл обо всем, взял отпуск на заводе и уехал. Деревня поразила его — он почти не узнал ее — так разрослась, отстроилась она, забелела шиферными крышами, таких домов до войны и в помине не было. И только изба деда Афони выделялась своей старостью, ветхостью. Дед Афоня тоже был уже древен, старчески легок, но бодр и шутлив еще, хоть и двигался мало, все больше сидел на завалинке.

— А-а, Матвеюшка, — узнал, засуетился он. — Заходи, заходи, дорогим гостем будешь. Аль не ндравится, богаче к кому хочешь, — насупился, обиженно спросил он, видя как замешкался Матвей, засмотрелся по сторонам.

— Ну что ты, дед, — ответил Матвей. — В отпуск вот приехал, примешь пожить?

Ему стало еще радостней, что видит он живого деда Афоню, свои родные места, узкую, металлически по-

158 блестящую на солнце речку, в которой он чуть не утонул в детстве, а теперь она должно быть мелка и не так велика, как представлялось, вдыхает знакомые, слегка уж позабытые запахи навоза, полыни, теплой земли, чего-то еще... Он ждал, боялся, что при встрече с дедом Афоней, с местом, где когда-то стоял его дом, опять все вспомнится, станет больно. Но боль не приходила, залечилась от времени...

— Так как, дед, примешь? — весело переспросил Матвей.

Дед Афоня тоже повеселел, оживился, видя, что Матвей не шутит, говорит всерьез.

— А ты не мотри, что хата маленькая, не глазастая. Двоим нам места куда как хватит. Давай проходи, освежись с дороги. А я сметаюсь к Марье, яичков возьму.

— И Марья жива? — удивился Матвей. Он как-то забыл о Марье Егоровой.

— Кхи, кхи, — закихикал тонко почему-то дед Афоня и восхищенно пояснил: — Мужика — кривого Емельяна из Сутырок приняла к себе. Дочку выдала замуж и не стерпела одна, значит, блудница.

И дед Афоня опять зашелся смехом — смеялся он долго, до слез, говоря при этом:

— Она, Марья, куда млаже меня, крепка ишо.

«Сколько же ей лет? — вспоминал Матвей. — Деду Афоню уже под сто, а ей...» Но так и не вспомнив, пошел в дом, а дед Афоня мелко затрусил к Марье. Вернулся он скоро, неся в картузе десятка три яиц, бидончик с молоком.

— Марья-то в гости звала, — тут же сообщил он. — Но пока отказал, отдохнуть с дороги надоть. Их, звунов, объявится — дай только к вечеру возвратятся с работы.

И дед Афоня угадал. Вечером, услыша о приезде Матвея, пришли одноклассники Матвея и постарше пришли, некоторых с трудом уж узнавал Матвей, и тесно, душно стало в маленькой избе, и пришлось стол, табуретки вынести на улицу, кто-то сбегал за другим столом, принес стулья и долго, до поздней ночи, шло веселье, разговоры, воспоминания, и все наперебой приглашали, звали в гости к себе. И Матвей был счастлив, хмелен не от

водки, хоть и выпил он много, а от разговоров, криков этих, многочисленных горячих объятий. И хотелось ему не уезжать уж больше отсюда, а остаться совсем.

«Уговорю Анну, продадим дом и переедем», — думал он.

На другой день он опять гулял, ходил в гости и всюду его встречали с почетом, хорошо, а на третий день не выдержал — попросился на трактор.

— Тянет попробовать, — смущенно пояснил он. — Не отвык ли...

Была середина августа, и уборка подходила к концу, и вовсю уже пылили трактора, сеялки — пахали зябь, сеяли озимые. Дни стояли жаркие, сухие и пряно пахло от зеленых еще конопляников, горячо и густо — от скирд соломы, и Матвей ненасытно впитывал эти запахи и днями пропадал в поле, пахал, сеял вместе со всеми.

— От дорвался, как с голодухи, — сердился дед Афоня. — Ты что — отдыхать аль работать приехал?

Но сердился не всерьез, скучно ему было оставаться одному в деревне и хотелось побыть с Матвеем, поговорить о разном, походить с ним в гости, в лес за грибами.

— Ну не ворчи, дед, — устало оправдывался Матвей. — Сходим еще в лес...

В первые дни трудно ему было все-таки целый день высиживать на тракторе — отвык он от жары, пыли, которая тучей поднималась от малейшего ветерка и плотно накрывала трактор, его и никуда от нее нельзя было деться. И Матвей пропылился, почернел весь и вечером с удовольствием бежал на речку — речка и впрямь обмелела, была не так глубока, как когда-то, но вода в ней была прозрачно-чистая, дно песчано, и Матвей ложился на живот, громко фыркал, гудел от наслаждения, и похож он был в эту минуту на ребенка.

Приходил на речку и дед Афоня, сидел, подремывал на берегу, смотрел на Матвея.

— Ишь разошелся, силов ишо много, — ласково бормотал он.

А Матвей и впрямь будто помолодел, еще больше окреп от полевого воздуха, встреч с родными местами, дедом Афоней, Марвей, со всеми...

— Дед, иди купаться! — озорно кричал он.

— Э-э, годы не те, утопну, — отказывался дед Афоня.

Так быстро и незаметно пролетел отпуск и нужно уже было возвращаться в город, и Матвей загрустил, опечалился вновь — не хотелось ему расставаться с родными местами, землей, уезжать из деревни.

Вечером, перед отъездом, опять пришли проститься почти со всей деревни и, выпив, захмелев от водки, попев песни, пообнимаясь с Матвеем, стали звать:

— А вернулся бы ты, Матвей...

— И-и, дураки-то, — запротестовала Марья Егорова. — Молодые вон в город отлетают, а он сюды... Право, дураки.

— А ты не балабонь, блудница, — перебил дед Афоня. — Не встрейвай в мужчинские разговоры.

И уж было начала разгораться ссора, за Марью обиделся, вступился кривой Емельян, но тут пришел председатель, весело поздоровался со всеми, с Матвеем отдельно, загудел басом:

— На-ка получи свои сто рубликов. Распишись вот только тут.

И он достал из кармана помятую ведомость, и все расступились, освобождая место на столе Матвею, и Матвей засмутился, удивленно спросил:

— Какие деньги? За что?

— Как — за что? — удивился и председатель. — Работал ты на тракторе иль нет?..

— Ну это я так, для своего удовольствия, — все еще смущаясь, ответил Матвей.

— А это нас не касается. Напахал ты наравне с нашим лучшим трактористом Иваном Зайцевым. Вот тебе и удовольствие, а колхозу польза.

— Да ну! — восхитился дед Афоня. — Я завсегда говорил, что у Матвея моя крестьянская хватка. — И требовательно приказал:

— Бери, бери, Матвеюшка, не краденые вить.

И Матвей тотчас послал в сельмаг за вином, а остальные хотел отдать деду Афоне, но тот упорно отказывался, не хотел брать.



— Обирала я что ль? Пензию получаю, — отнекивался он.

— Я же жил у тебя, пил, ел, — настаивал Матвей.

Наконец они договорились, разделили деньги пополам. Прощаясь, председатель все уговаривал Матвея вернуться в колхоз, намекал, как хорошо ему устроит работу и дом поставят, не дом, а целый дворец, с коридором, террасой — лучше, чем в городе.

— Мастерские какие строим — комбайны, трактора, машины теперь свои, ремонтировать нужно, детали нужны. А ты специалист хороший, вот и будешь мастерскими заведовать. На оклад не обидишься. Переезжай, Матвей Петрович, а?

И Матвей неопределенно обещал, что подумает, поговорит с семьей, на заводе — боялся он, что Анна не захочет, не поедет в деревню, хотя и думал про себя: «Уговорю. Не могу больше в городе. А как уговорю — и приеду. А сейчас что зря болтать...»

— Поговори, Матвей Петрович, поговори, — просил председатель. — А с заводом я сам улажу.

Ему очень хотелось, чтобы вернулся Матвей, молодые неохотно шли работать трактористами, все больше смотрели на город, норовили уехать туда, а хорошие кадры позарез были нужны колхозу.

Но Анна, как и предполагал Матвей, наотрез отказалась переезжать.

— Ты что — ополоумел? Бросить дом, работу... И думать не смей, — кричала она громко, долго.

Матвей пробовал сказать, что и дом там колхоз построит хороший, и работа будет не хуже, и что не может он уже в городе, на заводе, нужна ему земля, ее запахи. Но Анна и слышать не хотела, не понимала его тяги к земле.

— Вон и нюхай ее сколько хочешь на огороде, возись с ней, если надо.

— Но, Анна, — возражал Матвей. — Я не об этой земле говорю, а о настоящей...

— Что ты заладил все одно и то же, — обрезала, не давала до конца договорить Анна. — Выкинул бы эту блажь из дурной головы, о Витюшке лучше подумай.

— А что о нем думать, — начинал сердиться Матвей. — Не маленький — техникум кончает. Сам о себе подумает.

Не понимал и он Анну. Выросла, как и он, тоже в деревне, отец с матерью до сих пор живут там у старшего сына, приезжают в гости, Анна иногда ездит к ним, но ездит неохотно, в три года раз, а то и реже — забыла она деревню, быстро отвыкла от нее. Когда-то стройная, чернокосяя, в последние годы она как-то раздалась, погрузнела. Давно уж и отрезала косу, завивается колечками и красится до сих пор, хоть и недавно стукнуло ей сорок пять лет. Но и такую любит ее Матвей по-прежнему. Любит и Анна его, но любит как-то эгоистически, поубавилась, пообтерлась ее любовь от времени. Раньше она была готова идти за Матвеем на край света — пожелай, захоти он этого.

— И не уговаривай, не поеду, — устала она под конец их ссоры.

И Матвей затаился, притих, не покидая мысли, что когда-нибудь он уговорит, убедит все-таки Анну переехать в его родную деревню. «Капля и камень долбит», — подумал, усмехаясь, он тогда.

«Может и камень долбит, но только не Анну», — Матвей вспомнил, как он совсем недавно встретил председателя колхоза на областном совещании передовиков и тот обрадовался, спросил:

— Не надумал еще, Матвей Петрович? Ждем, ждем...

— Да вот супруга не отпускает, Павел Семенович, — грустно ответил Матвей. — А куда же иголке без нитки.

— А ты потяни покрепче, может и вытянешь.

— Пробовал, не получается, — огорченно развел Матвей руками.

— Ну смотри. Надумаешь — всегда рады встретить, — заверил на прощание председатель.

И Матвей снова попробовал завести разговор о деревне, о переезде туда, и снова Анна была непреклонна.

— Выкинешь ты эту блажь из головы аль нет? — зло заорала, позабывшись, обмолвилась она по-деревенски, хотя всегда старалась говорить на городской манер.

Пригрозил было Матвей:

— Уеду один.

— Ну и уезжай, скатертью дорога, — не испугалась Анна. Знала она, что не мог он без них никуда уехать.

И сейчас, возвращаясь, пора уж было на работу, надышавшись свежим воздухом, кленовыми почками, оттаявшей и оттого еще более пахучей землей, он думал: «Что же делать? Земля так и тянет к себе, и не может он перебороть эту тягу... А может, и права Анна, блажь на себя напустил. Восемнадцать лет, а с войной и больше, прошло, а он все никак не истребит в себе крестьянский дух». Где-то далеко, но отчетливо затикало радио, и диктор четко, будто рядом, произнес: «Семь часов — московское время...» Матвей вздрогнул, посмотрел на часы и заторопился, так и не додумав своих беспокойных и тревожных дум.

### III

Анна уже встала, встретила его насмешливо.

— Опять, блажной, ходил в поле. На работу вон опоздаешь...

Матвей ничего не ответил, молча засобиравшись, выпив на ходу чаю.

— Яйца и колбаса на тумбочке, не забудь взять, — напомнила она.

Матвей не любил ходить в столовую, стоять в очереди и обед брал из дому.

На автобусной остановке было много народу, и автобусы были переполнены, забиты до отказа — люди висели на подножках, и давка стояла страшная. И Матвей пропустил сначала один, потом другой автобус, все ожидая посвободнее. И впервые за много лет опоздал на работу, и в цехе заметил, как удивленно покашливают глазами провожают взглядами его — такого не случалось еще с Матвеем Козловым. Обычно он рано, раньше всех приходил на работу, но Матвей будто и не замечал этих взглядов, был он сегодня хмур и как-то зол, но хмур не оттого, что опоздал на работу, а от какого-то внутреннего беспокойства, беспричинной тоски, которая больно давила на сердце, томила всего.

— Матвей Петрович! — окликнул его мастер.

«Сейчас замечание сделает, что опоздал», — вяло подумал Матвей, а мастер сказал:

— Парторг тебя вызывает.

— Скажи — в обед зайду, — раздраженно ответил Матвей. Ему никуда не хотелось идти, разговаривать, а хотелось побыстрее стать за верстак и работать, работать, позабыв на время свои думы, все.

— Никишин просил сейчас зайти.

— Не знаешь — зачем так спешно? — спросил Матвей.

Мастер пожал плечами, и Матвей, так и не приступив к работе, пошел в контору.

— А-а, Матвей Петрович, заходи, — ласково встречает его парторг, усаживает на стул. — Как живешь, Матвей Петрович?

— Ничего, хорошо живу, — отвечает Матвей, а сам думает: «Чего это он о жизни заговорил, будто не знает...»

— Хорошо, значит, — повторяет парторг. — Да-а, рабочий класс неплохо живет, — он потирает руки, задумчиво смотрит на Матвея. — А вот в деревне еще не совсем хорошо...

— Смотря где, — возражает Матвей. — В свою ездил в прошлом году — хорошо живут.

— Это ты правильно заметил, — подхватывает, оживляясь, парторг, а Матвей опять не понимает, почему это парторг заговорил о деревне, о колхозной жизни.

— Ты газеты регулярно читаешь? — внезапно спрашивает парторг.

— Читаю, а что? — спрашивает и Матвей.

— А то, что партия сейчас уделяет деревне особое, большое внимание, можно сказать, огромное внимание, — быстро, будто читает лекцию, говорит парторг.

— Это я и сам знаю, — усмехается Матвей. — Ты мне политграмоту не объясняй. Скажи, зачем вызвал?

— А вот и за этим вызвал. В райкоме сказали, чтобы мы посмотрели, кто раньше работал в деревне, а теперь на заводе и, значит, отобрали лучших, самых сознательных, — парторг на минуту останавливается, смотрит на Матвея, он боится, что Матвей сейчас встанет, не будет слушать, у него семья, большой стаж работы, и они не могут, не имеют права направить на работу в деревню.

Но посылать кого-то нужно, и кандидатура Матвея самая подходящая: и коммунист, и дисциплинирован он, и слесарь хороший, один из лучших в цехе, и в селе работал трактористом, и там как раз нужны специалисты.

— Ты, Матвей Петрович, пойми правильно, — мнется парторг. — Мы тебя очень ценим и уважаем, но...

— Значит, в деревню хотите послать? — перебивает, спрашивает Матвей.

— Не мы, а партия, — осторожно поправляет парторг и добавляет: — Конечно, при твоем согласии.

И Матвей на глазах веселеет, оживляется, и парторг удивленно смотрит на него, думал он, что придется долго и трудно уговаривать и даже пригрозить партийным взысканием... Да-а, плохо он еще знает своих людей.

— А в свою деревню можно? — спрашивает Матвей.

— Конечно, если там требуются специалисты, — отвечает парторг.

Матвей еще больше веселеет, воображая, как обрадуются председатель, дед Афоня его приезду, и возбужденно говорит:

— Председатель когда еще звал. Обещал зав. мастерскими поставить.

— Договорились, значит, — радуется и парторг. — Документы сегодня можешь оформлять. Указание дано.

И тут Матвей вспоминает Анну, и лицо его мрачнеет, и он просит парторга:

— Ты бы, Палыч, с моей Анной поговорил. Так мол и так, партийное поручение, нельзя отказываться. А то она ведь скандал поднимет, может и не поехать.

Парторг обещает поговорить с Анной, поехать вместе с Матвеем к нему домой.

А оформив документы, получив направление в райкоме, они едут на заводской машине к Матвею, и уже перед домом Матвей просит опять:

— Ты, Палыч, понастойчивей с Анной-то. Ежели надо — повысь голос.

— Не беспокойся, уладим, — бодро обещает парторг.

Но уладить оказывается трудно. Анна орет и на Матвея, и на парторга, грозит пойти к директору, в рай-

166 ком... И на следующий день, отпросившись с работы, и впрямь идет на завод, в райком, но возвращается злая, вся в слезах и ругается еще больше.

— Бюрократов развелось. Деревня — важный участок, — нарочно гнусит, передразнивает она кого-то. — Вот и ехали бы сами в эту деревню.

— Зря это ты, Анна, — пробует вмешаться, успокоить ее Матвей.

— А ты бы помолчал, блажной, — яростно накидывается она на Матвея. — Сам небось напросился, дурак. Ну и поезжай, а мы с Витюшей здесь останемся.

— Как же так, Анна?..

— А так. Поживешь один, надоест — приедешь.

А на другой день она помогает собрать вещи, укладывать чемоданы и сердито приказывает:

— Ты там получше у кого остановись, чтоб и постирать могли и накормить вовремя...

И втроем идут на автовокзал.

— Дом ведь обещали построить, — говорит по дороге Матвей. — Обживать надо бы вместе, Анна...

— Посмотрим, — неопределенно отвечает она.

На автовокзале уже стоит автобус, ждет отправления, и они быстро, поспешно обнимаются, и уже из автобуса Матвей видит, как плачет Анна, помахивает ему рукой, и он машет ей, сыну в ответ, а глаза его туманятся, наполняются слезами, и он растроганно думает: «Хорошие они у меня. И Витюшка уж вырос, скоро на работу пойдет. А Анна посердится, посердится и приедет. Построят вот дом и приедет...»

*с. Голунь. 1968 г.*

## Лебедушки

**В**се началось хорошо. Звонили колокола, съезжались гости, родственники. Венчался молодой писатель Иван Бунин с гречанкой Анной Цакни. В церкви было много народу, было душно, пахло ладаном, свечками, отвесные золотые лучи света празднично озаряли лица гостей, жениха, невесты. Сладко пел церковный хор, густо и приятно басил дьякон, но Иван Бунин, обычно любивший церковное пение, службу, сегодня не замечал всего этого, был занят другим. Тонкое нервное лицо его было возбуждено, темно-синие глаза блестели и все время смотрели в сторону. Там стоял его новый тесть Николай Петрович Цакни. Перед этим Николай Петрович и Бунин много говорили и спорили о России, о ее народе, и что придавлен и забит он необыкновенно, и нищает, разоряется матушка Русь не по дням, а по часам.

— Мужика разбудить, поднять надо, — горячо восклицал Николай Петрович.

Слыл он революционером, народником и даже, кажется, одно время был в опале, в ссылке. Но народа, мужика он по-настоящему не знал и все представлял себе отдаленно, розово. И Иван Алексеевич не верил в его народнические проповеди, не верил он, что только революция может что-то изменить, переделать мужика, жизнь. Деревню он знал лучше. Но и он смутно чувствовал, что так, как сейчас, продолжаться не может, что-то нужно делать, нужны какие-то меры. Какие? Что? Мысли эти не дают покоя и просят выхода, столкновения. Иван Алексеевич страстен, нетерпелив, порывист.

И как только заканчивается венчание, Бунин тотчас оказывается возле Николая Петровича, и они опять увлеченно начинают говорить о мужике, о России, ругают правительство и высший свет, начинают спорить. Николай Петрович тоже горяч, тоже увлекается, и они уже забывают о свадьбе, о гостях и что Бунину непременно нужно быть с молодой, и выйдя на парпет, не замечают ни карет, ничего, продолжают идти, продолжают спорить.

Дома их встречают разгневанные родственники, заплаканная жена, и на свадебном пиру разгорается скандал. Начинает скандал его новая теща.

— Ах, Иван Алексеевич, вы совсем не любите нашу прелестную кроткую Аню, — томно, нараспев говорит она.

Иван Алексеевич пробует оправдаться, сказать, что произошло все нечаянно и не знал он вовсе, что ему непременно надо было ехать с молодой, со всеми вместе. Пробует вмешаться и Николай Петрович, но все напрасно, все безуспешно.

— Вы не уважаете и нас, и наших гостей, — уже визжит Элеонора Павловна.

— Да, да, это подло так поступать с вашей стороны, — дружно вторят многочисленные родственники.

Взбешенный, доведенный до крайности, Бунин покидает столовую, запирается в гостиной и не выходит до утра.

Так несчастливо заканчивается так хорошо начавшаяся свадьба. Так несчастливо закончится и их совместная жизнь с Анной Цакни. Но это произойдет потом, несколько лет спустя.

А на другое утро, помирившись, они укладывают вещи и уезжают в свадебное путешествие. Едут они к многочисленным родственникам — грекам в Балаклаву, в Крым, потом в Севастополь, Ялту, потом в Москву. И всюду его жена имеет успех, всюду восхищаются ее смуглой красотой. И Иван Алексеевич забывает свадебную ссору, молодящуюся и говорливую тещу, Николая Петровича, все...

Но месяц прошел быстро, незаметно и уже нужно было возвращаться домой в Одессу, уже нужно было работать,



писать. Карьера его писательская только-только началась и виделась ему долгой, блистательной. Верил в себя он, как никто.

Приехали в Одессу Бунины радостные, оживленные, тотчас нанесли визиты знакомым — упростила об этом их Элеонора Павловна. Была она приветлива, как всегда говорлива, много смеялась. На другой, третий... день опять пришли гости, опять было шумно, а Бунину уже хотелось уединения, тишины, уже хотелось работать, но скоро он понял, что заняться литературным трудом он здесь по-настоящему не сможет.

Элеонора Павловна оказалась не менее честолюбива, чем он. Мнила она себя знатоком музыки, искусства, постоянно устраивала в доме оперные репетиции и, развываясь на диване, томно повторяла:

— Я ужасная театралка, я, знаете, такая театралка...

А ему нужны были тишина, покой.

Театралкой становилась и Анна. По приезде она как-то сразу отдалась, стала невнимательна, беспощадно безучастна к его замыслам, надеждам. И когда он начинал упрекать ее, говорить, что она переменялась, что ей безразличны и он, и его творчество, она неизменно отвечала:

— Все-то ты недоволен мной. Пооди ко мне... поцелуй.

И он целовал ее, но целовал неохотно, холодно — мало ему уже было физической близости, ее смуглой красоты. Все чаще и чаще уходил он из дому в порт, к морю, к художникам, подружился с Куровским, Нилусом. С ними ему было близко и приятно.

Все чаще и чаще Бунин стал думать о деревне, воображать Огневку, томительно-тихие вечера, сладкое цоканье соловьев, зеленовато-бледные, долго, почти до утра, не гаснущие закаты, вяканье гармошки и как, старательно и дробно топоча по твердой, прибитой земле, пляшут девки, поют задорные частушки. Стал он воображать дорогу, глянцевитые, сухо позванивающие овсы, сизо-зыбкие дали, пухлые, похожие на разрывы от снарядов, облака, серую и самую любимую им птичку овсянку, и ему страстно, до боли захотелось в деревню, к своим. Стал он искать предлога уехать, стал часто ссориться с тещей.

«Пустая и вздорная актерка, — злобно думает он каждый раз, слыша, как теща, гости репетируют новую оперу. — И эти жалкие, претенциозные потуги играть. Вам бы в деревню — посмотреть, как водят хороводы бабы, как играют «Лебедушек».

«В деревню, скорей в деревню, — окончательно решает Бунин. — Там только можно отдохнуть, послушать настоящие русские песни, заняться настоящим делом». А решив, он веселеет, оживает, и скоро находит случай уехать.

В поезде он садится возле окна, и внутри у него что-то обрывается, сладостно замирает: он любит дороги, мягкое покачивание вагона, любит подолгу, пристально смотреть, как мелькают навстречу безлюдные станции и полустанки, металлически-темные речки, желто-песчаные хлеба... И все это через минуту исчезает, остается позади. И грустно думать, что так и в жизни — все с годами стирается, уходит, исчезает, и не успеешь оглянуться, как наступит старость, смерть, и хорошо, если жизнь была интересна, богата встречами, событиями и ты успел что-то сделать, оставить какой-то след после себя.

Все вышло так, как он представлял. На станции в тени от акации стояла лохматая пузатая лошаденка, запряженная в старую, уже разбитую телегу. В телеге, свесив босые грязные ноги, дремал, посапывая плоским носом, мужик. Был он горбат, раскос, давно нечесан.

— За полтинник довезу, — буркнул он угрюмо, протирая глаза спросонья.

Не торгуясь, Бунин быстро сел в телегу, и, громыхая, скрипя колесами, шатаясь из стороны в сторону, телега покатила в Огневку. Полевой ветерок ласково касался лица, приятно охлаждал щеки, сладко пахло спелой рожью, теплой землей, сладко колотилось сердце от близкий встречи. В поле темнели косяками мужики, широко и солнечно блестели косами, и после них оставались пустые полосы желтого жнивья, открывая новые виды, новые дали.

Дома ему радостно сказали:

— И чудесно, что вовремя приехал. Завтра престольный праздник.

— Как завтра? — не поверил, переспросил он. Все у него от радости затрепетало, заныло. Значит, завтра он увидит на лугу нарядных баб, мужиков, услышит их песни.

— Да, да, завтра, — весело подтвердил Евгений.

— И в Торцово тоже? — спросил Бунин.

— Да, и в Торцово, — опять подтвердил Евгений. В Торцово жила давняя и хорошо знакомая Бунину Настя Карева, к которой он еще гимназистом ездил не раз и не раз слушал ее удивительно мягкий голос, ее удивительно старинные песни.

— Тогда едем немедленно, тотчас в Торцово, — весело объявил Бунин.

— Как в Торцово? Ты же с дороги, устал, — дружно запротестовали родные.

— И поздно уже, а ехать десять верст, — запротивился Евгений.

— Нет, нет, едем в Торцово к Насте Каревой, — настаивал Бунин и мечтательно, тихо произнес: — Давненько я не слышал ее дивных песен.

И, обратясь к Евгению, сказал:

— Запрягай лошадей.

Евгений же еще противился, еще не хотел ехать.

— А где ночевать будем? Помещики Русиновы уехали и заколотили свой дом. Теперь там только сторож живет.

— Вот и чудесно, — обрадовался Бунин. — Попросимся у него переночевать.

В Торцово встречает их все перебивающий остросладкий запах белого налива, антоновки. Село потонуло в садах и зелени. И только что было сухо, пыльно, а здесь свежо и приятно. Какая-то старушка собирает в саду падалицы, они спрашивают: «Дома ли Карева?» — и старушка охотно поясняет: «Дома, барин, дома», — и угощает их падалицами.

— Они, барин, скусные, чисто мед.

Бунин охотно берет и с наслаждением вгрызается в сочные бледно-желтые от лежания на земле яблоки.

Настя Карева встречает их радушно, гостеприимно, охотно и подробно отвечает на расспросы Бунина.

— Живу-то как? А ничего, Иван Ляксеич, живем помаленьку. Мужик вон с сыном в поле жнут, а я дома, все по хозяйству хлопочу. Вон этих проклятущих доглядываю, — она отгоняет маленьких повизгивающих поросят.

Поросята и большая рыхлая свинья находятся тут же в хате, рядом с печкой, на которой спят хозяева. И пахнет от этого в хате удушливо, кисло-остро, неприятно.

— А куды их денешь, — поясняет она. — Счас еще ничего. Зимой хуже, тесней бывает. Овцы окотятся, корова отелится и прямо чистый ад настанет.

Настя приглашает их в горницу.

— Тут чище, просторно, — говорит она и спрашивает:

— А вы, Иван Ляксеич, как живете? Не женились ишо?

— Женился, Настя, женился, — смеется Бунин. — А песни все по-прежнему люблю. Поете?

— Песни-то? Как же — ишо играем.

Бунин сразу же оживляется, глаза его начинают блестеть, и он просит:

— Настя, голубушка, может, что-нибудь споете?

Карева сразу же соглашается и начинает тихонько и хорошо напевать и тут же поясняет:

— Это швыдкие, а когда собираемся — и протяжные играем.

Бунин доволен и радостен и уже нетерпеливо перебивает:

— Настя, а вы не поясняйте. Спойте лучше что-нибудь грустное, а? Хорошо бы «Ничто в полюшке не колышется».

Насте уже под пятьдесят, но она подвижна и с виду еще молода. Лицо ее, полное и доброе, с густым румянцем на щеках, краснеет еще больше, руки суетливо мельтешатся, и она вдруг спохватывается:

— Батюшки святы, что же вы стоите? Присаживайтесь, а то я баба-дура заговорила, заболталась совсем.

Евгений усаживается в углу под образами, Бунин садится рядом с ним, а Настя как-то сразу каменеет, замирает неподвижно у окна и тихонько, едва слышно начинает:

*Ничто в полюшке не колышется,  
Только грустный напев где-то слышится...*

Потом голос ее приближается, крепнет, все больше и больше тоскует он:

173

*Пастушок напевал песню дивную,  
В этой песне вспоминал свою милую.*

И Бунин, закрыв глаза, побледнев, видит уже широкий лилово-сиреневый луг и молодого высокого пастушка с пшеничными кудрями, нежным лицом, синеглазого, и как он, медленно бредя за стадом, играет протяжно на рожке, вспоминает свою неразделенную любовь, свою милую... А Настя уже разошлась, распелась, и голос ее так сладко щиплет за сердце, и уже слезы подступают к глазам, туманят взор:

*Как напала на меня грусть жестокая,  
Разлюбила меня черноокая.*

Ах, эта смуглая, черноокая! Неужели разлюбила совсем, навсегда? Нет, нет... А сердцу так больно, так хочется разрыдаться, вот-вот оно разорвется на части. Скорей, скорей бы кончилась эта песня, не слышать бы уже этот стонущий, этот дивный голос. А Настя будто не слышит эти мольбы, опять тихо, едва слышно тоскует:

*Ничто в полюшке не колышется,  
Только грустный напев где-то слышится.*

Долго они еще сидят молча, никак не могут опомниться от песни, никак не могут прийти в себя.

«Вот это и есть настоящее, подлинное искусство, — думает Бунин. — И прекрасно только то, что идет из глубины, создается веками. Прекрасны эти песни, сказки, «Слово о полку Игореве», прекрасна Библия, прекрасна Настя и другие женщины, хранящие все это, передающие свои песни, молитвы из поколения в поколение. И жалко рядом с этим кривляние Элеоноры Павловны, всяческих снобов».

Ему вспоминаются вещи и мудрые слова Глеба Успенского: «Смотрите на мужика... Все-таки надо... Надо смотреть на мужика...» Когда-нибудь он поставит эти сло-

174 ва эпиграфом к своей книге. И что бы ни писал и как ни писал, мужик, душа мужицкая — русская, славянская — всегда будут на первом месте.

Он так задумывается, уходит в себя, что не сразу слышит, как Настя говорит, робко спрашивает:

— Иван Ляксеич, может, баб покликать, вместе песни покричим.

И, будто оправдываясь, добавляет:

— Вместях лучше получается.

— Спасибо, голубушка. Непременно позовите, — глухо отзывается Бунин.

— Эй, Нюрка, куда-то ты запропастилась, сатана? — кричит она куда-то во двор. — Поди покликай баб, скажи барин Иван Ляксеич желает песни послушать.

Под окном появляется белобрысая босая девочка лет восьми. Шмыгая обгоревшим, облупившимся носом, недовольно спрашивает:

— Каво кликать-то?

Настя долго и торопливо перечисляет, и, мелькнув грязно-выцветшим платицем, грязными в цыпках ногами, девочка скрывается за плетнем.

Женщины собираются неторопливо, по одной и сначала отнекиваются, не хотят петь. Они принаряжены, разны по возрасту, все обветрены, загорелы, повязаны платками.

— Чтой-то горло дерет, — говорит одна из них, должно быть самая бойкая. — Кабы барин винцом угостил — горло промочить, тада можно спеть.

Бунин посылает за вином. Выпив, женщины оживляются, перешептываются, переругиваются и идут в избу, садятся в кружок лицом к окну и спрашивают:

— Котору будем кричать?

Бунин, почему-то волнуясь, предлагает:

— Любую, только старинную.

— Давай, Настя, зачинай, — обращаются они к Каревой и удобней и шумно усаживаются.

И Настя начинает. Сначала опять негромко, как-то нехотя, как-то лениво и небрежно, но потом все громче, все сильнее:

*Калинка с малинкой — лазоревый цвет...*

175

И вторую строку подхватывают все и тянут, тянут...

*Вырастала девушка шестнадцати лет,  
Шестнадцати лет, эх...*

И столько горя и безнадежной тоски и в их голосе, и в лицах. Они уже забыли обо всем на свете и полностью отделились песне, своей прошедшей молодости, которая у них была и горька, и тяжела.

*Ох, куда с горя ни пойду,  
Дороженьки нет...*

Поют они скорбно, протяжно, и не остановить их, не узнать минуту назад веселых и шумных.

*Любила молодчика семнадцати, семнадцати лет,  
Такого хорошего — лучше в свете нет.*

А еще через минуту-две — они опять шумно и незлобливо переругиваются:

— Марушь, ты чтой-то различишь.

— Да будя тебе трепать-то. Я втору давала.

Лица их меняются вместе с песней, и Бунину приятно, хорошо здесь. А бабы песен знают много: и протяжных, и величальных, и дорожных, и плясовых, и поют без усталости, без конца. И в который уж раз Бунин восклицает про себя: «Ах, как удивительно богат песнями русский человек, и как удивительна, несравненна русская песня».

Уходя, женщины приглашают:

— А вы, барин, приходите завтра на луг, хороводы будем водить. Завтра — престольный праздник.

Бунин охотно соглашается. Лицо его радостно, темно-синие глаза смеются, блестят. Прилив сил чувствует необыкновенный.

На улице уже темно, все фиолетово: дорога, леса, сумерки. На западе еще узко тлеет, зеленовато-желто светится

176 закат, и деревья, сады от этого с запада светло-мягки, а с востока темно-зелены, холодны. Возле усадьбы сонно и устало кричат грачи, угольно чернея на верхушках засохших тополей. Чернеет, но уже слабо, табун лошадей на седом от росы лугу и слабо, как свечка, горит маленький костер.

Сторож долго не мог понять — кто они, что им нужно, долго не пускал их в усадьбу. Был он стар, глух, жидкая борода его постоянно тряслась, тряслись и его слабые старческие ноги. Кругом чувствовалось запустение, заброшенность, давно чувствовал себя заброшенным, забытым всеми на свете и он, и давно, должно быть, отвык он от людей, всяких визитов. Большой двухэтажный дом был еще крепок, но как-то слеп и одинок — в нем тоже не было жизни, тепла. И Бунина на миг пронзила такая непонятная горечь, грусть, вообразил он великолепный, теперь уже заросший парк, и как бывало шумно, весело в нем от гостей, вообразил высокого рыжеусого хозяина, его красавиц дочерей и постоянные музыкальные вечера, охоты — Русиновы слыли богачами, хлебосолами.

Где они теперь? Что с ними? И эта пронзительно-горькая грусть останется у него навсегда.

## II

Утром Бунин просыпается поздно. Сад жарко залит солнцем, жарко блестит, липовая аллея усыпана большими золотисто-медными монетами. В комнате душно, влажно. Он быстро одевается, зовет Евгения и торопится на луг. На лугу уже шумно, играют гармошки, уже пестро от сарафанов и ярко-красных рубах, нарядных панев. Трава скошена, и от серых, разбросанных по всему лугу копен тонко и хорошо пахнет сеном, ягодами.

— Здравствуйте, барин, — низко кланяются женщины. — Счас начнем.

И у Бунина, как и вчера, сладостно пухнет сердце, радостный озноб пробегает по телу — сейчас он увидит и услышит хороводный танец-песню «Лебедушки». Ничего прекраснее он не видел!

Лебедушки все как на подбор молоды, стройны, тугощеки, все в легких белых платьях. Возле них толкуются,



похохатывают парни. Сапоги их густо смазаны дегтем, блестят, чубы пышно, картинно выпущены из-под фуражек — они слегка пьяны, празднично возбуждены.

Празднично возбуждены и девки. К ним пристаёт, дурашливо куражится какой-то мужичонка.

— Слухай, девки, я рупь нашел, вы делите, а я пошел, — пьяно-счастливо бормочет он.

— Буровь, буровь, счас за ноги и у ров, — грозятся девки, но грозятся незлобливо, шутя, и мужичонка, зная это, пьяно заливается смехом.

И долго еще шутят, прыскают девки, куражится мужичок, долго еще не начинают «Лебедушек», все кого-то ждут.

— Главную Лебедь, — поясняет Настя.

Но вот наконец показывается и она. Бог мой! Как стройна, как черноброва она. Как алы губы, румяны щеки — кровь с молоком. Как туга она вся! На голове, на смоляных волосах ее полумесяцем бисерная корона, платье бело-бело, стройные полные ноги обуты в легкие расшитые серебром полусапожки.

«Ну и лебедь», — ахает про себя Бунин.

— Попова дочка, — шепчет Настя.

Женщины шумно выстраиваются позади лебедушек, откашливаются и начинают:

*Вдоль по морю,*

*Вдоль по морю, морю синему...*

Поют они нежно, любовно-грустно и нежно, как-то печально, будто чувствуя уже близкое расставание, лебедушки взмахивают руками-крылами и, мелко-мелко перебирая стройными ногами, плывут и плывут по морю Хвалынскому, по лугу зеленому.

Что за диво, что за чудо и эти лебедушки, сестрицы-девицы, и этот луг — сине море, эти голоса. А женщины, о чем-то тоскуя, и тоска их приятна, сладка, рассказывают: как хороша, как красива стая лебединая, лебединая-гусиная, а спереди стаи — самая лучшая, самая красивая — Главная Лебедь, молодаяшка Марьюшка свет Ивановна...

178      Замолкли гармошки, не куражится больше корявый  
мужичонка — все покорены, захвачены танцем, песней.

А в голосах женщин уже слышится тревога, опасение за  
что-то, испуганно жмутся лебедушки к Главной Лебеди.

*Откуль, взялись,  
Откуль взялись два сокола...  
С какой стороны, края прилетели они, —*

плачут женщины.

Зачем, зачем им Лебедь белая, — но и в плаче, в стоне их  
слышится восхищенье: соколы оба стройные, высокие, один  
сокол черный, другой сокол русский.

*Ты скажи нам,  
Ты скажи нам слово верное свое, —*

стонут уже, бешено поглядывают друг на друга соколы.  
Оба сильные, пригожие, оба готовые биться не на жизнь,  
а на смерть за любовь единственную, неразделимую.

Заметалась Марьюшка свет Ивановна, горько плачут  
лебедушки, сестры-девицы, скорбны их лица: вот-вот по-  
кинет их на веки вечные старшая сестрица, вот-вот выбе-  
рет себе суженого.

Бунин пристально, не отрываясь, смотрит на главную  
Лебедь, будто хочет прочесть на ее лице, кого же она выб-  
рала, кого предпочла. Он почему-то волнуется, пережи-  
вает все происходящее остро, близко и, не желая, все-таки  
вспоминает свадьбу, Анну, свою ссору с ней.

Лебедушка поклонилась чернобровому...

Ах, как поник, загрустил, зашатался синеглазый, какой  
болью исказилось его лицо. Но что это? «Поклонилась, белу  
ручку подала синеглазому, синеглазому».

*Ах, любовь, любовь,  
Бываешь как ты зла, —*

опять нежно-грустно поют женщины. И когда песня за-  
канчивается, оцепенение долго еще не проходит, долго

еще ждут чего-то, кажется, что томительно-любовному танцу не будет конца. 179

Грусть, навеянная песней, не проходит и у Бунина: тревожно, как-то беспокойно на сердце, хочется плакать...

«Вот не гадал, что такое приключится», — смущенно думает он, вспоминая Анну, ее смуглую красоту.

— Поедем, Иван, — зовет Евгений. — Дома уж заждались тебя.

— Да, да, едем, — рассеянно отвечает Бунин, а сам все смотрит, все никак не может оторвать взгляда от нарядного карагода, поповой дочки, и что-то шепчут его губы, бормочет он какие-то слова.

Но уехать им скоро не пришлось. Перед самой деревней они вдруг услышали отчаянный детский вопль, тотчас увидели, как, дико топоча сапогами, шатаясь из стороны в сторону, гнался за девочкой низкий, коренастый мужик. Лицо его было тупо-злобно, брови искажены, рот хрипел.

— Стой, стерва, убью! Кому говорят, стой...

Девочка вся посинела, вся зашлась от страха, уже бежала из последних сил. В руках у мужика был кол.

«Каревы», — догадался, узнал Бунин. Весь вспыхнув, задрожав от гнева, бросился он наперерез, подхватив девочку на руки, бешено, задыхаясь, крикнул:

— Ты что делаешь, негодяй?

Лицо его, руки дрожали, пылали жаром, никак он не мог успокоиться, прийти в себя.

Мужик, будто наткнулся на что-то невидимое, бессмысленно остановился, не понимая, что случилось, еще не остыв от злобы, от желания расправиться со своей жертвой.

— А, барин, — узнал он. — Мое вам, — он хотел поклониться, но, чуть не упав, выпрямился и, увидев девочку, дико завопил:

— А-а, стерва, я те покажу, как чужих гусей пускать на огород, я те...

И вдруг внезапно заплакал, замотал лохматой, с узким лбом, с узкими пьяными глазами головой, начал просить:

— Пусти ее, барин, а? Пусти, я маленько проучу.

И так ему хотелось проучить, побить ее, что он долго то злобно, дико вопил, угрожал, то, пьяно рыдая, упрашивал отпустить, отдать ему Катьку, но подойти близко, драться не решался.

И Бунин долго не уезжал, был с Катей. «Что за народ такой, — думал он. — То талантлив неумно, по-славянски широко, то дремуч, невежествен, первобытно жесток... Будто две души у него».

Уезжали они уже под вечер, когда солнце, багровея, медленно вдавливалось, входило в землю, и поля, деревни, все — было полосато — тени и свет чередовались. И там, где была теневая полоска, — казалось холодно, серосине, где светло-красная — мягко, приветливо. Воздух был сух, тепел, а в лощинах свеж и прохладен, и эти частые резкие переходы от тепла к холоду вызывали озноб.

Но вот солнце скрылось, ушло за горизонт и там, где оно только что было, будто кто разлил густое красное вино, и оно медленно растекалось вглубь,вширь — по всему горизонту. Восток же был мутно-сер, бледен, и только редкие легкие облака розовели от далеких, уже невидимых лучей солнца. Где-то близко гулко, словно в пустую бочку, закуковала кукушка, и Бунин, улыбаясь, тревожась, как в детстве, загадал: «Кукушка, кукушка, сколько я лет проживу». И замирая, вслушиваясь, начал считать, не досчитав до пятидесяти пяти, сбился со счета, а кукушка все куковала, долго, упорно, предрекая жизнь ему длинную, столетнюю. И Бунин, поверив этому предсказанию, вспомнив песни, лебедушек, корявого мужичонку и как он все приставал к девкам, вспомнив красавицу попову дочку, счастливо засмеялся: жизнь у него впереди долгая, интересная — будут и радости, и печали, встречи и разлуки, успехи и неудачи — все у него будет впереди...

### III

А через неделю Бунин заскучал, затосковал по Анне — виделась она ему каждый день, по ночам во снах особенно. Становится он постоянно хмур, раздражителен — пишет мало, а написанное тотчас рвет, бросает в печку. Хочется ему в Одессу, хочется, чтобы приехала Анна сюда в

Огневку, но он знает, что в Огневку она не поедет, боится деревни она ужасно, а в Одессе все будет по-прежнему — гости, оперные занятия, Элеонора Павловна...

Как убедить Анну, что ему нужны тишина, покой, ее забота, любовь, а у Элеоноры Павловны напрасно надеяться на это, и им непременно следует съезжать, снять какую-нибудь квартиру, жить вдвоем. Знает он, что и это невозможно, что Анна никогда не решится порвать с домом, с Элеонорой Павловной, и он долго колеблется, не решается предпринять что-то определенное.

А осенью решается, говорит сам себе: «Чем черт не шутит», — и уезжает в Одессу.

Но все вышло так, как он предполагал. Еще молчаливей, капризней стала Анна, все чаще упрекала его.

— Ты абсолютно безразличен к нам и напрасно манкируешь Элеонору Павловну, ее увлечение музыкой.

Более вздорной, пустой стала и Элеонора Павловна.

И Бунина опять потянуло в порт — к морю, художникам, в рестораны — стал он пить, по целым дням пропадать где попало. Пропасть между ним и Анной росла с каждым днем.

Опять начались ссоры, взаимные упреки, опять он начал думать об отъезде. И теперь уж навсегда, окончательно.

В январе Бунин узнал, что Анна беременна и что ссоры их могут плохо отразиться на ее здоровье, на здоровье будущего ребенка, и еще колеблясь, мучительно раздумывая, но уже понимая, что никогда у них не будет душевной близости, не будет настоящей жизни, уезжает в Москву, потом в Огневку.

«То драма с Варей, теперь с Анной. Неужели так будет всю жизнь?» — мрачно думает Бунин. Душевно болен, разбит он неимоверно и долго не может оправиться, прийти в себя.

В деревне он уединяется, много бродит, много и читает, в который уж раз перечитывает Библию и в который раз восхищается ее прекрасным языком, невероятной музыкальностью ее стиля.

«Вот бы так научиться писать. Ей, Господи, не даждь ми духа праздности, уныния», — просит он. Больше ему

182 ничего не надо, все есть у него — талант, зоркость невероятная, слова вещие, одному ему ведомые...

Изумляет, поражает его вновь в эти дни и деревня, ее язык, ее нравы. Он записывает: «А какая нелепая и чудесная образность была в языке деревни! Идет босая девка — подтянуто стройно, виляя только кострецами: на правом плече тяжелое коромысло, по концам которого лежит мокрое белье.

— Кудай-то ты?

— На речку белье полоскать.

— Да ведь нынче праздник, грех работать.

— Конечно, грех, кабы я дома была. А то какой же грех, когда я тут у родных гощу?

— Тебе, говорят, просватали. Что ж, хорош твой жених?

— Какой там черт хорош! Рот толстый, в нос гудит. Было это и в крестьянском языке.

Мужики лентяя и нищего называли:

— Пустой малый! Изгой, неудельный!

Изгоем же, как известно, назывался безместный удельный князь. А то кто-нибудь, бывало, говорит:

— Хочу в Киев сходить, Богу помолиться...

И невольно вспоминаешь Бяше возле града Киева лес и бор велик...»

И забывалась Анна, обиды, куда-то уходила, исчезала душевная боль, начинал он уже шутить, смеяться, начинал писать — сначала помаленьку, понемногу, потом все вытягиваясь, все больше.

«Засыпаю с мыслью о радостях завтрашнего дня — о радостях своих вымыслов», — записывает он.

Дни проходят незаметно, в трудах. Однажды ему приносят газеты, и Бунин читает, узнает вдруг, как какой-то критик ругает его, пишет, что он подражает Чехову, и рассказы его мрачны, беспросветны, он не знает, клеветает на мужика, на Россию.

«Черт знает что, — ругается Бунин, с раздражением отбрасывая газету. — Бегают по салонам, лижут зад всем, кто приласкает, подает им, и поучают, как надо писать о мужике, о России. А видели ли они живого мужика, были ли хоть раз у него в избе, где он живет с овцами, свиньями,

беспобудно пьет, бывает невероятно жесток. И все это от нищеты, вековой дикости, какой-то неустроенности...»

«Черта-с-два его затянешь в деревню, — Бунин зло, презрительно усмехается, но успокоиться никак не может. — Зачислили чуть ли не во врага, космополита, а они патриоты, истинные радетели российские. Мошенники и лизоблюды, подлые, как шакалы. Россия есть и будет всегда для меня дороже всего на свете».

Ему вспоминается Чехов и как он грустно, с горечью говорил:

— Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «а то вот еще есть писатель Чехов: нытик...» А какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент»... И слово-то противное: «пессимист»... Нет, критики еще хуже, чем актеры. А ведь знаете, актеры на целых семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества. И, помолчав, прибавлял:

— Когда вас, милостивый государь, где-нибудь бранят, вы почаще вспоминайте нас, грешных: нас, как в бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик пророчил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство.

«А есть ли сейчас писатель лучше и поэтичнее Чехова? Милый и мудрый Антон Павлович как в воду смотрел: вот и он дождался нытика, мрачного человека...»

«Поеду-ка я в Ялту, к Антону Павловичу, — решает Бунин. — Его разговоры так чудесно успокаивают, бодрят, такую зарядку получаешь после. А потом махну в Москву — давно уж не слышал песен Федора».

Бунин оживляется, вообразив встречу с Чеховым, с Шалапиным, но на глаза ему опять попадает газета, и он опять раздражается, волнуясь, ходит по комнате: «И это я не знаю мужика, деревни. А может, прав был Николай Петрович в том далеком споре? Может и вправду нужна революция?» Он отчетливо представляет мужиков, и как они разоряют, уничтожают дотла барские усадь-

184 бы и наступает хаос, вавилонское столпотворение... «Нет, нет, только не это, — пугается Бунин. — Нужно что-то другое, только не это...»

На другой день он собирается и уезжает в Ялту, потом в Москву.

#### IV

Прошло много, десятки лет.

— Ну что, как я пел, Ваня? — тихо, волнуясь, спрашивает Шаляпин.

Он только что со сцены, крупное красиво-выразительное лицо его еще бледно, возбуждено, все в поту.

«Бог мой, как он сдал», — удивляется Бунин. Оба они знамениты — знают их во всем свете, — оба грустно-печальны сейчас. Сам он еще крепок, подвижен, горяч еще и вспылчив по-прежнему. И только тонкое нервное лицо сделалось мягче, как-то темнее, острее и пристальнее стал взгляд.

— Конечно, превосходно, — ответил Бунин и, помолчав, вдруг сказал: — Сейчас бы, Федя, в деревню, на луг, — послушать лебедушек.

— Каких лебедушек? — спрашивает Шаляпин, но, взглянув на Бунина, должно быть что-то вспомнив, тотчас умолкает.

Но молчит недолго.

— Эх, Ваня, и хочется и колется... Мы с тобой, как бездомные собаки, знаменитые, породистые, но бездомные...

«Да, черт возьми, — Бунин нервно разминает длинными пальцами папиросу и торопливо, глубоко затягивается дымом. — Все кажется есть — талант, известность, слава, но нет главного — России...»

— На Волгу хочется, Ваня, — с тоской говорит Шаляпин. — Помнишь, ты меня все называл: «Ой ты гой еси, добрый молодец», а я все спрашивал: «За что, Ваня?», а ты, смеясь, отвечал: «За то, что не щеголяй в поддевках, лаковых голенищах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясами, не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым, Скитальцем...». А я сейчас, Ваня, с удовольствием нарядился да на Волгу махнул бы, сел на пароход — и в Астрахань к рыбакам...



И Шаляпин долго, радостно-горько вспоминает и их кутежи в ресторанах, и телешовские среды, где они так хорошо играли с Сережей Рахманиновым, больше он так никогда не споет, и как он первый раз пошел с Буниным к Чехову, а потом сказал: «Вот это человек, вот это писатель! Теперь на всех прочих буду смотреть, как на верблюдов», и Бунин, смеясь, отвечал: «Спасибо, Федя». И воспоминаниям этим, пронзительно-горьким, сладостно-печальным, нет конца...

Помнишь... И Бунин рассеянно отвечал: «Да, да, конечно», а самому все почему-то хотелось вспомнить, представить узкую полевою тропку во ржи, серую с желтой грудкой овсянку, луг возле речки. И на лугу нарядный хоровод баб, девок, и как они танцуют, поют «Лебедушек». И он видит, воображает все это ясно, отчетливо.

*Плывет стая, плывет стая лебединая,  
Лебединая, лебединая, гусиная, —*

нежно-печально, как во сне, поют бабы, и плывут-плывут по морю синему, лугу зеленому девицы-лебедушки, а впереди стройная чернобровая попова дочка...

## Мой Бунин

*Ангел отмечает  
некоторых особым знаком...  
(Из древней книги)*

Летний светлый, легкий день. Долгий зеленый луг. Даль, простор, слюдяное марево. Пряно пахнет травой, цветами, где-то рядом печально цынкает и цынкает одинокая птица, нежно, однообразно жужжат, перелетают золотистые пчелы, роскошно одетые шмели. И сразу в памяти:

*И цветы, и шмели, и трава, и колосья,  
И лазурь, и полуденный зной...  
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:  
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»  
И забуду я все — вспомню только вот эти  
Полевые пути меж колосьев и трав —  
И от сладостных слез не успею ответить,  
К милосердным коленям припав.*

...Широкое степное поле, дикий сине-розовый клевер, просторный косогор. Прелестно, свадебно-нарядно порхают бабочки, затхло тянет сыростью, тиной от недалекой, узкой уже речки, медовой пудровой пылью от луговых цветов; плачут, стонут чибисы, а день все разгорается, набирает жгучую силу, горизонт дрожит, жемчужно переливается. Божья тишина! И только рядом, за седыми ивами, в просветах их, стоит, храпит одинокий стройный жеребец, серый, в яблоках, с желтой гривой — хвост волончатый, длинный, крутой атласный круп, бока шелковые, сытые... И опять:

*На серых полях — голубые озера,  
На пашнях — лиловая грязь.  
И чибисы плачут — от света, простора,  
От счастья — плакать, смеясь.*

\* \* \*

*И ходят дождевые облака,  
И свежим ветром в сером поле дует,  
И сердце в тайной радости тоскует,  
Что жизнь, как степь, пуста и велика.*

Какие сладкие, какие вещие слова!.. И какое сладкое, блаженное одиночество среди этих близких полей!.. «Дивны дела твои, и душа моя вполне понимает это».

---

«Я родился полвека тому назад в средней России, в деревне, в отцовской усадьбе». «Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально...» «...Рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них... Зимой — безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание... Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее, не знают ни зова пространства, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это».

А где вырос я? Все в той же глуши, в холмистом подстепье. И так же рос, бегал в этих разлужьях, в буераках, по истоптанной выгонной траве. Слушал дедов и бабок, их родную речь, их милые сказки о царевиче и сером волке, о великомученице Варваре, о горячем камне и живой воде...

И все-таки, все-таки... Так ли манила меня даль, как его? И знал ли я, задумывался тогда, как и он? Нет, конечно.

Слышать зов пространства, знать бег времени — редкому человеку (а тем более ребенку) Бог дает такое. Каждому Бог отмеряет свое. Ему отмерил щедро, без меры. «Зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пья-

188 нел, обоняя запах ландыша или старой книги», — с изумлением открывает он. Но с изумлением ли? Помните его твердо: «А я уже и тогда знал все это». Он уже и тогда чувствовал, что «ангел отмечает некоторых особым знаком...»

Как передать те магические чувства, когда читаешь Бунина? Многое уже сказано о его стиле, языке, его невероятном видении красок, обонянии, слухе... И истинно прекрасны хотя бы вот эти строки: «Опять величественно загремело где-то в бездонной пустой вышине, вокруг меня что-то крупно и быстро зашуршало, запахло мокрой свежестью весенней зелени... Прямой редкий дождь длинными стеклянными нитями засверкал из нового большого облака, бесконечно высоко вставшего над самой моей головой своими снежными клубами, и по недвижной и ровной поверхности зеркально-белой воды, быстро шумя и пестря ее темными точками, запрыгали бесчисленные гвозди...»

Но кто разгадает до глубины его мысли? Что думалось, что виделось ему, когда писал «Темные аллеи»? Ведь не было, не было (в русской литературе) такой книги о любви: книги жесткой и возвышенной, страшной и нежной (не считать же Тургенева с его сентиментальными девушками).

В нем все иначе, все удивительно: к преклонному возрасту обычно силы покидают человека — физические, творческие, мыслительные. А у него и в шестьдесят лет и после — «Жизнь Арсеньева», «Освобождение Толстого», «Темные аллеи», Галина Кузнецова... Непостижимо! Вопросы, загадки, тайны. Кто наконец разгадает их?.. И разгадает ли?

Но как сказано в одной мудрой древней книге: кто хочет знать, что было и что будет, что под землей и что под небом, тому бы лучше совсем на свет не родиться.

---

«Некоторый род людей обладает способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и ближнего своего, — это он записывал, думая о Толстом. Думая всю жизнь неотступно, в последние годы особенно, с какой-то мучитель-

ной, радостной страстью, чувством родства к нему. Но он с полным правом мог сказать это и о себе. И он всю жизнь, в страхе и радости, отмечал «...бесконечное счастье от принадлежности всего моего существа к этому летнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дедов и всех их далеких дней, пушкинских дней...» Или: «В тамбовском поле, под тамбовским небом, с такой необыкновенной силой вспомнил я все, что я видел, чем жил когда-то в своих прежних, незапамятных существованиях, что впоследствии, в Египте, в Нубии, в тропиках, мне оставалось говорить себе: «Да, да, все это именно так, как я впервые вспомнил тридцать лет тому назад!»

---

Серый день. Серые стены. Серая печаль. Мокрая, согнутая изумрудно-яркая трава за широким окном, каменистый желтый берег металлической реки, темная старая заброшенная усадьба. И старые, вековые редкие липы позади. И слезы, слезы... О ком? О чем? Печально, одиноко, щемяще-нежно!

*Настанет день — исчезну я,  
А в этой комнате пустой  
Все то же будет: стол, скамья  
Да образ, древний и простой.*

*И так же будет залетать  
Цветная бабочка в шелку —  
Порхать, шуршать и трепетать  
По голубому потолку.*

Как хорошо, как дивно, Господи!

*Октябрь, 1990 г.*

## «На тысячу верст кругом Россия...»

*Александр Трифонович Твардовский очень точно подметил, что для всякого художника, в особенности художника слова, писателя, наличие малой, отдельной и личной родины имеет огромное значение.*

*Тургеневская «малая родина» — Спасское-Лутовиново. «Вот и дома...», «Вот я и снова в моем старом гнезде...» — не раз писал Иван Сергеевич своим друзьям и знакомым.*

*И в печальные дни одиночества, а в провинции они бывают у литератора особенно часто, мне всегда вспоминается Спасское, как будто живет там кто из близких и думает о тебе, и хочется тогда поехать туда и побродить по аллеям, посидеть где-нибудь на пеньке, поразмышлять о жизни той и этой, о чем-нибудь светлом, хорошем...*

*Поездки в Спасское стали для меня одной из радостей жизни, праздником, озарением души. В результате этих поездок накопились и эти записи.*

\* \* \*

Был конец мая, лето наступало теплое, отрадное. Меня все тянуло куда-то сорваться, уехать от городской суеты, ненужных встреч, разговоров.

«В Спасское, конечно, в Спасское», — подумалось мне, а тут раздался телефонный звонок, и от радости у меня запершило в горле, сладко заныло сердце — я услышал такой знакомый, глуховатый голос Евгения Ивановича Носова.

— Ваня! — спросил он. — Поедешь в Спасское?

Оказывается, они с корреспондентом центральной газеты едут на машине через Орел в Спасское.

И вот мы сидим на поляне за парком, слушаем, как оживает лес с его будто бы понятной, но неблизкой, зага-

дочной мне жизнью; и его то мощные, то тихие вздохи, приходящие откуда-то сверху, из глубины, тревожат, вызывают какие-то далекие ответные чувства. И сердце оттого щемит и щемит...

Молчит и Носов. Большое доброе лицо его задумчиво, устало, взгляд то медленно шарит по земле, то вдруг вскидывается к глубокому чистому небу. Солнце уже высоко, жарко слепит глаза, гонит в тень. Но еще дымится тонким паром свежая, густая трава, мокрая понизу, еще слабо тянет из лесу ночной прохладой. Тишина и блеск солнца, веселое треньканье, писк птиц в близком лесу. И душа, недавно еще тупо саднившая, как будто утихает, исцеляется всем этим...

А Евгений Иванович словно угадывает что-то, неторопливо говорит:

— Да, тут душа его напитывалась. Здесь его грибница... Постой, как там у Толстого? Кажется, в его дневниках прочитал, что Тургенева надо видеть в деревне. Что усадьба показала его корни и многое объяснила ему, Толстому. Кажется, так...

Потом, позже, я прочитаю у Носова такие строки: «И потому вольно или невольно, а почти весь среднерусский литературный молодняк в своих первокнижках так или иначе обращается к самому главному и самому трудному — человеку... И второе, на что молодые, идя в литературу, вынуждены обращать повышенное внимание, — это на свой живописный язык, без умелого владения коим в наших скромно-ландшафтных местах по-настоящему не запоешь... Впрочем, этой непреложной заповеди учит молодых все великое наследие русской классики, и прежде всего таких гениев, как Толстой и Тургенев. Для своей жизни и творчества они избрали именно эти неброские предстепненные холмы и доли, обретя в них неиссякаемый источник своего вдохновения».

\* \* \*

Меня поражает, как он, родовитейший дворянин, барин, еще молодой, мог написать «Записки охотника». Конечно, детство в глуши, в усадьбе, общение с дворовыми и

192 охотниками, лесниками много дало и давало в смысле знания жизни, помогало понять человеческую душу, проникать в тайники природы, ибо, как он сам говорил: «Только охотник видит ее всякое время дня и ночи, во всех ее красотах, во всех ее ужасах».

Но такая тонкая живопись, такая редкая наблюдательность! Несколько строк и — целая дивная картина. Вот пример: «Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный; вдали ложится мягкий пар, теплый на вид; вместе с росой падает алый блеск на поляны, еще недавно облитые потоками жидкого золота; от деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени...» И подобных картин в Записках охотника множество. И многие слова, строки Тургенева как бы струятся, дышат вместе с меняющейся прямо на глазах природой.

Изумляет и другое. Такого богатства и разнообразия типов русская литература до Тургенева еще не знала. Особенно крестьян. И хотя они нарисованы Тургеневым эскизно, еще чувствуется тут барин, взгляд со стороны — несколько романтический, слегка умиленный, розоватый, еще нет той беспощадной жестокости, убедительной полноты в показе деревенской жизни, которую увидим позже у Чехова, Успенского, Бунина, но «Записки охотника» заставят воскликнуть строгого Белинского: «...автор зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто еще не заходил».

А уж о языке «Записок охотника» и говорить нечего! Как и многое в литературе, он и здесь первый так чутко уловил народный говор, так умело ввел в рассказы местные слова, что без них куда беднее были бы описание и этих орловских, калужских, тульских мест, и Хоря с Калинычем, Бирюка... Но поначалу даже Белинский, не говоря уж о других, возмутился непривычными словечками, такими, как «зеленя», «сухмень», «лотошить», «жбан», «бакша»...

Первому всегда достается. Теперь уж мало кто помнит, что слово «зеленя» из орловского диалекта. И это уж потом Бунин раздраженно скажет, когда прочтет у Гольденвейзера об особенностях толстовского языка: «Нет, это не толстовские, это наши общие особенности: особенности языка той сравнительно небольшой местности, самые



дальние окружные точки которой суть Курск, Орел, Тула, Рязань и Воронеж. И разве не тем же языком пользовались чуть ли не все крупнейшие русские писатели».

Для Тургенева же сутью всегда было прежде всего Спасское. Именно из Спасского он сообщал друзьям: «Пишется хорошо, только живя в русской деревне...» И вспоминал: «Было время, что я с ума сходил от народных песен. Вот где бьют родники истинной поэзии».

И думается мне, бывая в Спасском, что отсюда выросли знаменитые на весь мир «Записки охотника», а от них уж разрослась, разветвилась вся последующая деревенская литература, современная в том числе.

\* \* \*

Опять я в Спасском. И опять мне просто и печально здесь. Вечер. Синие сумерки. Западная сторона неба разноцветна, точно цыганская шаль. По деревенской улице сыто бредет стадо коров, овец. Мычание, крик баб: «Милка, Милка... Оря, оря...» А на скамейке неподалеку от меня сидит древняя иссохшая старуха. Лик ее, как на иконе: строг и неподвижен. Она слышит и не слышит все эти звуки, взгляд ее размытых глаз устремлен куда-то в пространство, в непонятную мне запредельность. Что она видит там? О чем думает?

— Бабушка, как живете?.. Внуки пишут?..

Молчит. Потом, оглянувшись, мертво говорит:

— Что, милый? Овцы не туда забегли? Дак они, шалопутные, завсегда такие. На то и овцы...

И, отвернувшись, опять застывает, как мумия. Господи! Как древна и непонятна она... А она вдруг, что-то вспомнив, поворачивается ко мне и, слабо улыбаясь, говорит:

— Я тоже была шальной, как овцы. Бегала — не сыскать...

И древнее, порозовевшее лицо ее просветляется, озаряется каким-то далеким светом. О чем вспоминала она? Что сверкнуло в ней?

Розовый сладкий вечер. Пахнет пылью, коровьими лепешками, разогретой травой. Слышу, как старуха бормочет:

— Земля чтой-то обнизилась...

А я вздрагиваю от этого слова, с испугом гляжу на нее: «Господи! — думаю я. — Она и Толстого еще могла видеть. Ведь он приезжал сюда, ходил по этой дороге, о чем-то разговаривал с Тургеневым. Загадочна жизнь...»

\* \* \*

День проходит за днем, цветет и сладко пахнет высокая старая липа неподалеку от дома, сырые листья которой сочатся, роняют приторно-сладкие, мутноватые капли так называемого падевого меда, и сухая серая земля под липой пестрит темными, блестящими, липкими пятнами, а вокруг летают, вьются, мерно жужжат целые рои пчел, и время от времени какая-нибудь из них влетает в открытое окно и камнем падает на стол, тяжело ползет в мою сторону. Я подставляю тогда чистый белый лист бумаги, пчела неловко, тяжело взбирается на него, и я бережно несу ее к окну, выпускаю на волю.

А там, за окном, в глубине тенистого парка с бессмысленной радостью голосят, самозабвенно цокают соловьи. И тотчас вспоминаются заветные строки Тургенева: «Тут по веснам певали соловьи, свистели дрозды, куковали кукушки; тут и в летний зной стояла прохлада — и я любил забиваться в эту глушь и чащу, где у меня были фаворитные, потаенные местечки, известные — так по крайней мере я вообразил! — только мне одному».

Потом он, уже взрослый, знаменитый, однако с ребячливой гордостью, показывал эти потаенные местечки Савиной, Щепкину, Дружинину... Страшно даже подумать, что по аллеям Спасского ходили, сидели возле прудов, может быть, ловили рыбу, о чем-то разговаривали, спорили Некрасов, Григорович, Полонский, Фет, Жуковский, Боткин, Вревская...

\* \* \*

Июль. Дни, как будто на подбор, прозрачные, жаркие. Утро все разгорается, набирает знойную силу. Где-то близко уже деловито, дробно, будто плотник молотком, постукивает по дереву дятел, словно выбирает его для строе-

ния; все веселее, звонче голоса птиц, все выше и выше, недоступнее чистая, васильковая гладь неба с единственным волнистым облаком; уже сытно гудят шмели, воздушно, точно балерины, порхают разноцветные, свадебно нарядные бабочки.

В комнате душно, воняет невыветрившимся дымом от табака, густо пахнут краской, пыльным деревом тонкие нагретые стенки дома, и опять меня манит на пруд, в поле, в лес... Поля начинаются сразу за парком, и там они волнисты, шелковисто-глянцевиты, неоглядны — дух захватывает! Я же упорно сижу, все не могу оторваться от «Жизни Арсеньева». Есть что-то неизъяснимо прекрасное в этой повести — плаче о России Бунина. Так изумительно переданы все эти звуки, запахи, цвета, написаны лица. Поистине нечеловеческий дар дал Бог писателю. Но вот натыкаюсь, читаю: «Когда мы опять вышли на Карачевскую, уже вечерело. «Вы любите Тургенева?» — спросила она. Я замаялся — потому, что я родился и вырос в деревне, мне всегда задавали этот вопрос, непременно предполагая во мне любовь к Тургеневу».

Все думаю: что это — притворство самолюбивого литературного героя? Но и сам Бунин не раз и не два «отрекался» от Тургенева, раздраженно писал: «Йоты похожей, т. е. родственной, нет!» И в самом деле — характер изобразительности, манера, стиль — разительно непохожи, не говоря уж об отношении к жизни, любви, женщине...

И все же, все же, все же...

Так ли уж не родственны? Вот некоторые выписки из «Автобиографических заметок» Бунина:

«Мать и дворовые любили рассказывать — от них я много наслушался и песен, и рассказов, слышал, между прочим, «Аленький цветочек», «О трех сестрицах» — то, что потом читал. Им же я обязан и первыми познаниями в языке — нашем богатейшем языке, в котором благодаря географическим и историческим условиям слилось и претворилось столько наречий и говоров чуть не со всех концов Руси».

Но и Тургенев, вспоминая детство, говорил о тех же песнях, сказках, былинах...

Далее Бунин пишет: «Лет с семи началась для меня жизнь, тесно связанная в моих воспоминаниях с полем, с мужицкими избами, а потом и с ними, и с моим воспитателем». А брат Бунина Евгений добавляет: «Я любил охотиться за перепелами с сетью и трюкалками подзывать их. Со мной Ваня пристрастился к этой охоте, и мы с ним, половив вечернюю зарю, обыкновенно собирались уходить на утреннюю зарю дальше».

Именно с семи лет и Тургенев пристрастился ловить птиц западней, сеткой. Лесники и охотники Спасского, приметив интерес мальчика к охоте, рассказывали ему о жизни и повадках перепелов, куропаток, диких уток...

Тот и другой происходили из древнедворянского рода. Правда, род Буниных оскудел, почти разорился, но «прадед мой по отцу был богат», — свидетельствует Бунин.

Внешние совпадения, похожие биографии? Не только. Одни корни, одна культура питали их, образуя, формируя их души, их творчество.

Тургенев как-то сказал: «Точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни — есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями». Бунин вполне мог не раз повторить подобное.

И еще я думаю, что «Стихотворения в прозе» (кстати, совершенно новый прозаический жанр в русской литературе) проложили дорогу и к «Кратким рассказам» Бунина, к теперешним «Затесям» Астафьева, «Мгновениям» Бондарева, «Камешкам на ладони» Солоухина...

\* \* \*

Как ни хорошо мне в Спасском, все чаще и чаще завладевает мной тоска по дому, видятся уже, манят лица друзей, жены, сына, чудится, что будто слышу их голоса, смех, что ждут меня неотложные письма, важные известия; смутное беспокойство внезапно охватывает меня среди ночи, и тогда я просыпаюсь, встаю — в незашторенные, открытые окна слабым странным светом светит луна, на траве и в парке на ветках мигают, гаснут и опять вспыхивают огненными точками светлячки, словно зовут куда-то; и куда-

то падают и падают, срываются с куполообразного синего неба мелкие золотистые звезды; и в этом рассеянном лунном свете, зеленоватых огоньках, блуждающих на земле и небе, серебристом блеске глянцевитых, литых дубовых листьев есть что-то знобяще-мучительное, загадочное и прекрасное одновременно — дикие и странные мысли лезут в голову, еще тревожнее и томительнее становится на сердце. И чувства эти усиливаются резкими ночными запахами цветов, одиноким сухим скрипом дергача в далеком лугу, сонным, ленивым цоканьем соловья.

И так проходит ночь, и еще день и ночь, и я говорю себе: «Хватит! Пора и домой!»

А уезжая, я уже жалею, что покидаю эти места, Спасское, и на выходе все оглядываюсь, глаз не могу оторвать от нежно-сиреневого двухэтажного дома с зеленой крышей, от стройной усадебной церкви Спаса Преображения, вековых, уходящих в бирюзовое небо лип, могучего старого тургеневского дуба... И кругом такие милые, скромные холмистые поля, перелески, овраги...

«На тысячу верст кругом Россия — родной край», — воскликнул Тургенев, покидая однажды Спасское. Не каждому дано такое чувство и воображение.

*Октябрь, 1988 г.*

## «Как раскованно и полно вам живется...»

*Памяти Л. Н. Афонина*

**П**очему вдруг становится так пронзительно грустно и больно? Почему вдруг так остро кольнет: так коротки дни, годы, так быстра и порой суетлива жизнь. Кольнет и уходит, смывается этой же суетою, нужными и ненужными заботами. А днями, роюсь в своих бумагах, наткнулся на записку: «Иван Алексеевич! Досадно, что Вас не застал. Оставляю рассказ Леонида Андреева. М. б., опубликуете... Рад буду Вашему звонку. Ваш Л. Афонин». И так стало больно, и боль эта не проходит... Так ясно, отчетливо вспомнилось все. И захотелось почему-то плакать, хотя и выплакался, кажется, до дна на похоронах, а потом и на могиле его. Но то были слезами близкими, слепыми, а теперь вроде бы и осознанными, но тяжелыми. Вообразилось, как он заходит в редакцию и робко стучится в дверь, спрашивает: «Можно? Не помешаю?» А каждый приход его был радостью не только для меня, но и для всех сотрудников молодежной газеты. Потому что начинались и текли, текли разговоры о литературе, о Бунине, Андрееве, Фете, Твардовском... Потому что он обязательно приносил что-нибудь в своем потрепанном портфеле, набитом книжками, рукописями...

— Любопытную вещицу отыскал, — волнуясь, говорил он. — Посмотрите, может быть, подойдет для вашей газеты?

А вещицами оказывались неопубликованные или давно забытые письма Лескова, Андреева, Бунина... Или же статьи самого же Леонида Николаевича Афонина. Ста-

тьи смелые, оригинальные... и не только о литературе. Но не об этом сейчас. Поверьте, что, полистав подшивки «Орловского комсомольца», «Орловской правды», прочитав внимательно написанное Афоным, вы испытаете... А впрочем, прочитайте...

А он, бережно положив на стол очередную вещицу, тут же как бы и забывал о ней. Он уже жил другой, третьей... и спешил поделиться о ней. Он будто сидел за своим письменным столом и размышлял вслух. Он проверял и выверял еще не законченное, но уже прочно жившее в нем. И это, пожалуй, были самые интересные минуты в общении с ним. Нет, не совсем это точно. С ним вообще было интересно. Даже если он говорил о грибах.

— Вы не грибник? — удивлялся он и укоризненно смотрел на вас: как же, мол, так — пишете о селе, природе и...

Я неловко оправдывался: «Работа... Некогда все...»

— Э-э, не годится так, — перебивал Леонид Николаевич. — Небось, «Третью охоту» Солоухина читали?

И тут же увлеченно начинал говорить об этой книге, о Солоухине, о его творчестве и какой он хороший, самобытный писатель. И мы уже забывали о грибах, начало нашего разговора и жили уже Абрамовым, Троепольским, Казаковым, Твардовским... И неожиданно грустно вдруг:

— По-хорошему завидую вам, молодым. Как раскованно и полно вам живется. Нет, нет, — перебивал он мое молчаливое возражение, — я не жалею о своей жизни... Она тоже по-своему неповторима, но война, послевоенное лихолетье... И не только материально, но и духовно порой скудно было... А вы...

И на минуту замолкал, как-то робко извинялся:

— Вы не обижайтесь, Иван Алексеевич, но и ругаю вас, молодых. Ленивы, нелюбопытны вы порой бываете. Вот в музее Тургенева неисчерпаемые богатства: книги Белинского с его пометами, Лескова, рукописи, черновики Бунина, Пришвина... А как часто заглядываете вы в них? Там семьдесят готовых диссертаций...

— Но...

— Понимаю, понимаю, что вы хотите сказать, — он, возбужденно, пригвоздив, негодуя (всегда-то предель-

200 но вежливый) говорил: — Не до диссертаций вам. Ладно, может быть, и так. Но не может писатель быть не образованнейшим человеком... Да, да, не образованным (в смысле окончившим институт), а именно образованнейшим человеком. И заметьте: Человеком с большой буквы, как у Горького.

Он очень любил Человека с большой буквы. Смелого и совестливого человека. И оттого, наверное, огорченно жаловался иногда:

— Сегодня принимал экзамены у заочников. Плохо подготовлены. Я понимаю: заняты по горло... Но нельзя же так: преподает литературу, а не знает Твардовского, Успенского... И ловчит еще при этом. Стыдно как-то становится, неудобно...

И тут же счастливо хвастался (вернее, хвалился):

— Студентка (такая-то) написала любопытнейший и весьма глубокий реферат о творчестве Андреева. Признаться, удивлен был. Сам написал книжонку об Андрееве, кажется, хорошо знаю его. А вот подите: свой взгляд у нее... Не возражаете, если я принесу для газеты? Уверяю, что интересно будет для читателей...

Газету он любил. И уважал. И не просто, а как-то почтительно уважал. Припоминаю и удивляюсь: печатался в солидных журналах, издавал книги, о коих хорошо отзывались Рыленков, Чуковский, академики Алексеев, Макашин, знали его и в заграничных литературных кругах, а вот маленькая (областная) молодежная газета была близка и дорога ему. Огорчался он очень, когда кто-нибудь из молодых, но уже заносчивых литераторов небрежительно отзывался о газете.

— Как можно так? — волнуясь, говорил он. — Никакая книга так быстро не донесет твоё слово, твои мысли... Книга — это потом, это наедине... А газета — как с утра кофе...

И он смущенно махал руками, вопросительно смотрел:

— Кажется, не то? Но вы-то чувствуете, понимаете, что я хочу сказать...

Как глубок, бесконечно интересен и притягателен он был в своих суждениях о литературе, о жизни, повседневных делах и как-то неловок был в разговоре о



газете... И я понимаю теперь, что литература для него была любовью постоянной и, главное, давней, а газета всегда любовью новой и как бы первой. А тот, кто любил, знает, как трудно объясняться в изначальный раз... И как прекрасно это чувство... И как редки такие люди, хранящие его до конца жизни.

И вот сейчас печалось с безнадежным опозданием (все почему-то спохватываемся потом): иногда был так невнимателен и тороплив в беседах с ним. Так иногда бездумно откладывалось многое на завтра. Вспоминается звонок:

— Вышло два тома литературного наследства Ивана Алексеевича Бунина. Не приобрели? Нет? У меня есть лишний экземпляр. Заходите, потолкуем о нем. Вы ведь любите Бунина...

Не зашел (что-то помешало), не потолковали. Потом он занес эти два тома в редакцию. Был разговор. Но только теперь понимаю, сколько я потерял, не откликнувшись на приглашение прийти к нему домой. Чуть-чуть оправдываю себя тем, что плохо и виновато чувствовалось всегда, бывая в его тесной, плотно уставленной книгами квартире. Совесть пилила: вот, мол, ты живешь попросторней, а он, кандидат наук, доцент, член Союза писателей СССР, известный миру человек... Плохо мы иногда заботимся о живущем человеке, тем более о таком человеке. Мне, когда я говорил эти слова, возражали:

— О каком человеке? Что за заслуги у него?

— Кандидат, доцент...

— Ну и что? У нас много кандидатов, доцентов...

Тогда я добавлял:

— Писатель, автор книг «Леонид Андреев», «Повесть об Орловском театре»...

— Не читали, — перебивали меня.

Мне было горько и обидно и жаль этих людей. И уже не хотелось говорить, что Леонид Николаевич Афонин был солдатом, офицером, фронтовиком, имеющим много наград, что он лично знал и его знали и уважали Анна Зегерс, Бертольд Брехт, Джеймс Олдридж, Александр Твардовский, Корней Чуковский и т. д. и т. д. Что он был совестью многих орловских писателей, учителей, студентов...

202      Щемит и саднит в эти осенние дни сердце — все острее понимаешь: не стало не только старшего и умного друга (а это так много), но и человека, с которым ты всегда чувствовал себя Человеком... И отпускает немного, когда берешь и читаешь его книги, статьи, когда вспоминаешь:  
— Завидую вам. Как раскованно и полно вам живется...

*Ноябрь, 1976 г.*

## «Жизнь писателя есть отречение от жизни...»

Все споры, споры... Спорят чиновники и филологи... «Орловец», — говорят одни. «Орловчанин», — говорят другие.

\* \* \*

И ссылаются на авторитеты: литературные, околонучные, просто народные...

А за окном широкое, грубо вспаханное поле, все в проплешинах прошлогодней засохшей бурой травы; обочина тугой лиловой полевой дороги, узкая ленивая речка, закутанная старыми раkitами, молодой порослью разнообразных кустарников; роскошные бархатные церковные шмели на глухой с нежными бледно-розовыми, сиреневыми цветками крапиве. Глушь, деревня, высокое небо. И неумолчное стрекотание кузнечиков, вскрики птиц, сытое бормотание гусей возле соседнего дома...

Сижу возле раскрытого окна, читаю краеведческую книжку — там эти споры — и отбрасываю с отвращением в сторону.

«Какая разница? — думаю я. — Орловцы, орловчане... Лишь бы жили, ходили, бормотали, как эти птицы, луга, речка. Слышали их, обоняли...»

А вечер надвигается, ползет бело-желтый туман от речки, резче пахнет травой, молодыми яблоками из сада, и я успокаиваюсь, забываю споры, отдаюсь весь этому деревенскому, древнему миру...

\* \* \*

Выпиваем, спорим, ругаемся... Небо зеленеет, луга цветут, поют птицы. А нам все равно — захмелели. И пытаемся говорить: кто как пишет, останется ли что-нибудь...

Гомон, дым коромыслом, а я вдруг вспоминаю Куприна, всегда хмельного, но и жадного до жизни, как он в трактирах говорил, обводя всех узкими татарскими умными глазами:

— Он как чистый спирт в девяносто градусов. Его, чтобы пить, надо еще во как водой разбавлять!

Говорил он это, бешено ревнуя, об Иване Алексеевиче Бунине.

\* \* \*

А Бунин, горячий, с каштановой мягкой бородкой, устало, горестно бросал о Ходасевиче:

— Муравьиный спирт, к чему ни прикоснется, все выедает...

Вроде бы и похоже, и как разно!

\* \* \*

Пригласили. Пошел. Научная конференция. Пушкин и Тургенев. Одному скоро 200 лет, другому — 180. Оба гении — как не послушать?

Сижу, слушаю и вдруг явственно вижу: Иван Сергеевич Тургенев, старый, седой, но по-прежнему острый, красивый, еще стройный, бормочет: «Перестаньте. Что вы говорите? Я жил, думал, любил... А вы?..»

И снова тишина. И это говоренье, говоренье... А рядом осеннее небо, грачи, как кружева, в нем, лай дворовых стайных собак, кружение мыслей, слов...

И не хочется конференций, словоблудия. Хочется жить, бродить, любить, как он...

\* \* \*

День проходит за днем. А я как в тумане. Читаю «Грасский дневник» Галины Кузнецовой. Как хорошо: «Говорили вчера о писании и о том, как рождаются рассказы. У Бунина это начинается всегда с природы, какой-нибудь картины, мелькнувшей в мозгу, часто отрывки...»

Потом еще говорил: «Жизнь писателя есть отречение от жизни...»

Которую любил, как никто. Всю жизнь отчетливо видел приближение старости и боялся, боялся гробового предела...

Как крик души, все эти повторяющиеся записи в дневнике: «А у меня все одно, одно в глубине души: тысячу лет вот так же будут сиять эти дни, а меня не будет. Вот-вот не будет...»

Все истинно так...

\* \* \*

Пузырятся, пузырятся и лопаются. За окном летний дождь, толчется в мелких лужицах на окраинной улице. Сидим в старинном писательском доме, спорим...

— Пятьсот романсов написал, — говорит один. — Шесть опер...

И встает, тонким голосом изображает, как это хорошо, почти гениально.

Сидим, слушаем — куда деться — коллеги. Встает другой, перебивает:

— Послушай, что я написал.

Читает, стихи плоские, вторичные, но внемлем — не обидеть.

Скучно, тошно, тянусь молча за рюмкой водки.

И вдруг третий:

*Прости мне в пречистом сиянье*

*За темные годы мои.*

*На теплой заре покаенья*

*Не поздно молить о любви.*

Посветлело, рассвело...

\* \* \*

Улица. Зеленая, прямая. Стоим, спорим: кто выше — Бунин, Набоков? Говорю:

— Строка Бунина дышит, теплая, как земля.

Отвечает:

— Ну и что? Строка Набокова как легированная сталь — холодная, но и одновременно упругая, иристая...

— Да, да, — соглашаюсь я, но и тут же возражаю:

— Крови нет, не течёт...

— А что кровь? — возражает мне высокий и холодный товарищ.

Идем, бредем по окраине — кругом густая трава, цветы, яркие, сладкие, хоть на картину.

— А как же без крови? — бормочу я.

Молчит, не отвечает.

А запахи текут, земля дышит, голоса птиц, журчит речка, синее небо — кругом жизнь, теплая, отзывчивая: круговерть...

И подумалось нам одновременно: тут мы — свои.

\* \* \*

Убеждают, что нельзя так писать. Ну что это за краткий рассказец — одна-две строки. Возражаю, говорю, что потому он и краткий. И подчеркиваю: не короткий, а краткий — разница. Мне снова упорно возражают. Напрасно доказываю, что слово надо слышать: как оно дышит, колыхнется. Не услышишь — умрет. Раз уж слова выстроились в ряд (неважно, сколько их) — бессмыслицы быть не может. Слова умнее нас, зазя не построятся. Это только у дураков так случается.

Сказал и осекся. Раз построились — значит, и грустные могут? Запуталось, перепуталось и вспомнилось — бабушка говорила: поплескал языком — отдохни.

\* \* \*

Как все усложнилось. Например, в литературе. Говорят, что Сорокин, Пелевин, Королев — прекрасные писатели. Спорят, доказывают, объявляют... Читаю — не понимаю. Не понимаю не потому, что сложно, а потому что — гадко. Какие-то нелюди, призраки, уборные, свалки и т. д. Стыдно, склизко, неприятно — далекие сочинители.

И возвращаюсь к Толстому — это он предвосхитил Чехова, Бунина, Набокова... А Набоков, любя Толстого, пошел дальше, усложняя письмо, как-то стал играть словом, но не так, как эти Сорокины.

«Глубокая яма, однако, в русской литературе между теми и теперешними», — подумал я. И тут же одернул себя: есть Распутин, Носов, Белов... — истинные наследники хорошей литературы.

\* \* \*

Окраина улицы, каменный писательский дом, что на берегу Орлика. Разговариваем, спорим. Дым коромыслом. Курим, не слышим друг друга.

— Пастернак плохой поэт, модернист.

— Нет, — возражает другой. — А Блок еще лучше...

— Что Блок? — вступает третий. — Гумилев — это да... Споры, разговоры об Есенине, Твардовском, Ахматовой... Все хорошо, все напиваются... А мне тоскливо, скучно. Там за высокими окнами жизнь, там женщины...

\* \* \*

Сидит, бормочет. Одежда старая, белая рубашка истончилась, светится от долгого употребления, штаны мятые, давно не глаженные, ботинки сморщенные, расхлябанные. Писатель, автор многих хороших книг...

За окном бездонное лиловое небо — так близкое ему. Он всегда любил, обожал лиловый цвет: колокольчики луговых цветов, крылья полевых бабочек, слюдяных речных стрекоз — все ему было мило! И рождались, рождались строки — редкие, полные, сладостные... Как у Чехова, Успенского, Бунина.

Так говорили ему. А он — тогда молодой, сильный, талантливый — отмахивался. Врете... Я еще хожу, сам вижу и выдаю, говорил он: «Зеленые подолы заката, голубой, сухой вечер... Дома с разинутыми глазами...» Под старость повторял: «У вас глаз расхристанный...»

Расхристанным стал и он. Окраина, скользкая скамейка, тянет сыростью от близкой речки, в небе ясная полная луна. И он, старый, никому не нужный...

\* \* \*

Крутой желтый берег речки. Отложения ступенчатые с прожилками, тысячелетние — Дворянское гнездо. Сижу,

208 смотрю. Внизу речка, блестит, играет на солнце, серебряно, хрустально, тенькают птицы, шумят деревья. Небо в прогалинах — летят куда-то галки, грачи.

А за спиной другая жизнь... Смута, нечеловеческие отношения... Горько.

Ранние товарищи встречаются, спрашивают:

— Как живешь? Что написал?

Отвечаю:

— Плохо. Не пишется...

— Ничего, ничего, — похлопывают по плечам. — Все впереди.

А что впереди? Они опять возвысились, ступают, как гусаки, опрятные, агрессивные. Им при любой власти — хоть бы хны...

\* \* \*

Побыл. Погрустил. Чистый лист бумаги. С трудом сажусь, мучительно думаю. Ничего не получается. А друзья-товарищи встречаются, говорят: «Происходят такие события, почему молчишь, почему не напишешь?»

Объясняю — не слушают.

Дальше — больше.

«Ты когда-то был такой, а теперь...» — «Что теперь?» — недоумеваю я. «Ну-у, — мнутя они. — Что тебе стоит написать?»

Взрываюсь и я. О чем и как? Попробуй напиши, сам сядь за чистый лист бумаги, возьми ручку и поведи ее. Все вроде бы есть, мысли так легко текут, а ежели еще сто грамм принял... Тогда уж совсем хорошо...

И наступает отрезвление. Одни потом прячутся, другие... Что другие? Не знаю. Иду на нашу речку, сижу, люблюсь тихой покойной гладью, смотрю на старые и молодые деревья, слушаю удивительно музыкальный писк разноперых малых и больших птах — и отдыхаю, молось Господу Богу, что он нам дал такое. Высокое небо, с востока синее-синее, на западе разноцветное, точно цыганская шаль, — и стоят, стоят высоко воздушные легкие облака.

Потом возвращаюсь домой и опять немею. Зачем этот белый лист и что можно сказать нового? И молось, как и



все, чтобы Господь продлил мои дни, чтобы вновь и вновь видел эту речку, небо, чтобы слышал говор птах...

\* \* \*

Слово стальное, слово мягкое, слово вещее...

Все слова, слова: куда от них деться?..

Говорит: «Одевайся, пойдем. Ты должен...» Другой: «Одевайся, нас ждут. Поговорим, посидим...»

Третий: «Не ждал? Одевайся. Приехали — ждем. Что? Узнаешь».

Узнаю — мать выздоровела, внуки прискакали — радость. Накануне был сон, вещие виденья — все будет хорошо...

И говор, говор, слова, слова. И как в Библии сказано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог».

Боже, спаси и помилуй нас, грешных, от лишних слов...

## Бог в помощь

Тоска... Декабрьская ночь, тишина... Не спится. Ах, как грустно!.. За окном — мутно-светло. Серебрится, зернисто блестит снег от мертвенно-бледной на чистом низком небе луны...

\* \* \*

Включаю свет, и комната озаряется жидким, желтым неживым светом. Окно тотчас темнеет, зеркально блестит, и я ясно, четко, как в настоящем зеркале, вижу свое отражение. Высокий, покатый лоб, лысая с седыми венчиками волос продолговато-круглая, как дыня, голова. Прямой и длинный нос, длинная гусиная шея. Глаз почти не видно, но я знаю, что они у меня желто-серые, кошачьи. Уши точно локаторы.

А за окном уже темно, глухо, слепо, ничего не видно, кроме отражающихся гостиничной квадратной комнаты, узкого стола, за которым тягостно сижу, кровати, застеленной кремовым в полоску покрывалом, висящей на железной палке голой лампочки, похожей на невидимую теперь луну.

Декабрь. Глубокая ночь. А мне почему-то вспоминается, видится бабий солнечный сентябрь, невесомо-стеклянный воздух, горбатая, крученая дорога и как я возвращаюсь из осеннего, праздничного леса с полной плетушкой грибов и мелких тугих янтарных диких яблок.

Шел я тогда по-над огородами и неожиданно наткнулся на огуречную грядку. Она уже вся высохла, сжалась от долгой августовской жары. По бокам ее лежали узловато-перекрученные, усталые плети.

И так грустно, печально, беспокойно стало мне. Трудно было поверить, что еще недавно на этих зеленых, сочных, живых плетях темно светились, росли, прятались в

густой жесткой шершавой листве маленькие и большие, прямые и корявые огурцы.

И почему-то тогда вспомнилась моя мать. Она так же высохла, истончилась, пригнулась к земле, как эти плети. А ведь когда-то цвела, была молода, полна соками... И родила, вырастила, выпестовала шестерых сыновей и трех дочерей.

Глубокая ночь. Декабрь. Канун Нового года. Я выключаю свет. И за окном опять весело сверкает, серебрится старый снег. Чернеют высокие, стройные старые деревья. И нет уже тоски...

Я еду к матери, которая живет по-прежнему в деревне. Живут там и мои братья, сестры. И только я, как осенний легкий лист, мотаюсь по белу свету...

\* \* \*

Декабрьское морозное, здоровое утро. Я иду в соседнюю деревню Зоревку купить сигарет, чаю, новогодних открыток... До Зоревки километра три—четыре, и идти нужно голым полем через мелкий длинный Устюхин овраг.

Дорога маслянисто-накатанна, мраморно-тверда, розовато блестит против солнца. Холодный, желто-каменный плоский диск солнца слепит глаза, льдисто-розово окрашивая большое снежное поле, темнеющие рощицы, былки прошлогодних трав по краям дороги, крупные силеневые колчи земли...

В чистом поле слегка поддувает, а идти жарко, приятно. Километрах в трех от дороги, на пологом белом взгорке, в мгlistой легкой дымке чернеет, четко выделяется ровный прямоугольник березового леса. И кажется, будто там выстроился полк солдат для парада. По склонам оврага, из-под глубокого свежего снега, как гусиные лапки, торчат маленькие бледно-зеленые замерзшие елочки.

Солнечно, однообразно, скучно блестит дорога. Обернешься назад — дорога сразу тускнеет, становится синевато-серой... И вдруг вздрагиваешь от сухого, жесткого, неожиданного верхнего скрипа — пролетает одинокий

212 ворон, тяжело взмахивая жутко-черными, воронено-блестящими крыльями.

И опять полевая зимняя тишина. Возле оврага, на самом краю его, стоят три тонкие молодые голые березки. Узкие округлые макушки их уныло обвисли. Лысые бурокоричневые ветви чуть покачиваются от ветра. Откуда ни возмись — сразу всей стайкой упали, ссыпались на них снегири, повисли спелыми грушами.

И мне тотчас увиделось, вообразилось жаркое августовское лето, сиротливо-заброшенный, заросший высокой травой, заспанный яблоневый сад, сплошь униженный на удивление крупной налитой янтарно-ароматной антоновкой, а у входа в сад — высокая сухая вековая груша с редкими румяно-спелыми плодами. Я помню до сих пор терпко-винную сочную мякоть, липкий, какой-то витой, сладкий сок на губах, пальцах, подбородке...

Возвращаюсь я на лесной кордон, где живу третий день, уже под вечер. Твердый золотой диск солнца медленно краснеет, становится малиновым, будто его разогревают, старательно накаляют в кузнечном горне, неправдоподобно стройная тень моя мерно шагает по синевато-молочному полю, тонкими длинными карандашами рассыпаны на придорожном снегу тени от былок...

Глухо, далеко, пустынно-гулко, как в пустой железной бочке, слышится из деревни зимний лай собак. Пахнет морозным сухим чистым снегом, далеким дымком, кислым мокрым навозом от недавно вывезенных куч...

Грустно, печально, безжизненно... Я достаю сигареты и, пряча зажженную спичку в ковшике ладоней, отворачиваясь от ветра, закуриваю. При затяжке раскаленноугольный кончик сигареты коротко, резко пшикает, как мокрая порошина, золотисто-огненно сверкает, пуская ядовитый синий дымок. И растекаясь, он тает, растворяется в синеем уже воздухе.

Безлюдные, потухшие, слепые поля. Металлически-гладкая, тягуче-серая, печальная дорога. А мне радостно, знобюще-сладко, хорошо...

\* \* \*

Сиреневая предвечерняя пора. Душно, парит. Оранжевое солнце, светлые столпы в просветах густых рыжевато-пепельных туч на западе, сиреневые опушки леса, резиново-тугая дорога, полевая даль... Небесная игра красок, предзакатный огненный блеск, розовая туманность на дальних полях.

Деревья с западной стороны теплы, приятны, с восточной — как-то темны, холодны. И в бездонной выпуклой тверди неба прозрачные, серебристо-легкие облака, как дамасский газ. И нежно-малиновые цвета вокруг.

Иду, смотрю, встречаю: баба старая, древняя, юбка пестрая, голова закутана платками — снизу белым, поверху толстым темным, шерстяным. В темных тонких руках склизкая ореховая палка, глаза — что ночь, сама прямая, тонкая, как молодая лозинка.

— Бог в помощь, — говорит она, покачивая высушенной ореховой головой.

— Бог в помощь! Бог в помощь! — откликаюсь я. А кругом — тишь, высокое изумрудное небо, горько-сладкий нектар полевых цветов, трав, мягкий стрекот кузнечиков, глянцевитое море хлебов... И лиловая, тугая, накапанная дорога, виляющая к горизонту, темному, прямому, будто подстриженному ельнику.

И чья-то добрая забота, чье-то заступничество в этом прекрасном и кровно близком нам мире были разлиты в эту минуту вокруг нас.

— Бог в помощь, — тихо сказала она опять.

— Бог в помощь, — ответил я.

А кругом все зеленело, цвело, сладко спела рожь, пусто, поло куковала кукушка...

Заплатанное разноцветное небо, заплатанная печальная судьба! А я уже был где-то там, в той далекой вышине...

## Моя Коровинка

**В**се чаще и чаще стала нападать на меня тоска по родным местам, родному селу Коровинка, где когда-то родился, бегал маленьким по пыльной ухабистой улице, мягкому травянистому лугу, ловил пескарей и другую рыбью мелочь в извилистой речонке Ицке, пропадая днями на ней...

С чем сравнить те далекие военные и послевоенные годы? Часто голодные и холодные, но наполненные неповторимой детской радостью, радостью узнавания окружающего мира... Жила деревня тогда бедно, матери наши работали, как волы, не зная ни минуты отдыха, а на трудодни выдавали мизер — двести-триста граммов зерна. Техники в колхозе никакой, три-четыре лошади на все хозяйство, и женщины нередко скородили, пахали, волоча гуртом плуг, борону на веревках, изнемогая от такого нечеловеческого труда.

И так продолжалось долгие годы. И деревенские женщины старели безо времени, прямо на глазах, а мы выросли тоже не по годам, с самых малых лет втягивались в нелегкую крестьянскую работу.

Но и жила деревня тогда дружно, как-то не унывая. Помню праздники — Троицу, Покров, Масленицу... И как табунились ребята, девки, собирались с окрестных поселков, хуторов в небольшой лес, а зимой по избам пели, плясали почти до утра, выставляли на стол последнее, чтобы не осрамиться, ублажить гостей — не дай Бог обидятся.

Избу зимой искали попросторнее, керосин приносили в пузырьках вскладчину, чтоб хватило до первых петухов. А хаты в основном были тесные, под солому, и воняло в них навозом, землей и чем-то еще кислым, затхлым —

полы были земляные, теленок, ягнята в стужу находились в избах.

А после праздников опять наступали будни, унылые, однообразные, беспросветные. Приезжали и уезжали уполномоченные, менялись председатели, а колхоз все хирел и хирел, словно чахоточный. И посыпались люди из деревни в разные стороны, в города. Уехали и мы.

И вот стало забываться все тяжелое, а вспоминаться только хорошее, радостное — эти посиделки на Святки, колядки, росный седой луг. Винтовая гора, с которой так сладко и жутко было мчаться на «ледянках», на самодельных лыжах. Мать, вздыхая, иногда говорила мне: «Давай-ка, сынок, съездим в Коровинку, навестим своих». Она так и не смогла привыкнуть к городу, к его каменным стенам, бензиновой гари — ей не хватало полей, простора, запаха сена, огорода, а больше — товаров, разговора с ними. И как радовалась она, когда кто-нибудь из деревенских заезжал к нам, ловила она тогда каждое словечко, печалилась или смеялась, узнавая деревенские новости.

А новости в последнее время становились все более отрадными: мое село Коровье Болото оживало, отстраивалось, колхоз становился на ноги. И в свой недавний приезд туда я сам убедился воочию, что это так. Вот только несколько сухих цифр и фактов.

Еще совсем недавно в колхозе «Заря мира» было меньше ста трудоспособных. Комбайны, трактора работали не в полную смену — некого было сажать за штурвал. Теперь трудоспособных около 140 человек. А председатель колхоза Михаил Игнатьевич Кузьмин все недоволен: мало, мало... Я же смотрю на него с любовью и думаю: «Какой же ты неугомонный, жадный человек. Все залезаешь в долги, берешь кредиты и строишь, строишь. Целая новая улица выросла из красивых домов, со всеми удобствами, о которых и не мечтали раньше...»

Он же, будто угадав мои мысли, бурчит: «Фронт работ надо расширить, то да се....»

Сложен все-таки человек. Час еще назад, возя меня по хозяйству, показывая новые добротные фермы, ток, мех-

216 мастерские, гордо перечислял: «62 коттеджа и 27-квартирный дом уже построили, школу, детсад, столовую, дорожку до Орла...» И не просто перечислял, а вылезал из машины, водил меня и по домам, и по столовой, хвастался, как она оборудована, красиво расписана, в ней теперь играют все свадьбы...

Показывать, хвастаться было чем. Я совсем не узнавал своей Коровинки. В свое время до Кром добраться было проблемой, особенно весной и осенью. Теперь же до Орла хоть катись на боку по асфальтированной дороге. Автобус ходит три-четыре раза в день. Правда, бывает не ходит и неделями, но это уже вина не председателя, а капризы орловских транспортных начальников, которые изрядно портят настроение моим землякам.

Школа совсем «добила» меня. Светлая, уютная, какая-то веселая. Директором в ней — жена Михаила Игнатьевича — Нина Николаевна, в чем-то похожая на свою школу, такая же светлая, приветливая. Приветливая-то приветливая, но и неожиданная. Поводив, показав классы, большой школьный сад, тут же и проворчала: «Мало уже восьмилетки. Среднюю надо строить».

Муж начал оправдываться, говорить, что нужны новый Дом культуры, стадион, парк, то да се, а она и не слушала его, говорила свое: что растут дети, их, к счастью, рождается все больше и больше, вон уже по деревне бегают шестьдесят два дошкольника, да в школе учатся тридцать...

«Как шестьдесят два?» — не поверил я. «Да-да, шестьдесят два», — подтвердил и Михаил Игнатьевич.

А не поверил я потому, что в свой приезд лет десять назад деревня поразила меня и днем, и вечером своей мертвой тишиной. Помню, как я вечером пошел в клуб, но клуб оказался на замке — некому там было танцевать, веселиться. В этот же раз клуб был битком набит, в фойе малышня играла в бильярд, а в зале танцевали под светомузыку модные танцы, и я отметил, как нарядно, по-современному одеты все, не хуже городских, а ведь Коровника моя — глубинное село.

А вечером я, отчего-то печальный и тихий, ушел далеко за деревню, на высокий бугор, и все стоял там, стоял, смотрел на темнеющие дома, редкие электрические огоньки на



столбах, мерцающие приветливо, как звездочки, и жалел, что не взял с собой мать, стара и больна она стала, и слышалось, как она молила: «Возьми, сынок, последний раз взгляну на родную сторонку...»

Ах, эта «малая» родина, которая так сладка и близка становится с годами и с годами по которой все сохнешь и сохнешь больше, больней... У каждого она своя, разная. У меня моя Коровника, вроде бы и не очень-то пригожая на вид, почти голая, без садов, с мелкой речонкой внизу, с холмистыми полями вокруг, но такая близкая и понятная, самая дорогая для меня...

*Январь, 1990 г.*

---

*Примечание редактора:*

В селе Коровье Болото Кромского уезда Орловской губернии в 1835 году (за век до Ивана Алексеевича Рыжова) родился Иосиф Федорович Каллиников, дед известного русского писателя Иосифа Федоровича Каллиникова, умершего в 1934 году в Праге в тоске по родному краю.

(См. сб. Орловского государственного университета «Творчество И. Ф. Каллиникова в мировом литературном процессе». – Орел, Вешние воды, 2004. С. 26)

• КРАТКИЕ РАССКАЗЫ •

## Мост

Мост. Вечер. Фонари отражаются в реке длинно и похожи на узкие прямые стаканы. Река посередине отсвечивает червонной медью, и вода кажется тяжелой, беременной.

И вспомнилось вдруг:

«Жизнь лучше, до смерти близко».

И подумалось:

«Зачем суета? Зачем обиды всякие?»

## Ласковый

О пять наступили прелестные дни: солнце, высокое небо, тяжелая рябь на тяжелой бутылочной воде, — и тонкий, голубой туман, таявший от солнца. Пустой голый берег, черные, как кружева, птицы в лазоревом небе, лазоревая заря — упоительно!

Кто-то жжет собранные листья, едкий сладкий дым от них, от курушек; терпко, горько — осень, глубокая пора... Одинокий крик медленно реющего ястреба, белоснежная стая голубей, мокрые светлые крыши, и бабка Егориха.

— Зачем пришел?

— А-а, бабка, дай выпить...

— Дурень...

— Не-а:

*Миленький, не стучайся,  
Хорошенький, не брякайся;  
У переднего окна  
Только поцарапайся.*

— Ах ты, словоблуд, ах ты, ласковый... Пойдем.

Идут, молчат. Стираются в глубине сенец.

А небо голубеет, а ястреб все орет, о чем-то плачет, а кошки, собаки бегают, летают бабочки, птицы — все Божье чудо, все хорошо!

Я

Пологий желто-серый скользкий берег, яшмовая ряска, спокойная стоячая вода — и я. Сижу, смотрю, улыбаюсь — солнечные блики, легкая рябь, пырх-пырх — мелькает, бегаёт вниз головой по серому усталому толстому стволу вяза нарядный королек... Радостно! Вдруг всплывает, отряхивается водяная старая крыса. Сухие иголки торчком — умылась, огляделась — поплыла дальше.

В далеком синем небе птицы, гомон, близкое треньканье синиц, на руках, пиджаке божьи коровки...

Даль, синева, бутылочно-зеленая речка, вековая блаженная тишь, кроткое, умиротворенное поле, стойкий лай деревенских собак — и я.

Хорошо!.. И молюсь: «Господи, продли все это: речку, птиц и меня в этой горькой и прекрасной жизни...»

## Хулиган

**И**я — хулиган. Пестрый, помятый, с опухшей рожей. Стою, любуюсь, она прыгает, бежит по тонким малахитовым веткам — серая птичка с глубокими ободами вокруг глаз, вдруг останавливается, упирается черным взглядом: глаза-точки, бусинки, будто спрашивает: «Зачем пришел, откуда ты?»

Похмельно, тошно. Нагибаюсь, шарю руками — найти камень, бросить в нее. Яркие лучи солнца слепят, запахи дурманят голову, а она: «флиу-лиу-у», поет, чирикает, сладко голосит...

«Зачем я и почему я?» — смутно думаю я, глядя на эту пичужку, и вдруг трезвые слезы текут и текут по обросшим седым щекам...

## Конфета

Городской парк. Сижу, смотрю, вижу...

Солнце только-только село, западная гладь неба светится, играет всеми красками: то охро-желтыми, розовыми, то зелеными до бледности... Легкие высокие облака стоят, словно дожидаясь кого-то, меняют свой цвет прямо на глазах, — и небо многоцветно, нарядно, празднично... Красота там истинно неземная, дивная, ни с чем не сравнимая!

Середина апреля. Голые липы, дубы угольно-черны, точно обуглены. И только клены, березы уже слегка, нежно опушены, усеяны зелеными мушками и оттого необыкновенному пленительно-прелестны. Сладко пахнет нарождающейся травой, еще робкой, бледной, но уже живой, прелью прошлогодних листьев, сыростью близкой речки за крутым каменно-желтым берегом.

Тишина, покой, благодать... Какая грусть! На сухой ветке весело тренькает, хрустально попискивает (будто насмешничает) нарядно одетая, но с уже полинявшим черным галстучком синичка. А на соседнем дереве, самой макушке его, дуется, однообразно орет молодой грач. Орет растерянно, истошно, раз за разом ныряя головой вниз. Река с заходом солнца как-то суживается, выпукло полнится, тяжелеет, будто беременеет, наливается червонным золотом...

По прямой аллее идет и идет пестрая толпа. И вдруг выделяется одна — молодая, гибкая, слегка раскрашенная... Взгляд узких глаз бегучий, голова раскрыта, ухожена, волосы цвета меди мягко, волнисто текут на узкие прямые плечи...

Косой, быстрый, изумленный взгляд в мою сторону — и тут же облизнулась, провела кончиком языка по лакированным губам, точно до сладкой конфеты дотянулась...

И еще раз, и еще... А у меня сердце обмерло. Молода, красива, женственна!.. **223**

А закат все так же прекрасен, все та же умиротворяющая благодать разлита вокруг, а на душе уже отчего-то тревожно, уже какая-то печаль завладевает мною и сладко томит, томит...

Как странно и как хорошо!

## Близкая

**И**ду. Плачу. Нахожу — консервную ржавую банку, крутой берег, бледное небо... И ее в розовом платье с вырезом сердечком на груди. Грудь тугая, маленькая — не прокормить детей...

А день все удлиняется, она все укорачивается, улыбается: улыбка щербатая, застенчивая... и все повторяется.

Плачу, нахожу, теряю...

Тонкая, недавно деревенская, неожиданная, близкая...



## Дорога

-Люблю, дарю и плачу, — говорит он.  
— Ненавижу, — говорит она.  
Сошлись, разошлись, заплакали...  
Солнце, провальное небо, серые воробьи, пыльная  
дорога...  
И они, одинокие, нужные друг другу...

## Что лучше?

«Дивны дела твои, и душа моя вполне понимает это», — сказано в Псалтыре.

*«Алые сливы в цвету...  
К той, кого никогда я не видел.  
Занавески рождает любовь», —*

сказал древний японский поэт Басе. Что лучше? И нужно ли лучше? Молось. «Дай, Господи, мне то и это...»

## Бормотанье

-Д ля милого дружка — и сережку из ушка, — говорит она.

А у него редкая жаровая рубашка, сам стройный, но уже старчески сух, в меру пьяный, толстые губы врастяжку, живот глубокий, поджарый... Она вихляется крутым объемным задом, путано, возбужденно говорит.

— Я шла, шла, тебя нашла...

Он так же путано отвечает:

— Подсолнухи цветут. Ты...

— А что ты? — перебивает она, розовая, пухлая, желанная...

— Нн-у, — бормочет он. — Кислая...

— Дурак, — обрывает она.

Рот широкий, щербатый, глаза узкие, припухлые, однако для него хороша.

— Нн-у-у, — бормочет она. — Хочешь?

Он обалдевает, замирает, тупо соображая... А солнце ярко и празднично светит, поют птицы, хрустальный звон их летит, летит, умиротворяя душу... Нехороша, немолода, бокаста, а как замирает сердце.

## Царевич

**Х**одил — приходил — ушел. Ушел от разговоров, пьяного дыма — на крутой берег речки. Сел, задумался, заплакал. Птичка бегает: трясогузка; утки плывут, собака лает, и я, такой одинокий. Вчера встречались, говорили, клялись. А сегодня все врозь. Обидела.

Голоса птиц глухие, хриплые, вода в речке мутная, тяжелая, утки серые, далекие — все блажь, все не нужно.

А внутри все что-то гложет, все не дает покоя, и вдруг какой-то лучик, какой-то звук... Вспоминается ее лицо, узкое, в мелких крапинках веснушек, точеные полные руки, длинный стан и ее розовое шелковое платье, обтягивающее всю. И как она говорит: «Люблю, не могу, желанный...»

Вспоминаю, лучусь, и все лучится вокруг: речка светлая, прозрачная, голоса птиц хрустальные, деревья высокие, изумрудные, утки-лебеди и я — царевич...

## Шорох

**В**етер легонько колышет листву деревьев и легкие платья женщин. Шелковый шорох...

## Былинка

Г лухое поле. Длинная дорога. На спуске былинка. Стоит, качается от ветра. Сухая, одинокая, буро-серая... И увиделось вдруг родство с ней: такой же одинокий и никому не нужный...

## Утро

Раннее деревенское утро. Росные травы по пояс, блестят, переливаются катышками серебряных капель. Небо еще бледно, солнце только-только поднимается из-за ближнего крутого бугра, еще сонно, но уже весело взлетают овсянки, хрустально возвещая о новом молодом дне. Застонал чибис на ближнем изумрудном свежем лугу. Как хорошо! И неторопливо шагая к узкой, увитой сплошь ивами, речке, говорю себе:

— Дай, Господи, полной жизни, светлого неба, этой зелени. И подольше дней, лет... И так бы ходить изо дня в день, все это видеть... Что еще нужно?

## Обида

У

1

тро. Роса. Жидкий сиреневый туман. Неподалеку в саду квохчут, тяжело перелетают сытые дрозды, стоит блаженная тишина — все в поле, на огородах. На скате железной крыши старого дома сидят, хохлятся против солнца белоснежные голуби.

На обочине дороги, мокрой, грязной, лежит, дремлет мужик. Небрит, волосат, страшно помят, крепкие ноги широко раскинуты. Вдруг просыпается, дико орет:

— А-а, засунули, отгородились...

Замученные желтые глаза глядят бессмысленно, исподлобья — лоб широкий, тугой, коричнево-грязный, лицо крупное, но уже старое, пористое, опухшее от пьянства. И опять повалившись вниз лицом в придорожную синева-тую грязь, начинает рыдать...

А сладкий запах росистой травы, цветов наполняет свежий воздух, кружит голову. Тишина, пустота, одинокий страшный победный крик ястреба, зависшего над старым садом...

2

Идет, ковыляет, одна нога короче, суше другой — в детстве сорвался с дерева. Деревня бедная, послевоенная, долгая... Квохчут, перелетают дрозды — неподалеку заросли кустов, самовольные посадки берез. Где-то кукует кукушка. А он бредет, оглядывается, вокруг — тишина, ненасытная даль...

— Подайте, — просит он.

И вдруг из окна, большого, заслоненного старыми деревьями, выглядывает мордоворот: лицо, что кирпич, крас-



ное, надбровия толстые, первобытные, рот как у лягушки, гундит:

233

— Ходишь? Все вы лодыри. Бог подаст. Иди — откуда пришел..

Ниций застыл, заплакал. Заплакал навзрыд..

## Осень

Глубокая осень. Тоскливая пора. По железной крыше дробно стучит дождь, будто кто выбивает чечетку.

А он сидит на завалинке, в старой шапке, на ногах разбитые сапоги, лицо суздальское, снежно-розовое, вроде бы и нестарое, но такое печальное, далекое. Глаза провалившиеся, размытые.

Сидит застылый, необыкновенно ненужный, чуждый всему миру...

Зачем родились?

## СНЫ

## 1

Приснилось. Зима, метель. Вьюга. В поле ни зги. Охотимся. Гладкое, точно скатерть, поле: выстрел. И вдруг плач: детским голосом орет раненый заяц, уже выбелившийся русак. Лобастый, с глазами, золотистыми внутри, живыми... И плач такой тонкий, близкий, родной...

Просыпаюсь весь в поту, бессмысленно озираюсь, не нахожу себе места.

Не приведи, Господи, таких снов...

## 2

Слежу, слежу, падаю — не возвращаюсь. Солнечный ослепительный день, прозрачный ручеек, затхлое болотце, изумрудная тина, лучистый луг... Где я? Что я?

— А-аа, лепестки, червонная дама...

— У-уу, вшивый король...

Идем, орем — в горную деревушку. Сливы уже зацвели, лепестки бамбука? Отозвались чьи-то голоса — Япония?

Сон, полувявь, лихорадка... И она? Красивая, темноглазая, нагая, с льющимися волосами по узким твердым плечам...

## 3

Какая-то далекая глухая деревня. Старые деревянные засохшие дома. Рядом узкий длинный пруд, весь в изумрудной ряске. Великая тишь, благодать...

Возле крайней избы растут, высятся три березы, и на одной из них грач, тугой, резиновый, орет, что-то пророчит. Угадать бы...

И дали, дали, светлые, туманные, голубые, разные...  
Кудахтают куры, крякают утки, голосят птички... Голошу и я.

Древняя густая луговина, почти голые рыжие бугры в редкой прозелени трав, заблудшая ленивая речка, увитая низкими лакированными лозинками, и длинное мычание худых потрепанных коров. И летает, летает мотылек, шелковая лиловая бабочка...

4

Бормочу, бормочу: кто я, зачем я? Сон, разноцветные картинки: лечу, падаю, зеленый луг в золотистых одуванчиках, стройные кони, бокастые желтые коровы. Все мешается, и четко возникают дьявольские рожи... Ору и просыпаюсь.

Раннее тусклое утро. За высокими окнами какой-то неясный шум, резкий скреб лопаты — дворничиха убирает тротуары. Зима, ледяной воздух — в открытую форточку. Ежусь, соплю, тяжело разлепляю веки и пытаюсь вспомнить сон: летний, сладостный, страшный... и никак не могу вспомнить.

Что за Божье наказание — эти сны...

## Объяснились

— Угу, — сказал русский.

— Ну-у, — сказал каштановый.

Помычали, постояли, вскинули глаза на высокое, далекое небо, пьяно подышали, раздувая ноздри, потоптались, вдруг обнялись.

А птицы все тонко оралы, серебряно пели, а чибис все мотался, все голосил на сыром лугу, а они, невнятно бормоча, пошли к сельмагу...

## Встретились

**В**стретились, поговорили, разошлись.

— Какой-то вид у тебя несъедобный, — сказал на прощание высокий, слегка молью траченный.

— Да, да, — согласился второй, низкий, бочковатый, кучерявый без волос, как говорят в народе. — Настроения что-то нет.

Настроения не было и в природе. Низкое туманное небо, глухая речка, голые берега...

Тоскливо...

## Светлый день

Пасха. Христово Воскресенье. День светлый, осиянный, золотистый луч солнца падает на кладбищенские ограды, деревья, церкви, истошно орут угольные грачи; голая, сонная пока земля, черные, точно сигары, деревья — и всё жизнь, всё дивно.

Сырой северный ветер, липкая серая грязь, легкие барашковые облака, сине-лиловое высокое небо — весна, весна...

И бесконечный поток людей на кладбище. Лица строгие, скорбные, улыбочивые — разные. Слышу — и не слышу. Тоже иду. Там у меня отец, родной брат. Крошение яиц, хлеба, рюмка вина среди могильных оград. Как и у всех. И отдельно, и со всеми вместе, щемит и щемит, саднит сердце. Какая-то мысль все точит, не дает покоя, а взгляд скользит и скользит; первая рюмка в горевании, вторая за упокой. И уже веселый говор, споры... Орут дурные грачи, орут и вокруг. Зачем? Почему?

Заповедное место, где покоятся близкие. И вдруг высокий пергаментный голос:

— Для милого дружка и сережку из ушка...

Оглядываюсь и не верю: за низкой кладбищенской стеной пляшут — молодые, нарядные, пьяные.

«Господи! — молюсь я. — Прости нас, грешных. До чего дожили...» Мысли как-то путаются, черная тоска наваливается на меня, и я говорю старенькой матери:

— Помянули, посидели, пойдем...

Мать, понимая:

— Не гневись, сынок, Бог все видит...

## Пепельница

**А**х, Господи, ах, Господи! Как мало нужно — сходил в церковь. Поставил свечку. Потом приобрел на улице серебряную пепельницу.

Сижу, люблюсь, трогаю указательным пальцем. Звенит, переливается. По краям прелестные, тончайшие завитушки, блестят, молчат; размытая чернь, мелкие углубления, широкое дно, рубчатые стены — глубокая старина. Принадлежала, наверное, господину, купцу, воину... Теперь — мне. Пепельница — ковшик, судно, ладья — плывет, идет, бежит...

Странно — бегу и я. Зачем? Куда? А все-таки бегу...

Кривая дорога, кривые мысли. Но кривые ли? Высокое небо, кладбище, воронено-черные грачи, седые вороны, серые суетливые воробьи, на могилах древние стертые плиты, надписи... Не разобрать. Купцы, воины, мещане... Тонколикие, толстомордые, бородатые, гладковыбритые, с застывшими, немymi лицами, говорящими цифрами смерти и рождения на старых и новых мраморных, железных памятниках.

Почти у входа сидят, окаменев, муж и жена, ветхие, согнутые, с любящим, устремленным взором к могиле, к сыну, умершему ранее их...

А где-то вверху, в смушковых кронах деревьев, весело звенят, переливаются, точно моя серебряная пепельница, молодые голоса птиц.

Как близко, как непонятно и как сладко все это — древность, молодость, одинаковая, безнадежная печальность... Но одинаковая ли?

Горько, отчаянно скорбно, нестерпимо. Иду, молчу, плачу...



## Плачу

1  
— Уехал вскоре Вася, а Марфа Васильевна еще больше ушла в работу. Еще экономнее стала. Кур, гусей не резала к столу. Все на базар, — печально говорит она.

Старая, согбенная, проворная. Все лотошит, что-то делает...

Дом просторный, но как-то одинокий, пыльный, уставленный разными безделушками.

Она — приживалка, бездомная старуха. На нее покрикают, та же Марфа Васильевна кочевряжится, изгаляется — хозяйка дома.

А она опять жалостливо:

— Вася — он добрый, хороший. К стеночке приклонится, пожалеет...

И стирает с усохших коричневых щек слезу.

Жизнь...

## 2

Погоду сглазили, нынче весь день льет.

Сиж у заплаканного окна, тоскую...

Вспоминаю Ливны, Мармыжи, как там был, ходил по худым старым улицам, смотрел на древние темные дома — заросшие крапивой, лопухами, еще какой-то травой, и все это было близко, понятно, печально...

И вдруг наткнулся на монастырь, разрушенный, давно заброшенный, стены раскрошились, в основании гладкие, замшелые глыбы — камни. И рядом погост. Плиты, деревянные сгнившие кресты, заброшенность... Тяжело...

И навернулись непрошеные слезы — как мы беспамятны, глухи, одиноки...

## ОДНИМ ГЛАЗОМ

С старая деревня. Заросла бурьяном по самые крыши. Одиноко, глухая улица. Сидит, дремлет, в теплой шапке, в смятых сапогах, никому не нужный. Дни мирные, очаровательные.

Мимо идет старуха Марья, согбенная, но, однако, еще шустрая. Останавливается, пристально вглядывается, потом говорит:

— Сидишь?

— Сижу, — устало отвечает он.

— Ага, — неопределенно соглашается она. И вдруг взрывается.

— Как смотришь на теперешние события? Пенсию получил?

— Как, как, — отрешенно отвечает он. — Как и ты...

— Дурак, — плюется она.

Он молчит, ничего не отвечает. Кривой, одинокий, почти что слепой глаз взмаргивает, пустая белая глазница другого напрягается, он поправляет свалывшуюся шапку, ерзает задом и... опять молчит.

Старуха Марья почему-то сердится, громко спрашивает:

— Как смотришь на теперешнюю жизнь?

— Как, как, — зло отвечает он. — Одним глазом.

Предвечернее время. Весна. Вдали черные гряды посадок отчетливо выделяются на ясном небе. Терпкие запахи поля, трав... И рядом, над головой, стон, стон, воркование перелетающих с места на место горлиц...

— Одним глазом, — мертво повторяет он.

А сам напрягается, устремляется куда-то вдаль...

Что ему видится, слышится там?

Один Бог знает...

## Праздник

Глухая деревня. Успение — престольный праздник. Пляшут три девки. Трясут рукавами, притопывают, брызгают желудевыми, карими, смородиновыми глазами.

Голоса дурные, вещице, звонкие...

*Пойду плясать, альни полхрустит,  
А я девка молодая — меня Бог простит.*

Простит, простит... Мимо идет дед Степан, останавливается, изумленно говорит:

— Ах, хорошо. Как хорошо. Как нужна гармошка, — с тоской повторяет он.

Глухая далекая деревня. Гармониста нет. Горячее солнце. Даль полей. И они: три девки, дед Степан и я, случайно попавший сюда...

## Орловская

Улица. Переход. Базар. Запахи — не продохнуть: петрушка, эстрагон, огурцы...

Иду, нюхаю, восхищаюсь.

— Бабуля, сколько стоит?

Молчит, вскидывается, говорит:

— Сколько дашь, сыночек.

Оглядываю, замираю: огурцы светло-зеленые, прямые, тонкие — прелесть. Помидоры не привозные, орловские — на вкус кисло-сладкие, розовые, петрушка завялая, стручки перца кривые, бледные, а рядом хохлушки со своим товаром: там все ярче, глазастее... Гомон, крик.

Летнее утро. Запахи. Душно.

— У меня все чистое, настоящее, — говорит она, старая, печальная, почему-то невыразимо близкая.

И я отворачиваюсь от тех, бойких, крикливых, и опять спрашиваю:

— Хватит?

А она низко кланяется, говорит «спасибо», а запахи все плывут и плывут, все толще толпа народа, и она, такая старая, необходимая. Орловская...

## Глухомань

**А** писалось это, как сейчас помню, в ту далекую пору. Одинокая речка. Серо-зеленый ствол дерева. Крики на огороде. Убирают картошку. По деревне бредет нищий, с кожаной потертой сумкой за спиной, глаза тусклые, длинные засаленные волосы до спины. Одежда жухлая, старая, лицо спеченное, немытое до пятых колен...

— Подайте, — просит он.

Голос унылый, треснувший, и вдруг преображается, пляшет перед домом — солидным, деревянным, в полтора этажа, с кружевными наличниками, поет:

*Меня милка схоронила  
Под свою пухову шаль.  
— Дорогая, дай пошарю?  
— Дорогой, пошарь, пошарь!*

Дом глух, никого нет, и он успокаивается, идет дальше...  
Полдень, глубокое синее небо, пустынные улицы почти заброшенной деревни.

Глухомань...

## Та́ю

**Н**ачало декабря. То мороз, то дождь. Погоды странные, смутные, слякотные. Чуть ли не конец света — по определению дворовых старух.

Гуляем по улицам, в парке с внучкой. Я уже старый, ей три года. Идем осторожно — скользко. Посмотрела вокруг, говорит:

— Дедушка, давай еще медленно поскользим.

Чуть-чуть прошлись. Заморосил непонятный туманный зимний дождик.

— Дедушка, слышишь, как шелестит дождик...

Удивляюсь: как слышит звук? Откуда эти слова?

А она:

— Я люблю дождик.

Холодно, ветрено, а ей хоть бы хны.

Повернули, заспешили домой. Скользко, то и дело падает.

— Дедушка, ножки хулиганят.

Спрашивает уже перед домом:

— Ты меня любишь? Я тебя очень люблю...

Та́ю...

## Воробей

Скачет по улицам, глухим тупикам. Серый, порой обтрепанный, но всегда живой. Там клонет, там взлетит — опять живой...

Гляжу — удивляюсь.

Мне бы так скакать, не оглядываться. И вдруг встречаемся:

*Памяти Е. И. Носова*

*Стареют радости мои,  
И обновляются тревоги,  
На изумительной дороге  
Душа об отдыхе молит.*

Читает бомж, старый, обтрепанный — пьяный. Остановливаюсь, замираю, спрашиваю: кто? Он мнетя, что-то мычит, потом вспоминает:

— Мустай Карим.

И как молния: русские, башкиры, татары — одна суть. Спорим, говорим, кричим: а радости стареют и обновляются тревоги.

## Листочки

**С**тарая, близкая, не говорит, почти шепчет своими пепельными толстыми в рубцах губами:

— Доченьки что листочки — разлетелись. Мужика нету. Зимой грозой убило, весной паводком утащило... — Бормочет, бормочет, крестясь сухой длинной рукой. — А такой представительный, животастый был...

А за высоким окном речка, зеленые деревья, пестрые куры, гуси, писк птиц... Широкое хлебное поле.

Ах, эти доченьки-листочки...



## СТИХИ

Когда-то, в какой-то деревне... Жил, был — я. Пришла она, небольшая, седая, но глаза молодые, яркие. Спросила: «Можно?» Ответил: «Да». Уселась, вытерла платком глаза, оглянулась. А комнатка, в которой жил, была узкой, тесной, но с божницей: лик Божьей Матери смотрел на нас. Перекрестилась, помолчала, потом вдруг:

*Никому я не сказала,  
Что муж пьяный у дугу,  
Сердце я себе скрепила  
И на выручку иду.  
Никому я не сказала,  
А на сердце все держала...*

Оторопел. А она монотонно голосила:

*Что муж пьяный целый день,  
А жена что колесо.  
Облетела она все,  
И на месте не была,  
К дому трактор подвела.*

«Конечно, подвела, — подумал я. — Истинная, настоящая...»

А она опять вдруг поднялась, молча вышла. Зачем пришла? Что хотела сказать?..

## Радостно

**Р**аннее утро. Росные травы блестят, переливаются катышками серебряных капель...

Тишина и нарождающийся блеск солнца. Уходит, тает молочный седой туман. Солнце набирает силу, и воздух начинает лакомо дрожать, переливаться, легкое марево волнами ходит над сизой пахотой широкого поля; приближается, удаляется темный, на глазах светлеющий лес, слегка рябит, морщится глянцевавшая гладь пруда, вода в нем темно-зеленая, бутылочная, крутые берега его точно опоясаны зеленым смушковым воротником из плакучих ракут. И, весело гудя, тонко звеня, деловито перелетая с цветка на цветок, работают шмели, пчелы. Трава еще жидко дымится понизу, но уже сухо, жарко вокруг. Стекловидные стрекозы то замирают, то вдруг взмывают, ныряют к самому низу пруда.

Глинистые желтые берега его жарко горят, четко отражается в глубине бездонное небо, и там, как в зеркале, видно все: корявые и стройные деревья, зеленый берег, стая летящих галок, короткие тени бегущих облаков и я...

Вдали, у узкого устья, изумрудно светится, лениво покачивается острая кинжальная осока. И там орут, волнами перекачивается курлыкание, томный крик лягушек, крик радостно-печальный, первобытный, почти понятный... И суетится, ищет свое заветное место пегая, светло-серая, с длинным прыгающим хвостом трясогузка.

Сижу, смотрю и не насмотрюсь. Радостно!..

## Победители

22 июня — день памяти и скорби. Пасмурный день. Идет и идет, моросит теплый дождик. Наверное, Бог вмешался и послал людям слезы. Слезы по убиенным, невозвратившимся, вдовам, так и не дождавшимся своих мужей, сыновьям и дочерям, не увидевшим своих отцов. Ах, как горько и печально...

И читаю обращения в этот день высоких властей: «Люди, на долю которых выпало столько страданий и горя, выстоявшие в небывалых испытаниях, навечно покрыли себя неувядаемой славой, стали образцом для подражания. Это наши духовные, нравственные корни, идущие из глубины людской».

А рядом сосед: уже дряхлый, седой как лунь, в старом столетнем пиджаке, затрепанных штанах и ботинках, но фронтовик — в этот день надевает залежалый костюм, а на нем ордена, медали, выпивает рюмку водки и гордо говорит: — Сражались, победители...

Дом у него на окраине древний, деревянный. Текут потолки, разохлись сени: тазы, ведра в дождливую погоду стоят возле каждой щели. Пенсия мала — не отремонтировать.

Окраина. Сумерки. На западной стороне чистого василькового неба играет закат: то вознесутся легкие золотистые столпы, то вдруг разольется малиновая синева, окрашивая вокруг в тона нежные, немислимые...

Он сидит на скамеечке возле дома со своей женой, уже тоже глубокой старухой, молчит, о чем-то думает. Молчит и она.

Ах, какие русские старики терпеливые, гордые, славные...

## Любовь

Сидим, говорим, рассуждаем...

Вечер, предзакатное небо: веселое, разноцветное, сказочное — то вдруг пышные облака, как цветы, то гористые вершины, как скалы, то...

Прерывает:

— Закрываются люди. Отчуждаются...

— Но...

— Нет, — прерывает он, — никогда не поздно любить.

Сердце любит — годы не считают...

И он как-то тоже закрывается, не видит меня...

## Красота

День ясный, светлый, голубой. Высокий берег, внизу речка, узкая, гладкая, ни ветерка. Сижу, смотрю, не люблюсь. Вдруг выплывает водная крыса, иглы торчком, сухие — удивляюсь. Посмотрела, отряхнулась, поплыла дальше. А за углом, за острой изумрудной осокой, выплыли утята с уткой. Маленькие, с желтой опушкой, спинка серо-черненькая. Плывут, рыскают возле берега, по кустам, утка крикает, сторожится...

Полдень, вода застыла, бегают пауки, козявки, склонились ивы над зеркальной густой водой, где-то хрустально поют птички, завис в голубом небе ястреб, высматривая свою жертву...

Полдень. Жизнь — и я. Как хорошо!

## Предательство

- **Ч**то ты ценишь больше всего в дружбе? — спросил я как-то своего давнего приятеля.

— Дружбу, — не задумываясь, ответил он.

И, не задумываясь, предал своего давнего друга ради каких-то своих меркантильных интересов.

## Одиночество

Пухлая речка. Серо-зеленый толстый ствол дерева. Бегаёт, мелькает пичужка, редкая, разноперая, с малиновыми створами крылышек, белой грудкой, малахитовым хвостом.

Близкие крики на огородах — убирают картошку.

Ранний близкий день, слепящее солнце, тёплый, дурманящий от запахов ветер, на завалинке сидит о чём-то думает древняя согбенная старуха. Глаза ее уже потухли, усохшие руки неподвижно замерли на старой истончившейся одежде, бормочет:

— Петенька, зажила, возьми к себе...

Кто этот Петенька — не понять.

А она:

— Жили с тобой, радовались... Унуки не приезжают...

Бормочет, бормочет... Лиловая даль, долгий день, и так мрачно, безысходно становится на душе.

## Здравствую

С старая изба. Старая кривая улица. На старой мокрой крыше — голуби. Дикие, белые, сизые, туманные... И я, старый, сизый, но еще живой...

Высокое молодое небо и я — несовместимо.

И вдруг сверху шепот:

— Погоди, оглянись...

Оглядываюсь, живу, здравствую...

Старый луг со старой травой, старая речка, и она, молодая, красивая, стройная... Идет, точно пишет.

Как стара и молода жизнь...



## Жарко

**И**дет и идет, моросит мелкий дождик. За широким окном туманно, тоскливо. Рядом внук, говорит:

— Не по делу дождь плачет. Что ему плакать?

Удивляюсь: что ему плакать? А он уже о другом.

— Попью-ка я водички, а то во рту жарко...

Ах, как жарко быть с ним...

## Первый Спас

Лето уже на исходе. Отлетают в теплые края стрижи и ласточки. Вспоминаю: да сегодня — 14 августа — первый Спас. Сегодня — проводы лета. «У Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и ведро, и разнопогодье».

А в садах зреют плоды земные — яблоки и поздние груши, из земли достают первую картошку, туго наливаются кочаны капусты...

Небесная сфера переливается, набухает, отходит ко сну. Отходят ко сну и гуси, куры, птички на кудрявых деревьях. Замирают разные козявки, бабочки, жуки... Все затихает, не колыхается... Земная благодать...

## Художник

Сидит, смотрит. Почти вечер. Закат. Тяжелые темно-синие гористые с острыми золотистыми пиками облака. Из-за них прядают отвесно чернильные и светло-охровые столпы. Из вершин этих облачных гор извергаются огненно-дымные вулканы. А ниже еще горы, более прекрасные, более причудливые — фантастичные. Слева и справа все прозаично и обычно: легкие мелкие фиолетово-сиреневые облачка, но выше и дальше облака опять необычайно сложного цвета: розовость перемешивается с синим, мутно-белым, коричнево-кирпичным, перемежаясь с чистыми голубыми оконцами неба.

Таинственно, загадочно небо. Постепенно все краски тускнеют, тухнут, исчезают причудливые облачные горы, восток уже грязен, размыто небо, но еще на западе низкая полоска огненно рдеет, как уголек в деревенской печке.

Он наработался, вышел из мастерской, пошел на берег речки. И замер. Сидит, смотрит и не может оторваться. Как написать, нарисовать все это?

Дали, Ван Гог, Левитан... Все хорошо, но все не так... А как — он пока и сам не знает...

## Поэт

**Е**сть на свете такой поэт — Коля Перовский. Слегка сутулый, седой, всегда рядом с обаятельной Лидией, своей женой. Идут, воркуют, как голубки, о чем-то говорят.

Встречаемся, говорит:

— Написал. Можно почитать?

— Слушаю, Николай Михайлович.

Лидия Ивановна смущенно улыбается, тоже слушает:

*— Эта сонная заводь —  
день открытых дверей,  
здесь учился я плавать  
и удить пескарей.*

И дальше, дальше... А я уже там, в своей деревне, на узкой речке, широкой луговине, где бегал, орал, ловил самодельной удочкой скользких пескарей. Ах, как далеко и давно это было, как задел, заставил вспомнить это Николай Перовский своими стихами. Дивными, живыми словами...

А они уже уходят, исчезают за углом улицы, старыми домами... И я печально смотрю вослед им: ах, какие прекрасные люди, ах, какой неповторимый поэт Николай Перовский.

## Силуэты

Низкий зеленый берег Орлика. Толстая вода, гладь, как зеркало. Отражаются ивы, другие деревья и чистое голубое молодое-старое небо. Иду, гляжу и вижу: из-за поворота Петр Воробьев со своей собакой. Признаюсь: не люблю овчарок, разных ротвейлеров, бульдогов — укусят... А тут картинка: длинная, слегка горбатая, окраса белого с серо-темными, рыжими долгими пятнами, не идет, а воздушно плывет.

Удивляюсь и замираю.

— Не бойся, — говорит Петр Сергеевич. — Не обидит.

Застревает слово: «не обидит».

Стоим, говорим, обсуждаем разные дела, я знаю Петра давно и давно люблю его: актера, человека, близкого, понятного. Хоть и не раз говорил ему: в театр не хожу, лицедейства не понимаю, вернее, понимаю, но...

— Что «но»? — перебивал он. — Хочешь, прочту твоего любимого Бунина?

И читал стихи, даже прозу Ивана Алексеевича. И я замирал, слушал, удивляясь: какой богатый, талантливый Петр Воробьев. И благородный, широкий русский человек. Не знаю рода его и племени, не спрашивал, но уверен в одном: будь в роду его то ли крестьяне, то ли дворяне, то ли еще кто, но Петр Сергеевич — един, глубоко интеллигентный человек.

Иду по берегу и говорю себе: хорошо, что знаю, общаюсь с ним — талантливым актером, а главное, с чудесным человеком. А они уже удаляются, исчезают: Петр и его великолепная, дивная борзая. Длинная, горбатая, легкая, и вдруг, как током: поджарый, чуть-чуть горбатый, легкий Петр.

Как они похожи...

## Ради нас

**С**иняя речка, розовые берега...

Идет, плывет Александр Иванович Лысенко. Глухая улица и рядом шум, гам — строят какой-то дом для элиты. А улица была тупиковая, тихая, зеленая — сейчас не узнать. Орут рабочие, пылят самосвалы — пыль стоит, как серая долгая стена.

Чихаем, здоровкаемся.

Улыбается, как всегда, хоть и расстроен — вижу по лицу.

— Что так? — спрашиваю я.

— А-а-а, — неопределенно отвечает он.

А я уже догадываюсь: ходил по властным коридорам, просил денег на издание орловских писателей, на издания Бунина, недавно умершего Проскурина или еще кого-то — он весь в хлопотах, в беготне — часто не застать его на месте.

А застанешь — он и там в своих издательских мечтах — не понять.

— Не обижайся, — говорит он.

Я смотрю на него, усталого, задерганного, милого...

И понимаю — ради нас.

## Как не хватает его

**Х**ожу. Думаю. Живу. Хожу возле полукруглой арки, что рядом с домом Моисеева. Дома наши почти вплотную, проход сквозит, продувает ветром. Каждый день хожу, оглядываюсь: вдруг выйдет он — плотный, красивый, то с аккуратной бородой, усами, то без них...

А главное — всегда огромный, улыбчивый, близкий...

— Юрьевич, опять ты опоздал, — пеняю ему. А он так мягко отвечает:

— Прости.

И я уже забываю эти минуты ожидания, я уже весь с ним. Любуюсь: как хорош он, как ступает, говорит, улыбается. А ступал он хоть и тяжело, но красиво; убежденно говорил — заслушаешься: страстно, увлеченно, заинтересованно, и опять улыбка — не оторваться.

И ходили с ним в церковь — это он научил уважать, верить в нее, говорили о литературе — Распутине, Астафьеве, Носове... спорили до хрипоты — порой не соглашались.

Ах, как хорошо было с ним!

Как не хватает его...

## Роман

— **А**х я выпивоха! — корю себя в очередной раз. —  
Больной, старый...

Но вспоминаю (в оправдание) Бунина, как он говорил, выпивая:

— Замолаживает...

Замолаживает, замолаживает, завораживает, когда хмелеешь. Вспоминаешь молодость, стройных женщин — выбор большой, а женился на одной-единственной, близкой... И прожил долго-долго, все живу с ней — роман продолжается...



## Богатство

Щапля стоит, чибис стонет, а кругом поля, поля, лиловое небо, черные уставшие столбы, провисшие на них (как нитки) провода, разлужье, заросший изумрудной ряской старый пруд.

Старинная разрушенная глухая усадьба, столетние бурые кирпичи, угадываемая церковь, размытая аллея цветущих сладких лип. И я.

Господи, как чудно и далеко это было...

## Погост

Погост. Тишина. Смушковые зеленые верхушки деревьев, угольные грачи, древний истошный ор. На близкой скамеечке возле аккуратной могилки сидят, что-то бормочут старик со старухой. На могильной плите выбито золотистыми буквами «Анна Прохорова (1960—1998). Упокой, Господи, ее душу».

Дочь их. И они склоняются, копят слезы, шепчут заветные слова: «Как же так?» Как они пережили ее? Не приведи, Господь. «Возьми и нас туда, к ней...»

Невысокий холмик, жесткая кладбищенская трава, веселое радостное весеннее треньканье птиц и печаль, печаль, разлитая вокруг...

## Далекое-близкое

**В** доме холодрыга невероятная. Ни горячей воды, ни отопления. Обещают, что-то ремонтируют. Как все старо. Опять из Басе:

*С треском лопнул кувшин:  
Ночью вода в нем замерзла.  
Я пробудился вдруг.*

Далекая древняя Япония, близкая Россия.

## Как мало

**Б**ольной, почти недвижимый. Межпозвоночная грыжа. А за окном чистое небо, синее, ни облачка. Идут и идут люди: тонкие, толстые, стройные, кривоногие, но для меня прекрасные. Не налюбуюсь. И вдруг как будто кто занавесил окно: потемнело, заползла с севера туча, налетел ветер, и тополя перед домом затрепетали листьями, точно цыганскими монистами. Побежали в разные стороны люди, раскрыли зонтики, укрылись под козырьками магазинов. И пропала красота. И опять стало тоскливо, опять пришла боль...

Как мало надо больному человеку...

## Как горько и печально

— **М**ое счастье разбежалось по сучкам, по веточкам, — жалуется она.

Она уже давно стара и согбенна, но еще держит огород, весной и летом копается в нем, сажает картошку, оглаживает гряды огурцов, подставляет палки под помидоры...

— Внуки приедут, сын с невесткой — угостить надо. Да и в дорогу, в их сумки накласть. Правда, и они привозят гостинцев — колбаски, то да се... Не обижают. Приезжают только редко. А я все одна. Мужик мой помер десять лет назад. Живу все в ожидании. Скучно одной. На деревне нашей почти никого не осталось. Вымерла деревня. Разбежались в город. Приплетется в кои дни Степан, тож одинокий старик, посидим, погорюем. А что толку от этого горевания...

Замолкает, наклоня старую голову на свои старчески усталые руки.

Глухая, вымершая деревня, а кругом — широкие зеленые луга, чистое васильковое небо, травяной запах, внизу речка, простор...

И она, почти одинокая, проработавшая всю жизнь...

И разбежалась она по сучкам и по веточкам. Как горько и печально...

## И она...

- **Ж**изнь течет тускло и постепенно, — говорит она, сидя на конике (лавка в избе).

— Что я видела за всю жизнь? Ферму, коров, горки навоза. Вот погляди на мои руки — пальцы скорчились от дергания сосков, суставы, спину ломит от сидения на корточках. Подоишь, сольешь молоко в неподъемные баки и волокешь их на тракторную тележку. Натуживаясь, укорачивая свой век, сюда по весне и осенью, в слякоть, может пробиться только трактор.

Приду домой — а там голодные ребятишки. Сготовить надо, накормить. А чем? Зарплаты седьмой месяц не дают, обещают, а обещаниями сыт не будешь. Сворюю сколько-нибудь молока, каляного хлеба достану, что привезла нам лавка недели две назад, сварю картошки — и вот весь наш обед и ужин.

У соседа есть телевизор — придем, посмотрим и от стыда, своей безысходности не знаем куда деться. Там такое, что нам не приснится и в самом чудном сне. Еда всякая, машины, платья... Гулянка... Куда ж мы катимся.

И заплачу от злости — мне завтра опять на ферму, а детишкам в школу. А обувки у них нет, вся в дырках, оделонка худая... Краше в гроб лечь, чем так жить...

Замолкает, поджимает свои вялые синие губы, а я молчу.

Что сказать? А за узким, почти слепым окном широкое поле, заросшее сорняками, — некому пахать, вечно бирюзовое небо, незаемный сладкий воздух от трав, воркование диких голубей на соломенной твердой крыше.

И она...

## Частушки

Деревня. Троица. Престольный праздник. Нарядный карагод девок, баб собрался за околицей на широком вытопанном кругу. Ждут гармониста — Алеху Лохматого — как ласково зовут его.

Разговоры, пересуды... Синие сарафаны, короткие, выше колен, юбочки, разноцветные кофты. Темные и русые косы на спинах, стрижка под мальчигов — село большое, пригородное. И все смешалось — старина и теперешние дни. Загорелые лица, дешевые и дорогие бусы, золотые сережки в длинных и толстых ушах, густо пахнет духами, одеколоном...

Неподалеку течет речка и тянет оттуда тиной, сыростью. Но все перебивает чистый сладкий воздух от близких полей, засеянных рожью, молодой гречихой.

Но вот появляется и он — Алеха Лохматый. Гармонь у него на плече, идет неторопливо, важно — знает, что его ждут, что теперь он главный.

Подходит молча, снимает гармонь и растягивает меха. А потом мелко перебирает по перламутровым клавишам и начинает играть. Ах, что за звуки: то тонкие, то басистые льются из разноцветных мехов.

А он сам начинает приплясывать, приговаривать:

*Греет, греет меня солнце  
Пуще летнего зимой.  
Меня милая жалеет  
Лучше маменьки родной.*

Навстречу ему выходит русоволосая длинная девка и, притопывая каблучками модных коричневых туфель, вскрикивает:

*Милый мой, у нас с тобой  
Любовь платочком связана.  
Из-за тебя, мой дорогой,  
Семерым отказано.*

Лицо у гармониста становится красней, напряженнее, ему подносят стакан водки, и он, не отрываясь от гармонии, выпивает до дна.

— Спасибочки, — говорит он. И наяривает еще чаще, пуще. Тонкие пальцы, все в бугорках от работы, бегают по пуговкам все быстрее, он наклоняет правое ухо к мехам и что-то слушает, понимает он один.

*Миленький, поверь, поверь,  
Я люблю тебя теперь.  
Смотрю на солнце, на луну,  
Поверь, люблю, не обману.*

Он вдруг замолкает, смотрит пристально на высокую русоволосую девуку, но из карагода выходит старая, низкая женщина, лицо ее морщинисто, но и красиво одновременно. Вся она еще крепка, как-то неотразима.

— Замолк? Играй, — говорит она.

Исподлобья поглядывает на всех далеко расставленными, косящими смородиновыми глазами, поправляет широкий цветастый платок на плечах.

Ах, Бог мой, как пошла!

*Тына, тына,  
Все за мной.  
Оглянуса — ни одной.  
Ты играй, играй, гармошка,  
Мне осталось жить немножко.*

Свежий день, околица, нарядный карагод. Праздник. И солнце ярко и празднично освещает все вокруг.

Как хорошо! И мотая головой, захлебываясь пьяными слезами, бормочет опрятно одетый мужик:



— Откуда взялась...

А она, будто не слыша, плывет мимо, небрежно выговаривая:

273

*Где мы с миленьким стояли —*

*Снег растаял до земли.*

*А где с миленьким сидели —*

*Там цветочки расцвели.*

Боже мой, как хороша, как прекрасна, как богата бывает старость!..

## Окрест

Оглянулся, посмотрел окрест — и стало худо. Беспризорники, смертность, нищих — море... Куда уж хуже? И злось, злось: другой стране хватило бы и треть нашей тяжести, а мы все терпим, терпим — дураков правителей, обирателей разных...

А окрест опять — поля, поля, ржи зреют, наливаются, гречиха цветет, и бурьян наливаются, все захватывает, глухая крапива, лебеда и заброшенные сады, сады... Исчезают дома в деревнях, зарастают пустоши, луга — все глохнет, меркнет... Молюсь: не исчезни, моя Россия!

## • ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ •

1992

\* \* \*

Господи! Что за время настало? Утро, улица, магазины, бег... Люди давятся в очередях. Вчера на прилавках разное мясо, сыр, крупы — сегодня уже нет. Правители разных уровней дерутся, означают границы власти, реформы. На прилавках дороговизна недоступная. Пенсионеру, студенту, молодоженам не прожить. А по радио, телевидению, в газетах вещают: «Потерпите... Успокойтесь... Защитим...»

Кого защитят и зачем защищать? Смута невероятная. Одни —вернемся назад (когда цены были низкие), другие — вперед, к рынку, к счастливому будущему. Теряюсь. Вроде бы все правильно, а как пройдешься по городу, по этим частным ларькам — волосы дыбом. Сигареты от 60 рублей до 220. Вода подкрашенная (под названием «Пепси») — бутылка до 200 рублей. Ужас! Ну да ладно, если бы сами производили, как крестьяне — хлеб, молоко, яйца, а то скупают на базах, в магазинах — и тут же втридорога продают.

\* \* \*

Был в деревне. Относительно спокойно. Куры, яйца, своя корова... А главное — большой огород, картошка, капуста, огурцы — выживут. А как в городе? Вышел на Дворянское гнездо. Небо пепельное, по краям черная кайма — тревожно. Рядом разговоры.

— Пошла — двести за кило...

— Легче в гроб лечь...

— Ложись, а дети?..

Странная темнота — легкая, серая, липкая...

Станные разговоры, мысли...

\* \* \*

Люблю ходить на базар. Люди, лица, говор, разноцветные картинки. У входа, как всегда, цыганки, гомон, толчея. Сигареты, жвачка, платки... — не по карману. А дальше ряды, русские бабки, яичко к яичку, крупные, свежие, отменный творог, солнечный мед... Не то что в магазине. И цены, цены...

\* \* \*

Играют дети.

— Я строю Горбачева.

— А я Ельцина...

Третий подходит, разрушает, говорит:

— Буду я...

Страшно!

И сразу вспомнилось, когда шла борьба за место в парламенте, за власть, обещали: «Придем, наладим, устраним...» Теперь горлопанят о чем попало, но только не о нас. Хотя и от имени, по поручению... Когда научимся, когда перестанем быть лопушистыми? Когда?

Длинные дни, месяцы, годы... И хочется крикнуть словами немилой известной песни: «Никто не даст нам избавленья...», кроме нас самих!

\* \* \*

Слухи, слухи. Встречается, говорит:

— Строев приехал. Власть будет брать...

— Это какой Строев? Тот, при ком жилось?..

— А-а, дурак, кто позволит?

Третий вмешивается, успокаивает:

— Дураки. Институт он возглавил. Да и зачем ему?

Поживем, поживем и взмолимся, сами позовем.

А утро нынче тихое, чистое. Небо высокое, изумрудное. Во дворе собрались старухи, о чем-то бормочут, говорят; говорят ласково, добродушно. И шелковый день набирает силу, разгорается. И дай-то Бог нам быть ласковыми, добрыми.

\* \* \*

Вроде бы недавно было соглашение трех. Славянских. Потом Алма-Ата, потом... Но почему-то так и осталось тревожно на душе. Вроде бы все правильно, а чего-то не хватает. Чего? И вдруг толчок: глядел на речку, на старые деревья — стоят, смотрят, плавают всякие утки-гуси, летают стрекозы, бабочки, бегают, долбят по веткам, старому стволу разнокалиберные разноцветные птицы — хорошо!!! Дятел, синица, королек — все разные, все необходимые. Все в природе по пути, одни мы непутевые?

\* \* \*

Шофер, я и бомж — сидим, орем, поем грустную песню: «Мучит душу мою твой печальный узор...» Но грустную ль? Понимаем, объясняемся — не грустим. Главное — вместе. Главное — души слились...

\* \* \*

Что ты поникла, родная Орловщина? Нет хороших библиотек, на селе — книжных магазинов? Масло, молоко, хлеб будут — не перевелись еще крестьяне на селе. А вот с книжками, картинками — худо. Говорят, что нет бумаги, красок, денег. Еще хуже с музеями, а какие подвигники всегда были там... Как же так? До революции были Мамонтов, Морозов, Третьяков... государство. А теперь? Худеем, плошаем и у иностранцев просим помощи — куда выплывем? У этих худородных диких перекупщиков помощи не допросишься... (Где же вы, хозяева России?) Без культуры, духовной наполненности нет человека. Не пойдем — сгинем...

\* \* \*

А вчера было так — встретились, говорим:

— Как живешь?

— А-а, так...

— Государство развалилось...

— Да...

— Как быть?

— Пошел бы ты...

И пошли мы: куда, зачем, откуда? Откуда — знаем, а вот куда и зачем — потерялись. Великая страна, великий народ и каждодневное издевательство.

И родилось это пресловутое: не быть бы войне. Любой. Особенно гражданской. Все остальное образуется. Все надеемся на кого-то... Когда на себя?

\* \* \*

Всю жизнь искали врагов. Коммунисты — буржуев (империалистов), патриоты — инородцев, демократы — коммунистов, консерваторов, а страна развалилась, люди стали враждовать, стрелять друг в друга... По стране (даже в однородной общине) разливаются желчь, ненависть, злоба — недалеко уж до физического истребления. Где наш добрый характер, где Христовы заповеди? Неужели наступают конец света? Не верю.

\* \* \*

Вчера опять был на Дворянском берегу. Высота, ширь, голые унылые бугры, светло-серая, как цинковое железо, речка, лимонный говор людей — раздражительных, улыбочивых, разных... Дай, Господи, побольше добрых, отзывчивых, милосердных — только так выживем — пойдём дальше.

\* \* \*

И вот идем, бредем. В конторах — суэта, сокращают. Назначают новых управляющих... Кого? Все тех же бывших... Что изменилось? Меняются кресла, вроде бы названия, а жизнь становится все хуже и хуже. Обещают? Нам все семьдесят лет с лишним обещали...

\* \* \*

Господи, спаси и помилуй нас, грешных. Страна великая, народ великий... Неужели обнищали? Неужели будем и дальше побираться? Ведь есть у нас Пушкин, Толстой, Чехов, Бунин... Забыли? Нет настоящего без прошлого, нет человека без элементарной культу-

ры. Забываем, забываем — пожинаем деяния свои... Но свои ли? 279

\* \* \*

Тупиковая улица, деревья, старинный одноэтажный кирпичный писательский дом, окрашенный в кремлевскую краску. Тишина, слабый крик птиц. А внутри крик громкий.

- Продались! — кричит один.
- Нет, — возражает другой.
- А-а, — захлебывается третий.

И так до бесконечности. А дело все просто: писатели остались без издательства, наступил так называемый рынок — на книжных прилавках сплошной секс, детективы, народные «целители»... Нет Толстого, Достоевского, Чехова... Грустно!

Куда идем? Но тут же обозлился, сказал себе: «Выживем. Не впервой».

\* \* \*

Утром встал, глянул в окошко — голубое небо, легкие волнистые облака, веселый взбред дворовых собак, синицы на балконе — с белыми щечками, малахитовой спиной, с черным длинным галстучком — красота, жизнь...

И взмолился: «Хватит лаяться, хватит подсиживать друг друга. Хватит орать на митингах, на улице...» Спросил себя: «Когда уйдемся, когда пойдем в одну сторону? Когда заработаем в полную силу?»

Что, мы хуже других?

## 1993

\* \* \*

Перечитываю когда-то написанное мною (эта потребность еще изредка возникает) и усмехаюсь: «Опять меня манит на речку, в поле, в лес... Поля начинаются сразу за лесом, и так они волнисты, зелено-глянцевиты, неогляд-

280 ны — дух захватывает! Есть что-то необъяснимо прекрасное в этих моих хождениях через теплый сосновый бор, погруженный в дрему, такой крепкий смолистый дух идет от его прямых, цвета киновари, стволов, так они стройны, высоки, так изумительны на солнце их зеленые, изумрудные шапки! И где-то там вверху, в этих шапках сидят, о чем-то хрустальными голосами перезваниваются птицы. О чем? Почему мне так сладостно-тревожно становится от этого перезванивания? Что я хочу услышать? А ведь что-то хочу и немотно мучаюсь, смутно брезжит какой-то ключ, и чудится уже, что вот-вот откроется она, эта тайна — светлая, простая и близкая — необходимая не только мне...»

А писалось это, как сейчас помню, в ту пору, когда не залаживался у меня год, все шло наперекосяк, дни складывались печальные... И я встретил нечаянно тогда старинного, еще школьного приятеля, и случайная эта встреча решила на время мою судьбу. Не виделись мы с приятелем годы, а был он, как оказалось, уже каким-то начальником на заводе, и стоило мне намекнуть на сложившиеся обстоятельства, как он воскликнул:

— Поезжай на нашу загородную базу отдыха. Это от города сорок километров. Тишина, покой, свежий воздух... Прекрасное место. Не пожалеешь.

А через три дня я поехал туда. Место было и впрямь прекрасным — в смешанном из сосен, дуба и березы лесу, сплошной зеленой стеной стоявшем вокруг деревянных щитовых домов заводской зоны отдыха.

Стоило мне тогда (семь лет назад) это копейки по нынешним ценам — блаженные времена!

\* \* \*

И вот дни нынешние, злые, сумрачные, смутные. Опять душа мается, не находит покоя. Куда деться? Поехать вновь туда, как и тогда, не по карману — путевка стоит теперь 7—8 тысяч. Да и зачем мне мучиться, искать какой-то ключ, разгадку разговоров, перезванивания птиц, когда все более загадочными становятся разговоры людей, их отношения. Думал ли я тогда, что придем к дню



нынешнему, дню тоскливо серому, бестолковому... Там была светлая близкая грусть. Тут, сейчас, грусть чуть ли не трагедийная, тупиковая; там тогда — воля, воздух, простор. Тут — на улицах, в конторах, в магазинах — суженность, удушье, тьма... Нет?

\* \* \*

Перечитывал на днях Достоевского «Братья Карамазовы». Помните Ивана Карамазова: «Все дозволено...» И с горечью подумалось: там все-таки были человеки, страсти, а сейчас все больше и больше этих дозволительных, но куда как мелких, орущих до посинения на пустом месте, все меньше нравственности, совестливости, куда-то исчезают Алеши Карамазовы, старцы Зосимы иль только кажется? Но даже в церкви раскол, даже священники, наши пастыри, глаголят по-разному, даже туда проник сатанинский вирус враждебности, воинствующий клерикализм...

\* \* \*

Весь день идет, падает с небес хлипкий тающий снег. Не поймешь — зима, осень? Не поймешь и другого: в каком времени живем... Вчера опять бешеное повышение цен. В который уже раз. Совсем решили народ взять измором? В недалекие времена так называемого застоя можно было прожить на пенсию в 120 — 130 рублей. И не только прожить, а что-то и прикупить: штаны, например, ботинки и т. д. Слетать самолетом к сыну. Сын у меня с семьей живет в Горно-Алтайске, чудное, райское место. Оттуда его в Орел на постоянное место жительства и трактором не вытянешь, хоть и в Орле у нас просторная квартира. А там внук, скоро родится второй, и тянет, тянет туда... Но раньше билет стоил до Барнаула 60 рублей, пересадка и еще 15 рублей. Дорого, конечно, было, ежели отнять от 130. Теперь же с первого января билет стоит 18—20 тысяч (в зависимости от типа самолета). Посчитал, сколько пенсий надо (средний размер ее три тысячи), и ужаснулся: это же разлука с внуками почти навеки! Вместе сойтись жить — каждый знает, не всегда получается, да и не всегда нужно... И что удиви-

282 тельно: цены растут, а качество услуг, товаров все падает и падает. Парадокс? А что у нас уже не парадокс?

Тоска, ностальгия по ушедшим временам? Может быть, и это. Но на хрена мне эта гласность, этот плюрализм, эта так называемая свобода, когда разлучили с сыном, внуками? И не только с ними.

Есть такой русский город Севастополь. Город русской великой славы — сразу вспоминаются Толстой, Нахимов, Корнилов... Сразу в памяти севастопольское сражение, тысячи погибших в ту войну и в войну недавнюю. Отечественную. Могилы там наших отцов, дедов, братьев, сестер, матерей... И как же невыносимо горько становится от мысли: не навестить, не поплакать, не посидеть, не крошить хлеба, яиц, не выпить в горевании рюмку вина среди их могильных оград. А не погоревать, не навестить многим — страна уже (это-то Украина) другая, дорога неподъемная, тысячная, приглашение надобно получить (от кого?), валюта (карбованцы) необходима и т. д. Дичь какая-то!

\* \* \*

Читал вчера Розанова. Яркий и какой-то двойственный человек. Многие из лагеря «патриотов» восхищаются им. А меня при чтении все не отпускала мысль: любит себя — какой я умный. И цинизм, цинизм во всем. Еще до чтения знал, что он был сотрудником консервативного журнала «Новое время» и в то же время под псевдонимом печатал статьи в социал-демократической прессе с совершенно другими взглядами. Это-то отчетливо видно и в «Опавших листьях».

Наглядно это и в теперешних его последователях, поклонниках. Читаю на днях в газете «Время», издании Российского общенародного союза и депутатской фракции «Россия» (Бабурин, Алкснис, Кускова и др.), что чеченец, воюющий на стороне абхазов, — друг нам и товарищ, а вот русский, воюющий на стороне грузин, — наемник и предатель. Не важно, что тот — мусульманин, а этот — христианин, не важно, что война, братоубийство — зло, кровь, смерть. Важны политические игры, важна сиоми-

нутная выгода. (И далее этот чеченец говорит, а корреспонденты с сочувствием комментируют, что после Абхазии он пойдет воевать на стороне близких ему боснийских мусульман против сербов. А ведь, насколько знаю я, Бабурин и иже с ним вроде бы на стороне сербов.) Цинизм беспредельный.

\* \* \*

Вспоминается сразу (по книгам) 1917 год, большевики в союзе с эсерами, меньшевиками. Временное правительство, разогнанное Учредительное собрание, кровавая гражданская война... Что осталось, кто кого обманул и что из этого получилось? Опять, опять... Когда научимся, когда поузнаем?

\* \* \*

...Были Толстой, Достоевский, Бунин... Были Шаляпин, Рахманинов, Прокофьев... И совсем недавно — Платонов, Шостакович, Ахматова... Есть и теперь — Свиридов, Уланова... Но все больше и больше уезжают на Запад, уезжают от неустроенности, от непонимания. Уезжали и раньше, но то были единицы, теперь пачками. Вроде бы и был тоталитарный строй, но была и Родина, порой неприветливая, в чем-то жестокая, несправедливая, но и родная: и творили ее сыны на зависть всему миру. Теперь месяцами, годами не видим и не слышим Образцову, где-то там Растропович, Солженицын, где-то там умер Некрасов, автор «Сталинградских окопов»... Грустно!

\* \* \*

Ну да что говорить о стране, когда худо и на моей родной стороне, малой родине. Ручейки образуют большие реки, Волгу... Так и провинция всегда питала столицу, культуру...

Был на днях в мастерских у художников — Курнакова, Силаева, Лупачева... Сидел, смотрел, отдыхал душой. Запахи красок, мольберты, изумительные картины — пейзажи, лица, натюрморты... Мастера они разные, но талантливые истинно. Были представлены

284 на разных выставках, в том числе и за рубежом, восхваляены критикой, награждены премиями и медалями. В родном же городе и области известны малому числу людей. За исключением разве Андрея Ильича Курнакова, да и то в основном по героической диораме. А кто знает его дивные спасские пейзажи? Его изумительные раздумья об Орловщине, России, выраженные в образах неброских, но таких милых полотен? А ведь на них (и не только, есть и другие хорошие художники) молиться надо!

Это же относится и к нашим орловским талантливым актерам, музыкантам, писателям... Потом вспомним? Но вспомним ли? Как почти забыли Е. Горбова, Л. Афонина, Л. Сапронова...

*«Пойдем в мой край, в поля, луга Орловщины,  
Нигде я лучше края не встречал», —*

поют нередко и сейчас. И мало кто помнит, что автор этих строк — Дмитрий Блынский, талантливый поэт, высоко ценимый Исаковским, другими большими литераторами, наш земляк, рожденный в деревне Васютино Покровского района, где вроде бы и есть музей писателя, но до того заброшенный, почти забытый — слеза навертывается. Пожалеем потом?

\* \* \*

О, радость! Вышла наконец-то моя маленькая книжечка кратких рассказов и эссе. Не радовался так, как когда-то в молодости первой книге. Там была все-таки определенная ясность: написал, сдал в издательство (их было много), ждал заключения рецензентов. Дождался — пошла рукопись в производство. Долго, правда, шла: два-три года. Но тихо дождался книги, определенного гонорара за мучительные труды свои. Не то в нынешний век злосчастной демократии. Издательства государственные рухнули (нет денег), в книжные магазины хлынули порнография, низкопробные детективы и прочая дребедень. Не издают даже Толстого, Чехова,

Лескова — невыгодно. Но что классики? Их все-таки издавали порядочно при «застойной поре». Не издают современников — и каких современников! — Лихоносова, Носова, Распутина...

Мы, орловские прозаики и поэты, тоже что-то пишем, что-то делаем. Например, поэтов Виктора Дронникова, Николая Перовского, Ивана Александрова, Вадима Еремина, Ирину Семенову я числю одними из лучших во всей России. И не только я. Но как им издаться теперь?

Сужу по себе. Написал, прочитал, дал прочитать другим, что-то опубликовал в местной печати. И что дальше? Пошел с шапкой по кругу, а проще говоря, побираться, искать благодетелей, то бишь спонсоров.

Пришел, пришел — и снова ушел. Не дают. По второму кругу, по третьему, и это я, которого вроде бы знали по прежней работе. А как быть молодым, талантливым, которых и не знают? Спасибо Мерцалову, Строеву, Лихману и другим — помогли. Может быть, помогут и молодым. А ведь у меня в столе лежит уже новая рукопись. Сколько же новых унижений будут стоить новые хождения, чтобы издаться?

Какой-то беспредел, абсурд во всем, смута невероятная...

\* \* \*

Утро. Мороз, синее чистое небо. И я говорю себе: «Еще не вечер». Еще далеко не пропала (и не пропадет) Россия. Пусть Господь Бог наказал нас за грехи наши, пусть человек в миру познает о себе слишком многое, пусть и очистится. Нас часто обманывали, да не обманемся теперь...

\* \* \*

И все знают, и все решают за нас. Хотя и вещают с разных трибун, с газетных страниц: «От имени и по поручению народа...» Какого народа? Я тоже частица его. Мои знакомые, товарищи, друзья — тоже. Но что-то не припомню, чтобы мы кому-нибудь поручали говорить от нашего имени. Ах, эти выборы? Но давайте честно скажем: что выполнили так называемые избранные народа?

«Знаменитое» павловское повышение цен, а затем «ляжем на рельсы». Не легли. Хуже — проложили новые, до того странные, что бежим по ним и не знаем куда. И примеров подобного рода не счесть. Можно вспомнить обещания и поволжским немцам, и наполнение суверенитетов, и т. д. До того наполнились, что не знаем, как сохранить Россию... Грустно, печально!

\* \* \*

Какое-то заплатанное небо — свинцовые, набухшие облака, редкие бирюзовые просветы. И все-таки уже весна. Но душа почему-то мается, не находит успокоения. Раздрай наверху, все не поделят власть, а жить становится все хуже, тягостнее. Пришел к матери, плачет. Всю жизнь проработала в колхозе, потом уборщицей в конторах, в больнице. Пенсия по нынешним временам ничтожная.

«Сыночек, за что же такое наказание? Ранее было худо, а теперь как в гроб лечь?» — плача, вопрошает она. Износившаяся за долгую трудную жизнь, понимающая, что смерть уже рядом... И ей уж не до пряников, не до масла с колбасой, одна мысль ее точит: похоронят ли ее по-людски — в деревянном гробу, в приличном одеянии, устроят ли поминки?

Что я могу ответить ей? Не бросим, мол, мать, все будет по пути. Но меня ведь точит каждый день: где взять на жите-бытье, как заработать? Раньше была определенная ясность: написал книгу, получил гонорар. Как говорится, хоть и вприкуску, но жить было можно.

На работу идти? Но кто сказал, что писание книг — не работа? На какую? Когда сокращают, безжалостно выбрасывают на улицу более молодых. Нередко специалистов. Зато, говорят, свобода... Свобода от чего? Нищие никогда не бывают свободными. Нищие не только материально, но главным образом и духовно. А мы нищем прямо на глазах — ежесекундно...

\* \* \*

Смотрел по телевизору Съезд народных депутатов. Какой-то театр абсурда. Говорят и слушают только

себя. Какая там здравая логика, интересы народа? Все подчинено борьбе за власть, за привилегии, за насиженные теплые места, хотя слова звучат вроде бы и правильные. Но это так, для видимости, в расчете на нас, простодушных...

Горечь и злость сливаются воедино. Доколе? Еще более усиливается она, когда выступают первые лица страны — президент, спикер. Маски, маски. Слова не скажут в простоте. Опять: Конституция, интересы, законность. А законность эта и не ночевала в нашей жизни. Растут, как на дрожжах, воровство, преступность. Даже в тихом, уютном когда-то Орле уже не выйти без опаски вечером на улицу — оскорбят, ограбят, изуродуют ни за что ни про что. Да что там Орел — все-таки город. На село, в деревню, где всегда царили уважительность, относительно высокая нравственность, проникает, точно ржавчина, теперешняя болезнь: отчужденность, разврат, всепобеждающая нахальность... И слышится потому в речах правителей цинизм невероятный. Нищаем, а они талдычат: «Погодите, наступит времечко...» Государство почти развалилось, а они: «Поможет Запад...» Господа, при чем тут Запад, какое времечко? Неужели мы стали недоумками? Нет, конечно. Это им так хочется. И все же, все же — почему так покорно принимаем все эти издевательства?

\* \* \*

А издевательства порой невероятные. Я уже писал как-то, что нас морят не только голодом. Не от голода и холода мы умрем, а от тоски. От разлуки с близкими, родными. Писал, что «есть такой русский город Севастополь. Город русской великой славы — сразу вспоминаются Толстой, Нахимов, Корнилов... Сразу в памяти севастопольское сражение, тысячи погибших в ту войну и войну недавнюю, Отечественную. Могилы там наших отцов, дедов, братьев, сестер, матерей... И как же невыносимо горько становится от мысли: не навестить, не поплакать, не посидеть, не покрошить хлеба, яиц, не выпить в горевании рюмку вина среди их могильных оград. Страна уже

288 (читай Украина) другая, дорога неподъемная... Дикость невероятная!»

Но еще большая дикость, что и внутри России мы порой не сможем наведать своих детей, внуков, которые, предположим, живут на Севере или в другом отдаленном месте...

\* \* \*

Отлучают от родных, от памяти, культуры (говорю о том, что ближе мне). Убеждают, что раньше был тоталитаризм, удушение и т. д. Может быть. Всевластие партии, а вернее партийных структур, вождей и впрямь угнетало, подавляло людей. Но зачем же так огульно? В то время жили и творили всему миру известные Свиридов, Булгаков, Шолохов... Не во всю силу раскрылись? Это как сказать. Дай Бог, чтобы так творили сегодняшние.

Было, конечно, и другое. Лично я никак не могу оправдать, что в двадцатые годы не по своей воле покинули Родину Бунин, Рахманинов, Шаляпин, Бердяев, Зайцев и многие другие выдающиеся деятели российской культуры, цвет нашей нации. Не могу понять и другое, что в наше, так называемое демократическое время они, а вернее их творчество, письма, личные вещи так и не могут до сих пор вернуться на родину, в Россию. Почему? Почему мы в Орле при демократических вроде бы властях спорим: нужен ли памятник Бунину и где его установить? На словах соглашаемся: нужен. А сами делаем все, чтобы его не было. Под разными предлогами: место не то, автор памятника не тот. Автор же — известный всей большой стране скульптор Клыков. Но его взгляды не совпадают с теперешними взглядами демократических властей. Талант, профессионализм — по боку. Где же демократия?

\* \* \*

Вышел. Здоровое солнечное утро. Весна. И нездоровые страсти. Назначили выборы главы администрации области. Строев, Зябкин, Юдин... Кипят страсти. Но кипят они, как всегда, наверху. В ход, как всегда, пускаются слухи, применяются нечестные приемы. Как всегда... А я с



тоской думаю: «Когда же мы проснемся? Когда же скажем свое истинное слово?»

\* \* \*

Сижу, пишу свои очередные рассказы и с тоской думаю: «Издаться бы... Где найти тех спонсоров (новомодное словечко), которые бы помогли?» Почти что глас вопиющего в пустыне! Помогают, как ни странно, «бывшие». «Рынок», — говорят мне. Но культура всегда оберегалась государством, ежели оно хотело быть славным, сильным.

Я в разное время встречался с претендентами на пост орловского губернатора. Все они далеко не глупые люди, но все-таки, все-таки... Как мирно, спокойно жилось мне и моей матери, кстати, почему-то при Строеве. Не роскошно жилось, но жилось. По крайней мере мать не голосила, не думала: «Как лечь и в какой гроб лечь», а я не решал: «Как повидаться с сыном, с моими внуками...»

\* \* \*

Проходит день за днем, скользят, бегут минуты — никакого просвета. Господи! Неужели не надоела грызня с разных сторон. Еще вчера молчали или говорили по углам, на перекрестках, оглядываясь, сегодня орем во всю мощь: «Долой!» Когда подумаем, работать будем? Мы что — косорукие? Когда встанем с колен? Иначе окончательная погибель.

\* \* \*

Осень, как всегда, разноцветна. Деревья опалены пожаром, падают, кружатся листья. Опалены и мы. Как быть? Что делать? В который раз звучит этот вопрос. А я думаю, терзаюсь: неужели покинул нас разум, неужели не найдем выхода без крови, как в той далекой, восемнадцатого года, стране?

Тоска и боль невероятные. Очумели что ль? Придите на выборы и решите: кто сильнее, кто нужнее... Неужели это так трудно: прийти одновременно и сказать — выберите, решайте и т. д.

\* \* \*

Слушаю радио, читаю газеты — теряюсь. Одни — то, другие — противоположное. Раздирают Россию на куски, как в свое время разодрали Советский Союз. Кому от этого стало лучше?

Пришел сегодня на базар. Овощи, фрукты, разное мясо — глаз не оторвать. Слоняюсь, хожу от прилавка к прилавку, спрашиваю украинца, кавказца:

— Зачем тут? Суверенные ведь, свои рынки есть.

Отвечают:

— У вас лучше. У нас полный бардак...

— Ну зачем тогда...

Перебивают, понимая с ходу:

— А это спроси у Кравчука, у Дудаева...

Замолкаю, понимая тоже, что они ни при чем, не имеют они, эти рядовые люди, к играм Ельцина, Хасбулатова, Шеварднадзе... никакого отношения. Зачем им непонятная борьба за власть, когда гибнут люди, нарушается привычный ритм жизни. Когда, наконец, рушатся домашние очаги, появляются бездомные дети, брошенные семьи...

\* \* \*

Вспомнил нынешний апрель. Референдум. Выборы местного орловского губернатора. Горячо тогда ратовал за Строева. Не только я, почти вся Орловская писательская организация. А люди там (поэты, прозаики, критики) — своенравные... Как будто не ошиблись. Перемены, хоть и медленно, но наступают...

\* \* \*

Утро. Роса. Дворянское гнездо, внизу металлически блестит мелкий уже Орлик. Подходит, еле-еле костыляет одноглазая высохшая старуха. Что-то бормочет. Спрашиваю:

— Как жизнь, бабушка?

— А-а, не говори, — глухо отвечает она.

Одета бедно: темная юбка стирается-перестирана, на распухших ногах ботинки столетней давности, вязаная

серая кофта уже расплзлась — лохматые нитки во все стороны.

Стоим, вздыхаем. Стыдно, но спрашиваю:

— Как смотрите на теперешнюю власть?

— Как, как... Одним глазом...

\* \* \*

Вчера был на кладбище. Серый туманный день. Ветер южный, промозглый. Кладбище уже тесное от могил, но тихое, благопристойное. А мы сидим с матерью, горюем: с простенькой надгробной плиты на нас смотрит отец, ее муж. На фотографии еще молодой, офицер. Прошел войну от и до, умер от далеких ран. И как горестно становится мне, глядя на него: он знал, за что воевал, зачем жил, хотя и небогато жил. Знал и я до определенного времени — теперь не знаю. А у меня есть внук и внучка, его правнуки, как я им объясню мечту прадеда, мои мечты? Пишу, мол, книги? Но кому они нужны? Когда сверхредкость теперь в исчезающих книжных магазинах — Толстой, Достоевский, Чехов, Бунин, Лесков...

\* \* \*

Поздний вечер. Темно. Напротив, в соседнем доме, зажглись, засветились окна — абажуры там и по цвету, и по размерам разные, и окна сияют разнолико, радостно и как-то тепло.

Вот бы и нам так. Разнолико и тепло.

\* \* \*

Но не так, как в теперешних магазинах. Пришел в книжный и в универмаг, а вернее, в ту секцию, где продаются детские товары. Ужаснулся — цены невероятные. Для кого? Для богатых? А как же быть тем бабушкам и дедушкам, родителям, у кого пенсии и зарплаты более чем скромные? Ведь и там растут мальчики и девочки, которые хотят читать книжки, иметь хорошие игрушки, прилично одеваться...

Подумалось и другое: до революции Лев Николаевич Толстой, издательство «Посредник» все делали, чтобы их

292 копеечные книги дошли до самых беднейших слоев населения. Чтобы рождались и росли новые Ломоносовы, Кулибины, Успенские... А теперь? Цены на сказки и другую детскую литературу обозначены трех-четырёхзначными цифрами, одежда — не подступись. И вновь опять вражда? Богатые и бедные?

\* \* \*

Вчера был на презентации. Богатейший стол, костюмы, фраки, улыбки. Светские вроде бы разговоры, а мне так стало тошно: зачем я тут? Уже почти нищий (вчера еще приличный писатель), влезший вдруг в политику, как и мои товарищи по перу, надеясь на что-то. Но на что?

Обозлился, сказал себе: все минет, все образуется. Не это главное...

\* \* \*

Грачи, грачи... Целое кружево этих настырных птиц в изумрудном осеннем небе. Что-то истошно орут, что-то ворожат... Только что? Опять вспомнилась недавняя поездка к сыну, к внукам. Живут они далеко, в чудном райском уголке — в Горно-Алтайске. Путь не ближний, но радостный — близкие, родные люди, ближе не найти. Но радостный был раньше.

Во-первых, дешев был. От Орла до Москвы рублей девять, а там от Домодедово самолетом до Барнаула — 60 рублей. Пересадка короткая (от силы час) — и до Горно-Алтайска опять же на самолете — 15 рублей. Дорого, конечно, по тем временам. Но терпимо, по карману и мне, и моей жене. Еще и гостинцы привозили, и немалые (заметьте должен, что жена получала тогда пенсию в 130 рублей, я же как вольный художник — никакой, мой заработок зависел от издания книжек, а тогда были государственные издательства и издавали они нас, писателей, нормально).

Теперь же — ужас! До Москвы почти тысяча (это в мае), от Домодедово до Барнаула — 20 тысяч (теперь 80) и до Горно-Алтайска — 10 тысяч. А ведь нужно было возвращаться обратно. Господи, волосы дыбом! Ведь это — разлука с родными почти навеки.

А на пути к внукам сколько препятствий! В Домодедово — сидим ждем-подождем: то нет топлива, то по непонятным причинам рейсы отменяют. Беспредел во всем необъяснимый. А залы аэропорта загажены, рыщут ракетеры, личности темные, дороговизна в буфетах фантастическая: ни поесть, ни попить... Драки, шум — милиции не сыскать. И злость, злость невероятная. Талдычат, что раньше жили хуже: свободы не было, монополия, партия угнетала...

А я говорил себе тогда (в аэропорту), говорю и теперь: а зачем мне такая свобода, зачем мне этот беспредел... Говорю себе (и не только я): был определенный порядок, без страха выходил я на улицу, жена имела твердую пенсию, регулярно ездили к сыну, радостно общался в поездках по области с разными людьми. Сейчас же все это уходит и уходит... Как вернуть?

\* \* \*

На днях перечитал вроде бы пророческого русского философа Василия Розанова. Наткнулся на эти строки: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историей железный занавес.

— Представление окончилось.

Публика встала».

Пророчествовал это он давно. Пророчествуют это и сегодня.

А я вышел на улицу: солнце, высокое чистое небо. Многолюдная толпа, разные лица, крик ребятишек, улыбчивых, веселых, и так стало тепло на душе — не пропала и не пропадет наша Россия, пока думаем и живем, пока будут жить и работать наши внуки и правнуки. Это пока только сумерки, подумалось мне, день еще впереди...

1994

\* \* \*

Вчера, в который уже раз, перечитывал письма, дневники Толстого. И все не покидала мысль: «Как неудобен

294 он многим во все времена». Неудобен потому, что высказывал колкую, жгучую правду. Иногда орем: «Потеряли Россию. Вот тогда, до революции, было...» Но ведь было всякое: и светлое, хорошее, но и дурное было.

Например, «дедовщина» в армии, другие ее пороки — не сегодняшнее явление. Л. Н. Толстой писал в своем проекте о реформировании армии: «У нас есть солдаты 3-х родов — я говорю про армейских, которых знаю. Есть *угнетенные, угнетающие и отчаянные*.

...Угнетенный солдат морщится и ожидает удара, когда при нем кто-нибудь поднимает руку; он боится каждого своего слова и поступка; каждый солдат, годом старше его, имеет право и истязает его, и он, угнетенный солдат, убежден, что все дурно, что только знают другие, хорошо же то, что можно делать скрытно и безнаказанно».

А вот его слова, будто бы произнесенные только что, — о нищете, о ночлежках: «В Москве нельзя пройти улицы, чтобы не встретить нищих, и особенно нищих, не похожих на деревенских. Нищие эти — не нищие с сумой и Христовым именем, как определяют себя деревенские нищие, а это нищие без сумы и без Христова имени.

...Когда я говорил про эту городскую нищету с городскими жителями, мне всегда говорили: О! Это еще ничего — все то, что вы видели. А вы пройдите на Хитров рынок и в тамошние ночлежные дома. Там вы увидите настоящую золотую роту. Один шутник говорил мне, что это теперь уже не рота, а золотой полк: так их много стало. Шутник был прав, но он был бы еще справедливее, если бы сказал, что этих людей теперь в Москве не рота и не полк, а их целая армия, думаю, около 50 тысяч».

Перечитываю Успенского, Бунина, рассказы Чехова «В овраге», «Мужики»... Уж более искренних художников вряд ли найдешь в русской литературе. А нам талдычут: как мы нравственно, как сыто жили до 1917 года. Ах, если бы так!

Пытаемся в последнее время возвести царя Николая Второго чуть ли не до небес, забывая, что это при нем бездарно проиграли русско-японскую войну, проигрывали войну, на-

чатую в 1914 году, прошляпили, в сущности, страну... Уж как чудо хороши император и императрица, пригревшие Григория Распутина...

\* \* \*

Споры, споры о настоящем и будущем России, о ее великом прошлом, о патриотизме и т. п. На меня уставились сразу подозрительно, когда я обругал последнего русского царя, его бездарное окружение и не менее бездарное правительство — этих всех Горемыкиных, Протопоповых, Хвостовых...

Мол, как можно, ведь это непатриотично. А мне почему-то стало тоскливо от этих споров. Все это уже было, было. Как было и письмо милого, сдержанного Антона Павловича Чехова Суворину: «Как дурно мы понимаем патриотизм. Пьяный истасканный муж любит свою жену и детей: но что толку от такой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину, но чем выражается эта любовь? Вместо знаний — нахальство и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство, понятие о чести не идет дальше чести мундира».

\* \* \*

Март. Солнце уже светит, греет вовсю, во всем весна. Давно уж не был в полях, за городом. Не ездил в свой милый Дмитровский район. А там леса, такие дали... Там я впервые услышал глухариное бормотание.

Теперь слышу это глухариное токование в городе. Злоба, равнодушие разлились шире некуда.

Иду на днях и слышу крик, ор: «Убили, зарезали», — голосит помятая женщина.

«Ну и что», — говорит добротный высокий рыжебородый мужик и идет себе дальше...

\* \* \*

Вспомнились сердитые слова деда Кондрата, когда его упрекнули, что от него дурно пахнет. «Все пахнут, — ответил он. — Одни от своих мыслей, другие от того, кто они есть...»

«А кто они есть?» — задаюсь вопросом. Я все о тех, кто нынче наверху. И не нахожу ответа.

Ельцин? Как он любит выражаться: «Ваш Президент...» Но мой ли? Как мне было отчаянно плохо в те октябрьские дни прошлого года. Эти танки на улицах столицы, эта пролитая кровь моих сограждан... И уже после: как я рассчитывал на откровенность властей со своим народом, как хотелось узнать истинную правду — кто действовал тогда в рамках Конституции, а кто ее переступил? Почему нас позвали под пули? Почему нас вывели на улицы друг против друга?

Напрасные ожидания.

Тогда кто? Ищу, ищу и пока не нахожу. Но не оскудела ведь Россия?

Вчера случайно попал на встречу с ясновидящей. Отрепленная, с меловым лицом. Вещала. Не верится в ее вещания, однако что-то в них есть. Предрекла славное будущее России — слава Богу! Убрала нынешних властителей — уже что-то... И предрекла пережить переломный год, зеленую шелковую траву, а значит, как она сказала, мудрого, мирного правителя, наше благополучие.

Но опять вера в хорошего царя. Или, вот приедет барин — он-то и рассудит... А сами что: безрукие, безмозглые? Хотим жить устроено и получать, как на Западе, а работать спустя рукава? И все-то мы добры и участливы, но как-то издали.

\* \* \*

Познакомил меня ответсекретарь писательский организации Л. Ю. Моисеев с постановлением областной администрации о праздновании 125-летия со дня рождения И. А. Бунина. Хорошо, что есть такое постановление. И дай-то Бог, чтобы оно выполнилось.

Меня другое задело. Как и раньше, в далекие-близкие времена, комитет по празднованию формировался по одному и тому же признаку: по занимаемым должностям. Читаю список членов комитета: Мосякин, Щиголов, Авдеев и т. д. Знают ли творчество Бунина, любят ли его — никому не важно.

Как никому из высоких чиновников не важно было, что первый русский лауреат Нобелевской премии, трижды (пожалуй, единственный из русских сочинителей) отмеченный Пушкинской премией, почетный академик Иван Алексее-



вич Бунин долго замалчивался на Родине. Да и сейчас еще порой приходится слышать злобные слова в его адрес.

Когда же мы, наконец, поймем, что творчество и других наших выдающихся писателей-эмигрантов — Б. Зайцева, И. Шмелева, М. Осоргина, В. Ходасевича, В. Набокова, М. Алданова и многих, многих других — наше национальное достояние.

\* \* \*

Идет день за днем. Идем и мы. Куда? Встретился мой бывший товарищ, бывший коммунист, теперь яростный демократ, сказал: «Все плачешься. Все не можешь забыть старого...» Удивился, посмотрел на него: раньше вроде пел другое, за партию, в отличие от меня, держался до последнего, ответил: «Не могу». И безнадежно спросил: «Медицина была бесплатной? Образование тоже? Квартирная плата стоила копеечки. А теперь? Вот никак не найду мне нужные лекарства ни за какие деньги».

Мой бывший товарищ усмехнулся, твердо сказал: «А свобода...»

Не сдержался: «А на хрена эта свобода, когда становимся почти нищими. Не только материально, но и духовно». И напомнил ему слова наших великих предшественников, что нищие и злые никогда не бывают свободными.

А мы порой, не задумываясь: «Ах, ладушки, ах, ладушки...» Какие ладушки? Печально все это. Я и сам отлично понимаю, что возврата к старому нет и не будет. Как к тому, к дореволюционному, так и недавнему.

Но ведь вперед идут, имея четкие новые цели и ориентиры. Хотя бы вешки на дороге...

1995

\* \* \*

Апрель. Солнце. Чистое голубое небо. А на душе темно, хуже некуда. Чечня. Непонятная дырявая война. Гибнут дети, матери, отцы. И невосполнимые эко-

298 номические потери. И раздрай во всей России. Стоят заводы, разоряются колхозы, цены растут каждый день, выше потолка. Непонятно, необъяснимо, более чем тревожно...

Господи, за что наказал нас, куда деться?..

\* \* \*

Каждый день слушаю радио и смотрю телевизор — раньше был равнодушен к этим слушаниям-зрелищам. Но гибнут молоденькие ребята — сердце кровью обливается. Трудно даже представить: мать, отец получают похоронку, я уж не говорю о детях... Снова сироты. Зачем? Почему? Нет ответа? И наливаюсь яростью: это в те далекие годы погубили генофонд нации — посадили в тюрьмы, в лагеря самых отборных, смелых, трудолюбивых крестьян, откуда произрастали не только хозяева земли, но и ученые, писатели, художники — вся соль общества.

\* \* \*

Вот и выросли «новые русские». Пророс и старый Ельцин и иже с ним. Говорим мы одно, говорят они — другое. Образовалась какая-то глухая стена. Народ и правители. Раньше можно было прийти в райисполком, в райком, кому-то пожаловаться. Тонкая, зачастую формальная нить была между нами и властями, но была. Сейчас ее нет и в помине. Дожили? Почему терпим?

\* \* \*

Обидно до слез. Есть мудрый А. И. Солженицын. Можно по-разному относиться к нему. Но он еще когда предупреждал: нечего нам делать в Чечне, в Таджикистане... Выведите оттуда русских, постройте границы, как их строят в каждом нормальном государстве. Говорят: в Европе другое. Но попробуй, проникни туда... Я уже не говорю о разных санкциях в отношении Ирака, Сербии, Ирана... А мы доболтались до слаборазвитой страны. Ходим с протянутой нищей рукой. Стыдно и обидно.

\* \* \*

Встретил «высокого» областного чиновника, спросил: «Вы-то что не протестуете? Молчите?» Бодро ответил: «А зачем? Что мы можем сделать?» И начал подробно объяснять, какие они хорошие, но в то же время хилые... А я с горечью подумал: «Однако перевертыши». Им что — зарплату получают более чем приличную, машины персональные остались, дачи есть, о еде и одежде думать не надо. А речи их о заботах народных как были тогда, так и остались сейчас. Подумаешь, раструбят о каком-то дне защиты ветерана, красочно обставят этот день бесплатным приходом в ту или иную столовую, а завтра... Завтра ты уже никому не нужен, до следующей славной круглой даты. Как тошно и как печально!

\* \* \*

Господи! Как мы, не задумываясь, а может, сознательно, привыкли гадить на свою Родину. И то не так было, и то не ладно делали. Где же мы живем? Ссылаемся на Запад — там демократия, там вольно живет человек. Наверное, так. Но посмотрите, какие они патриоты. Англичанин обидится, когда обругают его страну, американец при любом празднике вывесит свой звездный флаг на каждом доме. А мы? При всей трагической войне в Чечне — что мы глаголем? Чеченцы гордые, справедливые, и показываем по телевизору, пишем в газетах, как мы жестоки? Но кто мы? Наши дети? Как мы опустились, не замечая, что предаем себя, Отечество. Действительно, чеченцы лучше нас.

\* \* \*

Вышел на крутой берег Орлика. Просторы, даль, вспомнились Тургенев, Бунин, Лесков, их дивные строки... Читать бы и читать их, Толстого, Чехова, Достоевского... Но в книжных магазинах не купить, там давно другая литература. Ну и пусть, говорю я себе, каждому свое, главное — не потерять ориентира, не сбиться с пути. Не мелочиться, не оглядываться на гаденышей, знать, что есть настоящие люди, Родина, семья...

Есть, конечно. И обидно, возвращаясь с Дворянского гнезда, смотреть на бывший Дом Советов, по-прежнему светлый, статный, такой симпатичный, и знать, думать, что там работают, сидят вроде бы прежние люди, но почему-то сейчас другие, отдаленные, холодные, циничные... Не все, естественно.

Господи! Одного прошу — поумнеть бы нам. Оглянуться вокруг и поразмышлять: куда идем? И не обмануться в этих раздумьях.

1997

\* \* \*

Россия планомерно и настойчиво уничтожается. Горько? Хуже. Я не экономист, не политик, провинциальный литератор, которого — худо-бедно — в недавние годы знали не только в России. Читали, узнавали, здоровались... Теперь не узнают, почти не читают — издательства рассыпались, книготорги исчезли, друзья-писатели оказались за «ближним» кордоном.

Но я не об этом сейчас. Сейчас невыносимо от другого. Появились тысячи нищих, миллионы беженцев — те же нищие. Иду, смотрю: сидит женщина с тремя детьми — замызганные, голодные, просят милостыню... Спрашиваю: откуда, зачем? Расплакалась навзрыд. Уехали из Таджикистана. Мужа убили. Квартиру они бросили. Теперь мыкаются, не знают, куда приклониться. Обычная в наши дни история.

И, глядя на них, вспомнил бунинские «Окаянные дни». «Заснул около семи утра. Сильно плакал, — записывает он в ноябре 1918 года. — Восемь месяцев страха, рабства, унижений, оскорблений. Этот день всего! Разгромили людоеды Москву!» Потом добавит: всю Россию.

Это он, Иван Алексеевич Бунин, благородный, не переносящий фальши, — о революциях — Керенского, Ленина...

Можно спорить, не соглашаться. Но в главном он был прав...

Прав хотя бы потому, что, несмотря на все хорошие завоевания советской власти — бесплатная медицина, образование, почти бесплатные квартиры, хлеб, молоко и т. д. и т. д., — в нас вбили страх, какую-то просительность: как бы не было хуже...

\* \* \*

Возмущаемся по-прежнему на встречах, в своих квартирах, изредка выходим на митинги. Кто-то объявляет голодовки, забастовки. Но все — разрозненно, эпизодически. Не заплатили зарплату, пенсии, детские пособия... И не задумываемся, что это стало системой. Что правители обнаглели, плевать хотели на нас: перетерпят...

Подтверждение — «свежие» инициативы Чубайса, Немцова и иже с ними. Уже провели так называемую приватизацию — что получили? Это был Чубайс. Как-то пощунял его так называемый «народный президент» Ельцин, снял с первого вице-премьера за какие-то ошибки, затем взял в свою администрацию главным, затем снова назначил первым вице-премьером. Игры, игры... Недавно была опубликована декларация Чубайса за 1996 год о доходах. Я не поверил своим глазам. Обалдеть можно. Такая цифирь просто не укладывается в голове. Но с ним ясно — чужой, далекий человек.

Но вот приходит к нему на подмогу Немцов. Кучерявый, молодой, бывший губернатор Нижегородской губернии. Справлялся: чем губерния славна была до революции и чем теперь? Разница — как от неба до земли. Почитайте ту литературу, ту статистику — и нынешнюю. Удивитесь... Но взяли... в правительство. И с изумлением слушаю его. Говорит, что положили ему зарплату — два миллиона с лишним. Позвонил жене — не согласилась. Когда пошел к «бедному» Ельцину — договорились: мало. И стало чистой зарплатой в месяц семь с лишним миллионов, а с разными добавками — пятнадцать. А еще за вредность, за работу с секретными бумагами и т. д., за издание книжек автобиографических (замечу, кстати, мне и не только мне не платят

302 почему-то гонорара за книги художественные) — набегают многие сотни миллионов.

Рабы мы, говорю себе, прочитав сегодня результаты опроса о популярных политиках. Почему-то там на первом месте кучерявый лживый Немцов. Может быть (скорее всего), врут. А вдруг нет? Глумные мы, повторяю себе, узнав о выборах губернатора Нижегородской области. Так и будем плакаться, если и вправду будем покорными...

\* \* \*

Гляжу в окошко и тоскую, плачу. Идут люди, приятные взору: молодые, стройные, пожившие старики и старушки. И мне бы радоваться жизни: голубому небу, зеленым деревьям, хрустальному писку птиц — конец лета, отрадная пора. А на душе почему-то темно, вспоминаются, лезут и лезут в душу разные нищие, инвалиды, беспризорные дети. Опять эти страшные цифры, сравнения: смерть превысила рождаемость, убийства средь бела дня, производство на заводах и колхозах падает, общество деградирует... Мы — на грани катастрофы. В упадке музеи, музыкальное искусство, литература, вечные моральные ценности — добро, участие, красота... Мы становимся манкуртами...

Громко? Нет. Вчера за долгие годы (нет денег — проезд стал таким дорогим) навестил свой родной Кромской район, деревню, где родился. И вместо радости так стало горько: в Кромах исчез книжный магазин, где когда-то я закупал так много хороших книжек, которых и в областном центре нельзя было приобрести. В этом магазине приобретали нужную литературу и из окрестных сел — Пушкина, Чехова, Распутина и других. Исчезло. В райцентрах теперь нет книжных магазинов, в деревнях тем более. Что читать сельским ребятишкам?

Поле, луг, река — прекрасно. А что дальше?

Учителя уходят в быт — усадьба, огород, коровник... Зарплату подолгу не платят. И растут, растут одинокие, заброшенные, оторванные, России не свойственные...

\*\*\*

«Типун мне на язык, — написав эти строки, говорю себе. — Что ты хочешь? Все уже давно знают, как было тогда и как стало сейчас. И по отдельности протестуют, выходят отдельной кучкой на улицы, площади... Хорошо, — твержу я себе. — Вышли, побазарили — а дальше что? Они, Чубайсы и Немцовы, умные, циничные, ублажили тот или иной завод, тех или иных людей. И мы притихли, успокоились. А рядом по-прежнему бедствуют. Когда все вместе всколыхнемся?»

\*\*\*

Заводы стоят, колхозы умирают, а они, рыжие, кучерявые, сытые, решили нахально разобраться с самыми незащитными: ветеранами, детьми, инвалидами, — обобрать их до нитки, лишив их каких-то ничтожных льгот, проводя новую грабительскую жилищно-коммунальную реформу...

\*\*\*

И вновь перечитываю Бунина и ужасаюсь: «В сущности, всем нам давно повеситься — так мы забиты, замордованы, лишены всех прав и законов, живем в таком подлом рабстве, среди непрерывных заушений, издевательств!»

Ужасаюсь потому, что те дни и наши — одинаковые... Нет, гораздо хуже!..

## 1998

\*\*\*

Солнце. Март. Высокое — низкое небо. Все прибавляется света. А мне тошно. Объявили прибавки к ничтожным пенсиям. Обманули, как всегда. И вообще с этими пенсиями какая-то непонятная несуразица. Вдруг профессор стал получать меньше лаборанта. Хуже того. Узнаю и не верю: нынешние чиновники получают пенсию два миллиона (старыми) и больше. Оказывается, местная Дума может принять такой закон. Задаю себе вопрос и не нахожу

304 ответа: пенсионеры стали первой, второй, третьей категории. Раньше вроде не служили — прохлаждались. Теперешние разваливают все: производство, культуру, образование, медицину и т. д. и т. п., но заслуживают высшего финансового поощрения. Абсурд!

\* \* \*

Удивительно! Вчерашние демократы, кроме пухлого, щекастого Гайдара и иже с ним, признают, что верхушка власти врет, цинично обманывает... Приводят убедительные примеры. А мы все молчим, тухнем, равнодушны... Где-то забастовки, голодовки — нас не касается. Нас!!! Так и по одиночке ублажают, убивают...

Какие мы прохвосты! Думал, надеялся, что нынешняя оппозиция — честные, порядочные люди. Нет. Все то же, что и раньше. Читал статью В. Соколова в «Орловской правде», где он называет главные причины поражения (а вернее, предательства) Советской власти. Первой он называет предательство переродившейся верхушки КПСС во главе с М. С. Горбачевым, Б. Н. Ельциным, А. Н. Яковлевым, В. А. Медведевым, Э. А. Шеварднадзе и большей части аппаратчиков как в центре, так и на местах. Подписываюсь под каждым словом и задаю себе и Соколову вопрос: «А чем отличается теперешняя верхушка от той?» Выборы проиграли почти что сознательно, а главное — дурят нас всех в Думе. Могли отправить в отставку плохое правительство — не стали. Объясняют благими намерениями — то да се. А Россия гниет, люди (в большинстве своем) живут все хуже. Не живут — существуют...

\* \* \*

Какие же мы глумные! Верим. Надеемся. Особенно перед выборами. И голосуем почти что единогласно за Соколова в Госдуму, в областной, городской Совет за коммунистов. Приходят к власти. И обещаний своих не выполняют. Опять говорят — потерпите. Повышаются цены на товары, на коммунальные услуги, отменяют льготы ветеранам и инвалидам на лекарства и т. д. — нет де-



нег в бюджете. Но ору криком — раньше были! Смирлись. Даже Шорин, в областной Думе отвечающий за социальную политику, утешает: делаем, стараемся, в соседних областях хуже... Что делают, как стараются — непонятно. И куда уж хуже — зарплата низкая, пенсии ничтожные, а квартплату подтягивают до западных стран, цены на все — тоже. Только платят за работу не по ихнему, о пенсиях уж не говорю.

\* \* \*

Да и надоело это слушать: Запад, Европа... Неужели мы хуже? Нет и нет. Я помню, как приезжали к нам в Орел немецкие, американские, японские... писатели и завидовали нам, говорили: «У вас есть дома творчества, книготорги, умные читатели, поддержка государства... У вас...» А еще они восхищались нашими бесплатными детсадами, библиотеками, музеями... Мало ли чем они восхищались! Теперь не восхищаются. Сочувствуют. И порой злорадно ухмыляются: сравнялись! В ценах, в равнодушии, в цинизме... Дожили!

\* \* \*

Какая еще страна могла похвастаться такой культурой, интеллигенцией, нравственностью, какая была у нас? Слов, понятий — интеллигенция, нравственность, духовность — на Западе и нет. Им в диковинку искания Толстого, Достоевского... Глухи они и даже враждебны к мыслям Распутина, Белова, Бондарева, Солженицына. Да и это понятно. Непонятно только: почему глухи нынешние правители — Ельцин, Немцов, Чубайс и другие? Горьки и непонятны мне и поступки уважаемых, талантливых людей — Лихачева, Астафьева, Селезнева... Принимают награды из рук по крайней мере лживых, нечестных; да и награды какой-то третьей, четвертой степени...

\* \* \*

Вчера узнаю: в тихой Орловской области цены повысились. Ряженка, которую покупал изо дня в день, вырос-

306 ла на 400 (по-старому) рублей, сигареты, творог тож...

Пенсий у многих не прибавилось, жизнь вздорожала, а мы все соглашаемся, примиряемся. С кем мир, с кем согласие — с Березовским, Чубайсом, Ельциным — упаси Боже.

Часто собирают, проводят «круглые столы» по различным проблемам. И выпадает почему-то главная — нет пока идеологии в нашей России. Боимся этого слова. Америка, Англия, Франция — не боятся. Но не бывает мощного государства без идеологии, национальной идеи. У коммунистов была и есть. Вроде бы и неосуществимая, но и прекрасная. Взамен ничего нет. И пока не пытаемся найти. Что-то невнятное буркнул один, что-то сказал другой. А вместе оглядываемся на Ельцина — а там пустота, интриги, борьба за свое благополучие. И ублажение чиновников, силовых структур... А народ, Россия — плевать на них...

\* \* \*

Что наверху, то внизу. Грядут выборы в областной Совет. И опять подковёрная борьба, сталкивание порядочных людей. Раздваиваюсь и думаю тоскливо: за кого голосовать? И отдаю предпочтение Кононыгину. Знаю его твердую позицию, честность. Знаю и читаю каждый день «Орловскую правду», которой он руководит. Бывают и там материалы спорные, разные. Но это-то и хорошо. Пустую, без плодов, яблоню не трясут. Плодоносит то, что имеет корни. А там плоды яркие, крепкие...

2000

\* \* \*

Давно уже не писалось, не читалось. Жизнь какая-то блудная, потерянная. Смотришь телевизор — и удивление, удивление... То ли заморская страна, то ли чукчи на Севере...

Заморская — Чубайс, Кириенко, Немцов... Глаголят, поют — не поймешь. Обещают. Но уже были у власти — обманули, разорили. И что?

И тут начинается чукотская сторона: однако, не знаем, однако, забыли... Выборы в Думу, теперь уже прошедшие. Избираем, не зная кого: так называемых «медведей», СПС, Жириновского, Березовского, Абрамовича... Мне запомнились слова молодого красивого парня по телевизору. У него спросили: «Как вы думаете, почему так проголосовали?» Он ответил: «А просто. Проголосовал электорат, как все говорят, пишут». — «Ну и что?» — не задумываясь, спросила молодая корреспондентка. «Как что? — удивился молодой человек. И спросил: — Вы знаете перевод слова электорат? Электорат — это народ одноразового использования».

Грубо? Нет.

А мы все ноем, выходим на редкие митинги. Побазарим, поорем и расходимся.

\* \* \*

Господи! В какое время и в какой стране мы живем? Это — Россия? Дал себе слово — не психовать, не обращать внимание на все безобразия, которые ежедневно творятся, на весь неслыханный и невиданный цинизм нашей верховной (и не только) власти. Говорят одно — делают противоположное. Привыкли, смирились, а зря.

Но что самое страшное, деятели культуры — артисты, музыканты, писатели берут с них пример. Как будто настал конец света. Народ (в массе своей) нищенствует, а они буйствуют, от жира бесятся. Недавно был юбилей какого-то деятеля — на всю страну по телевизору показывали. Во многих газетах об этом написали. Посмотрел, прочитал — волосы дыбом встали. Шампанское рекой, тазы икры черной и красной, наряды из Парижа и от Юдашкина, подарки немислимые — белые «Мерседесы», бриллиантовые кольца, выкрутасные картины и т. д. и т. п. Купцам дореволюционным разгульным далеко до них!

\* \* \*

А почитайте комсомольскую «толстушку», посмотрите на помещенные там светские снимки. Только во сне может присниться такое, да и то не каждому человеку. Извращение какое-то.

И пошел я после этого в наши музеи: Бунина, Лескова, Андреева... И заплакал я от бессилия: сотрудники, прекрасные, влюбленные в свое дело, зарплату получают мизерную, экспозиции почти не обновляются, новые материалы не приобретаются — не на что.

Обратился к своим собратям по перу — как живут? Вроде бы недавно издали хорошие книги Дронникова, Семеновой, Катанова, вышла и у меня, красиво оформленная талантливым художником Николаем Силаевым. Раньше писали, радовались. Что-то получали за свой труд. А теперь гонорара никому не платят, говорят: сам продавай книжки. Правда, старается, что-то делает директор издательства Лысенко. Спасибо ему.

Но не нужны лучшие наши писатели — Распутин, Белов, Казаков... а уж Дронников, Катанов, Семенова, хотя и они близки к Распутину, Белову, Рубцову... талантливы по-настоящему.

Идет какая-то странная политическая борьба, где мы — соринки, где почему-то нужны Пугачевы, а не Штокловы... Все вроде рынок, все вроде бы правильно. Одного не понимаю — рынок дурной, дикий...

\* \* \*

Я вспоминаю нашего профессора в литинституте. Он рассказывал: «Разрушенная Германия после войны. Собирается высший немецкий совет. Спрашивают, что в первую очередь восстанавливать? Подумали и решили: «Кирхи, музеи, издательства»... И ответили на недоуменные вопросы: «Чтоб дух жил, немецкий. А тогда и экономика, страна будет». Так и свершилось.

Почему мы этого не поймем?

Хотя, когда нужно, в Спасское возят, музеи показывают самым высоким гостям.

Они ходят, смотрят, выражают самые теплые чувства, обещают... И все потом застывает.

...Смотрю на приспособленцев от культуры — Пугачеву, Киркорова, Хазанова и иже с ними — талантливые вроде бы люди, богатые, хорошо им с властью.

Живут как будто в другой стране. Не в России. А мы глядим, возмущаемся, смиряемся... Почему?

\* \* \*

Приехал в свое село — Коровье Болото. Хирело когда-то на глазах. В школу ходили четыре-пять учеников — старики не рожают, а молодые давно разъехались. И вот с этой давнишней строевской «программой 100» стало возрождаться и мое село. И не только мое Коровье Болото. Если помните — сколько красивых, добротных домов, детсадов, медпунктов выросло как грибов после теплого дождя. Потом долго был провал...

\* \* \*

Приехав как-то в хороший, недавно сильный колхоз, походил, посмотрел, спрашиваю председателя, теперь какого-то товарищества:

— Что так стены у домов, яслей облезли, рушатся? Столовая не работает?..

Посмотрел, нахмурился, взорвался:

— А денег где взять? Зарплаты никому не плачу уже года полтора. Подхожу к механизатору, доярке, а они меня посылают куда подальше. Что ответить? Посевные площади сократили — картошку, молоко не берут, — доведи. Это возле Орла еще отираться можно... А мы в глуши — как быть?

Как быть — никто толком не знает. А жить ведь надо...

\* \* \*

Яркая нежная зелень. Голубое близкое небо, солнце. Хрустально, серебряно тренькают птицы, и голоса их убаюкивают, сладостно ласкают слух. А мне нехорошо: вчера прочитал в «Комсомолке» о детских домах, о беспризорниках — оказывается, у нас их (только учтенных) — два миллиона. Это, казалось бы, в мирное время. Жуть! Но еще большая жуть, что творится в приютах, в домах престарелых — голод, разруха, воровство... И никому нет до этого дела...

\* \* \*

Орловская область — не отдельная страна, она, как и вся Россия, переживает трудные времена.

Но есть новая программа: «Славянские корни», как и давняя «программа 100», возрождает село; строят, оживляют, привечают вынужденных переселенцев, уделяют внимание культуре как нигде. Строев — наш губернатор — умный реформатор, но где другие?

\* \* \*

И все-таки, все-таки... Как-то я встретил Ивана Яковлевича Мосякина, заместителя главы администрации. Поздоровались, улыбнулись, он спросил:

— Как живешь, Иван Алексеевич?

— Плохо, — ответил я.

Нахмурился, неприятен, наверное, был мой ответ.

Тогда я спросил его:

— А как ты, Иван Яковлевич?

Замаялся, отвел глаза.

А я знал Ивана Мосякина молодого, красивого, всегда подвижного, деятельного, радостного. Знал как влюбленного книжника. Помню, как приезжал в Дмитровский район, где он работал первым секретарем райкома комсомола, и он в первую очередь вел в книжный магазин, и мы купались в литературе, набирали тома Бондарева, Проскурина, Носова, наших орловцев — Андреева, Лескова, Бунина... и уходили счастливыми.

В те времена самым редким дефицитом были книги, хотя и издавали их порой миллионными тиражами. И сельские книжные магазины дарили, как не дарили городские, радость, счастье...

Сегодня не дарят. И спрашиваю Ивана Яковлевича:

— Как же так? Ведь не смогут колпнянские, корсаковские, новодеревеньковские... приехать в Орел за книжкой? Да и в Орле почти исчезли книжные магазины, остались клочки их. Почему?

Отводит взгляд. А мне твердят, что Орел — вторая (или третья?) литературная столица. Напоминают, что в Орле прошел выездной пленум Союза писателей России, куда

съехались лучшие, цвет нашей литературы: Распутин, Белов, Ганичев... и многие, многие уважаемые. Что, благодаря Строеву, учреждены всероссийские литературные премии имени Бунина, Карамзина, Фета. Все это так! Но что премии, пленумы — когда глохнут библиотеки, книжные магазины, когда сельские ребятишки не могут читать тех же лауреатов премий. Горько...

\* \* \*

И хочется жить, верить... Треньканье птиц, высокое васильковое небо. Речка, луг, необозримые дали... Сладкий запах трав, цветов, пашен... А в родной Орловщине все это ближе, глубже, слаще. И говорю тогда себе: прости, Господи, мои годы и дни... Хочу жить и жить, все это видеть, обонять, слышать...

И в ту же минуту взрываюсь: почему все стало так?





# II

СТРАНИЦЫ

ЖИЗНИ



## Автобиографическая заметка

*Я родился 19 апреля 1936 года в селе Коровье Болото Со-  
сковского (теперь Кромского) района.*

*Отца моего звали Алексеем Даниловичем, мать — Анной  
Яковлевной (в девичестве Сафонова).*

*О роде Рыжовых я знаю мало. Знаю только, что он был исто-  
кон веку — крестьянский. Деда почти не помню, зато хорошо  
помню бабушку Фросю Сафонову.*

*Среди многочисленных внуков она почему-то выделяла меня.  
Может быть, из-за моего острого любопытства ко всему, что  
окружало меня: к лесу, лугам, реке, птицам... И я уже с пяти  
лет знал то, о чем понятия не имели городские мальчишки: на-  
звания грибов, трав, цветов, птиц...*

*Жили мы тяжело, а потому с нетерпением ждали весны и  
лета, когда можно было переходить на подножный корм. Выра-  
стала молодая крапива, из которой варили вкуснющие, так мне  
казалось, щи, в лугах накидывались на дикий лук, чеснок, анис,  
баранчики и другие съедобные цветы и травы. А еще больше нас  
радовала протекающая рядом речка Ицка — наша кормилица.  
Бабушка всегда ожидала нашего возвращения с богатым уло-  
вом пескарей, окуней, плотвичек, а порой рыбы и покрупней.*

*Как и положено было тогда, в восемь лет я пошел в школу, в  
первый класс. И сегодня вижу себя маленького, в плохой оде-  
жонке, обутого то в чужие лапти, то в чуни зимой, а до первых  
заморозков — босиком.*

*Хорошо помню свою первую учительницу русского языка и литературы Марию Александровну, что подарила мне на всю жизнь любовь и трепетное отношение к книге.*

*Сельская библиотека была в то время маленькая и скудная, я читал все, что попало: Бабаевского, Горбатова, Кочина, разные старые журналы и газеты. И только с большим опозданием я прочитал Толстого, Чехова, Бунина, в которого влюбился без памяти. А еще позже пришли Алданов, Шмелев, Зайцев, Набоков, Флорбер, Фолкнер и другие первоклассные писатели.*

*Несмотря на бедность и горести деревенской жизни, любовь к деревне осталась во мне навсегда. И все-таки в город Орел нас выгнала нищета, хоть отец вернулся с войны офицером (начавши ее солдатом), имея боевые награды: ордена и медали. На окраине купили в рассрочку маленький деревянный домик, с маленьким садом, в который нередко лазил за грушами будущий поэт Виктор Дронников.*

*Мать устроилась работать уборщицей, а потом санитаркой в больнице. Отец работал младшим бухгалтером.*

*Поступил и окончил 19-ю среднюю школу. Отслужил на Балтийском флоте. А потом завод приборов — слесарь-сборщик, контролер, освобожденный секретарь заводской комсомольской организации.*

*Но это — обязанность. А тянуло меня в дом по адресу: Почтовый переулок, 16, где располагался «Орловский комсомолец», где работали замечательные ребята — дерзкие, веселые, интересные. И среди них — зав. отделом пропаганды Гена Харитонов, который убедил меня, что я тоже вместе с ними могу быть полезным газете. И убедил комсомольское собрание завода отпустить меня в газету.*

*Так в 1961 году я стал литературным сотрудником «Орловского комсомольца». А потом — зав. отделом, зам. редакто-*

*ра и, наконец, редактором любимой и авторитетной газеты.*

*Была на моем пути работа в обкоме КПСС, зав. сектором печати, был пост председателя комитета по телевидению и радиовещанию. Но, как заметил при встрече Олег Табаков, народный артист СССР, — «по недоразумению».*

*Я тоже так считал, поэтому в 1984 году ушел из комитета по собственному желанию на творческую работу. Правда, некоторое время спустя был избран ответственным секретарем Орловской писательской организации. А через два года, тяготясь должностью, предложил товарищам по писательской организации избрать отв. секретарем Леонида Юрьевича Моисеева. И не ошибся. Это был лучший руководитель нашей организации за все годы ее существования.*

*Женат. Жена Алла Михайловна, сын Андрей, невестка Марина и два любимейших человечка — внушка Соня и внук Миша.*

*Имею правительственные награды: орден «Знак Почета», медаль «За доблестный труд», заслуженный работник культуры РФ. Первый лауреат Всероссийской литературной премии им. И. А. Бунина (1994 г.), лауреат юбилейной Пушкинской премии администрации Орловской области (1999 г.). На XII съезде Союза писателей России (Орел, 2004 г.) избран в Высший творческий совет. Писать начал рано, сотрудничая еще во флотских газетах. Но первый свой рассказ опубликовал на страницах «Орловского комсомольца» в 1962 году. Заочно, в 1971 году, окончил Литературный институт им. Горького.*

*Горжусь, что в один день и в один час в 1968 году был принят в Союз писателей СССР вместе с Николаем Рубцовым.*

*Ив. Рыжов, 2004.*

## • ПИСЬМА<sup>1</sup> •

### I

Дорогой Иван Алексеевич!

Мне сегодня позвонила Светлана Михайловна Туркова (Шолохова) из «Крестьянки». Журнал с твоими зарисовками они будто бы послали в Орел. Но дело не в этом. То ли редактор отдела, то ли журнала хотят с тобою встретиться, о чем-то поговорить. Они знают, что ты должен приехать в Москву на вступительные экзамены в августе. Пожалуйста, загляни в журнал в первые дни по приезде.

Я 5-го августа на месяц или больше уезжаю в армию, на Дальний Восток. Со мной, естественно, тебе встретиться не придется. В случае осложнений с экзаменами не постесняйся зайти к директору института И.Н. Серегину или его заместителю А.А.Мигунову. Скажи им вместо пароля: «Родичев просил принять меня в Литинститут...»

Они сделают все, что одолеют. А принять они одолеют.

Привет Харитонову, Шумарову, Горбачеву.

Желаю новых страниц,

Николай Родичев.

28 июля 64 г.

---

<sup>1</sup> *От составителя.*

В этом разделе выборочно представлены письма писателей (I), литературоведов (II) и читателей (III) к И. А. Рыжову. Сведения о некоторых авторах писем в конце книги в именном указателе. Тексты даны в авторской пунктуации и орфографии, кое-где с небольшими сокращениями. Внутри подразделов письма расположены в хронологическом порядке. Оригиналы хранятся в личном архиве И. А. Рыжова и в его фонде в Орловском объединенном государственном литературном музее И. С. Тургенева.

\* \* \*

Дорогой Иван!

Прозой я, друг мой, занимался, почитай, три года, а сейчас занимаюсь литературой (всей), но не в том дело, милый. Дело в том, что рассказ у тебя получился хороший. Черкнул я только словечек пять для твоей же пользы. И название рассказа предлагаю другое (запахов и тяг и пр. было шибко много). Давай его назовем «Блажной». А? Ну, пиши. К весне рассказ, думаю, опубликуем.

Ответь.

Твой Ю. Сбитнев.

28 /II-70 г.

\* \* \*

Здоровеньки булы, Иван!..

Поздравляю тебя с Октябрем и прочая, и прочая.

Что нового в Орле и у тебя лично? Как творческие дела? Рад за ребят, за их новые книжки. Привет передай, кто под рукой окажется.

Кто занял секретарское кресло? Расскажи!

Я побывал в Польше, обкатал полиграфны в связи с юбилеем Коперника. Получил разные презенты, но самый главный – католическое распятие, семейное. Ему лет 120 – 150.

Будет в декабре пленум правления – заскочу в Орел.

Да, сообщи адрес местоположения редакции твоей газеты и «Орл. правда».

Что слышно о Селихове, о Старшинове? О Харитонове?..

Ну, лады, жму лапу – Евг. Зиборов

3.10.72 г.

\* \* \*

Уважаемый Иван Алексеевич!

Мы всегда очень внимательно относились к Вашему творчеству, считаем Вас талантливым, перспективным автором.

Этим письмом мы хотим сообщить Вам, что редакция и редколлегия «Нашего современника» решили один из

320 номеров журнала в 1974 году (видимо 7 или 8) целиком составить из произведений молодых писателей («молодых» — условно, конечно: точнее будет сказать — талантливых, но еще неизвестных широкому читателю).

К бесспорно талантливым молодым писателям мы относим и Вас.

Мы были бы очень рады, если бы в планируемом нами «молодежном» номере журнала значилось и Ваше имя. Для этого нужно, чтобы Вы не позднее 15 марта с. г. представили в редакцию «Нашего современника» рукопись нового рассказа (рассказов) или повести в двух экземплярах.

А через месяц, примерно 15 апреля, мы пригласим Вас в редакцию для обсуждения и редактирования Вашей рукописи.

В обсуждении рукописей молодых примут участие, кроме работников редакции, члены редколлегии В. Астафьев, Е. Носов, Ю. Нагибин, В. Тендряков, В. Шукшин, А. Югов и др. опытные писатели — авторы нашего журнала.

Вызов в Москву через Вашу организацию мы сделаем. Дорогу и командировку оплатим.

Сообщите, пожалуйста, нам, принимаете ли Вы наше предложение?

От всей души желаем Вам успеха в предстоящей творческой работе!

С. Викулов,  
главный редактор журнала  
«Наш современник».

22 ноября 1973 г.

\* \* \*

Иван Алексеевич, здравствуй!

Кажется, я в долгу перед тобой. И не только тебе, а и всему миру не пишу, вернее, не писал. Лишь на днях отправил твоим доброжелателям фото: Борису <Попову> и мценскому грибнику, Ивану <Александрову>.

Давно замышлял тебе написать. О новостях ты, разумеется, писать не любишь, но надежда у меня, что ты согласишься что-нибудь интересное, есть.



Я при полнейшем развале и завале. В 74-м взрослой книжки вам не будет. Обкомовский ставленник А. Чепуров — ред. издательства, выбросил из плана. Я виню лишь чилийскую военную хунту в этом. Детская выйдет вот-вот. Звать ее будут «Юлькина пашня». Дотягиваю и новую. И повестушку для «Костра» сочиняю. А за душой не звякает, хоть в банщики устраивайся.

Хочется к вам, на родную земельку. Ох, как тянет!

Как-то в августе ко мне зашла землячка Наташа Родина. Она ехала на Орел и дальше, к дому. Передавал я через нее тебе крепкий поцелуй. Не знаю, исполнена ли моя просьба. И беда, я записал или нет ее адрес. Обещал побывать у нее в Сосновом Бору, а адреса не найти. Досадно очень.

Нет ли желания побывать в нашем граде? Как пишется? Здоровье? Где издаешься? Кто правит вами?

Будь работоспособен.

Пиши. Обнимаю. А. Леонов.

5.10.73.

\* \* \*

Здравствуй, Ваня Рыжов!

Поздравляю тебя с «Горькой рябиной». Читаю. На днях гонялся я за «Канунами» Вас. Белова. Сказали — будет там-то... на совещании пропагандистов. С утра пораньше приехал в Дом политпросвета, с трепетом Белова схватил, смотрю рядом — Иван Рыжов лежит. И берут! Хорошо берут! За 10 минут экземпляров 8 купили. И я, конечно. У одной дамы спрашиваю: «Почему вы эту книгу купили?» — «Приятно оформлена. И название хорошее». Бедная рябина — уж сколько раз ее брали напрокат, а она все девственница! Привлекает! Но это так. Книга-то, Иван, взаправду хорошая. Проблемы ставишь и решаешь серьезные, и убедительно решаешь. Рад за тебя, что вышел на всесоюзную аудиторию. Побывать бы у вас хотелось. Ну да я надеюсь — не поленишься, черкнешь, где и что с Васей Катановым, с Геной <Харитоновым>? Привет самый дружеский им и лучшие пожелания.

Я вот уже 9-й год — чтец Калининской филармонии, работаю один с литературными концертами. Тащу воз

322 партийных забот в нашей сложной творческой организации — секретарствую (и конца не видно). Есть и у меня некоторые литературные радости: близко был знаком с К. Фединым и И. С. Соколовым-Микитовым (опубликовал в двух номерах «Калининской правды» очерк о них... 31/VII и 4/IX-76). Часто встречаюсь (в Карачарове) с В. Солоухиным. А вот повесть свою о детстве так и не могу пристроить. «Аврора» было взяла года два назад, расхвалила, в план включила, ан... поменялся зав. отделом прозы и все рассыпалось. Может и поделом! Серьезнее надо бы было заниматься одним делом, а не прыгать, словно кузнечик. Иван, скажи Володе Громову или кому-либо в музее — у меня есть первое издание первого романа Тургенева «Дворянское гнездо» 1859 г. Расставаться я не собираюсь, но они должны знать сие и держать на заметке. Где В. Дрон<ник>ов? Что с ним?

Привет — Юрий Иванов.

Супруге привет.

1 февраля 77 г.

\* \* \*

Здравствуй, дорогой Алексеевич!

Исполняю свое обещание, шлю сборничек Алеша Прасолова. Вот ведь какая штука — жизнь! С 64-го и по смертный его час жил я рядом, слушал его стихи, здоровался и пил изредка вместе, наверное, оскорблял, а может, смешил его своим несколько заносчивым отношением — было во мне такое, было! Ведь он удивительно наплевательски относился к своему быту, к тому, как и кто на него глядел! А я тогда учился в Москве, пил, возможно, не меньше Алексея, но, правда, пьянел редко, а он и пил, как стихи писал — без оглядки!

Но хоронил его — я. В лютую стужу, в бесснежье мы с Самойловым и Ионкиным нашли автобур и выбурили ему последний дом... А теперь вот — слава богу! — сумели и памятник соорудить, правда, не без помощи его жены окаянной, ставшей, возможно, главной причиной его смерти!

Очень жалею, что не познакомил тебя с нею: она была вместе с нами в Курске, по издательским делам, и в пятницу,

когда все вернулись от Першина, — помнишь? — мне и Дундину пришлось провожать ее и нашего старшего хударда на поезд. Там-то я, наверное, и простыл, отчего вновь появилась фебрильная температура и вот уже две недели, как я бюллетеню. Но — одолеем!

Почитай, милый Иван Алексеевич, Прасолова; ей-богу, и в стихах, и в поэмах, а особенно в прозе и статьях, письмах он тебе откроется удивительной стороной, неведомой даже тем, кто знал его при жизни — и очень близко!

Твою книжку тоже прочитал: искренний ты в ней, до удивительности оголенный. Я боюсь так откровенно раздеваться, все путаю читателя, не называя точных адресов, себя пряча в туманах. Но ведь и не «Я» наше главное в прозе, а наш талант, или нет? «Я» может быть всяким — и Достоевским, и Некрасовым, — а вот талант — он, по-моему, живет помимо этого «я» сам по себе, порой издеваясь или вознося сию мерзкую земную плоть — наше я.

У тебя счастливое сочетание твоего «я» и твоего таланта. Ты памятлив на людей, на чувства, на природу; твоя душа отзывается и на утренние росы, и на детские поиски звезд в лугах, и на встречу немецких поэтов с бывшим немецким военнопленным Филиппом Никишиным... А уж родную Орловщину ты, наверное, «излюбил, как цвет»! Ну, да без любви поэту никак не прожить, а ты и в прозе, Ваня, поэт своей земли родимой...

Теперь к делу. Одновременно высылаю и рукопись о Бунине. Почитай, подумай и скажи, что нам делать с молодым, но ранним критиком из Липецка. Он, кажется, из тех, но если взгляд на поэзию Ив. Ал-ча верен — постараемся издать.

Ваня! Евгений Иванович меня в последний день весьма отругал вместе с Алексеем Шитиковым и Гусаровым. Дело в том, что лет пять назад я через Лисицкого (под его и Лутковым напором) давал в «Современник» свою повесть. Ее там потом забодали, обвинив меня черт знает в каком антисемитизме. Потом повесть вышла у нас, получила хорошую прессу («Правда», «Лит. обозрение», «Подъем») — и вот за то, что я ее не послал опять в «Современник» (повесть о 10-классниках) — меня и ругали.

Сейчас я перепечатаваю ее — на расклейку у меня не осталось книжек! — и хочу послать. Но кому? Ты ведь поближе к Москве — может, подскажешь? Там люди-то поменялись, да и из старых я знал одного Лисицкого! Подскажи, если можешь.

Ну, пока! Сердечно обнимаю. Желаю всех благ! Поздравляю с Новым годом, хоть и заранее. А то уеду к матушке в отпуск — и забуду! Твой Петр.

*P.S. Дорогой Алексеевич! Хотел я послать тебе только рукопись о поэзии Бунина, но она очень маленькая! Поэтому — подверстываю статьи этого же автора о современных поэтах — вкупе рукопись весит около 15 авт. листов (насчитаешь больше — оплатим!)*

*Автор, как я и писал, молодой, да ранний. Нас года два назад лягнул в «Лит. обозрении» за плохие книжки начинающих поэтов, теперь, надо полагать, своими статьями учит нас, с кого мы должны брать пример при отборе стихотворений местных авторов.*

*Другими словами, мы бы хотели получить от тебя вразумительную, достаточно объективную рецензию с рекомендациями по доработке, с оценкой единства каждой рукописи и их ценности.*

*Желаю всего наилучшего.*

Обнимаю, твой Петр <Сысоев>.

Воронеж,  
7 декабря 84 г.

\* \* \*

Дорогой Иван, свет Алексеевич!

Сердечно рад был получить в дар новую твою книгу. Спасибо и еще раз спасибо за память добрую!

Молодец, что издал новый сборник! И не расстраивайся, что бумага не та, и шрифт не тот, и в подбор все... Мы-то знаем с тобой, что в книге главное и ценное. А цена твоих сочинений — Мих. Мих. прав! — высокая, настоящая. Буду теперь неспешно их читать (два уже успел прочесть — «Я жду теперь осень» и «Горькая рябина», и порадовался языку твоему особенному и настроению проникновенному).

Значит, на «вольные хлеба», говоришь, ушел? Что сказать? Завидую тебе светлой завистью. Правда! А я пока не могу себе такого позволить. Трое у нас с женой иждивенцев: две дочери и моя старенькая мама. Правда, старшая дочь в этом году закончила университет и сейчас приступила к работе, здесь, у нас, в <нрзб> городе. Но пока еще и ей придется помогать — велика ли зарплата у начинающего педагога. А младшая дочь только в восьмой пошла. А знаешь ли, что такое — двое «невест» в доме? Вот и не могу порвать с ТАС-Сом, кормит он меня, тут ничего не попишешь. И отнимает силы, которые — увы — уже не те, что в дни молодости. Но это я так, к слову. Сколь позволяют силы, буду тянуть оба «воза» — и журналистский, и литературный. А ты молодец, что решился-таки на «вольные»... И без хлеба, конечно, не останешься, я в тебя очень верю. И желаю от души всяческих успехов в творчестве!

Сам я скоро иду в отпуск, буду в Пицунде, в нашем Доме творчества (с 23 сентября), надеюсь там завершить рукопись одного рассказа объемом листа на 1,5. Ну и, конечно, кости погреть на еще теплом — надеюсь — южном солнышке.

Всех благ тебе, дружище.

Всегда помнящий тебя  
Лев Кокорев.

1.09.84 г.

\* \* \*

Дорогой Иван Алексеевич!

Чувствую, уходит день за днем, стусеваются впечатления от давно прочитанных Ваших рассказов, а я все еще никак не дотянусь до листа бумаги, чтобы дать ответ. Прочел я все три Ваши работы в день получения бандероли, требовалось тогда время, чтобы поразмышлять над последним, самым большим рассказом, что-то подозрительное показалось мне в стиле изложения сюжета, что — я не догадался сначала, какие-то перемены. Пока размышлял, не упуская из головы, шли день за днем, крутила-вертела всякая домашность — обмен квартиры, — и рассказы лежали в папочке, ждали.

Все три вещи, на мой взгляд, печатать можно. Но рассказы эти — книжные, не газетные. В них чересчур серьезное наполнение, не для мгновенного восприятия. Журналы, газеты, в том числе и литературные, рассчитаны на сиюминутное восприятие, на разовое впечатление. В них ответ должен быть на поверхности: что есть что... Рассказы сложного, драматического содержания, а у Вас — сплошная драма, — наша пресса печатает только иностранного происхождения, подчеркивая тем самым неразрешимость проблемы существования в зарубежном мире. В «Посетительнице» — драма нерешенности деревенских проблем. Здесь все на месте, узнаю «рыжовский» почерк, у Вас свой стиль, это несомненная примета дарования. Править здесь нечего, разве отдельные допуски со словесами, произносимыми старухой, вроде «до конца дней молиться за тебя буду».

Сейчас старухи — ровесницы Любы Шевцовой и Зои Космодемьянской, налет деревенщины на их языке есть, но он особый, без боженки и молитв. Но это мелочи. Хорошо, что Вы не забываете об индивидуализации речи героев, при всей нашей грамотности, каждый выражает свои мысли по-своему, и мы даже за дверью узнаем по отдельным речениям человека, кто там гомонит на подступах к двери...

По второму рассказу у меня просто нечего сказать, все здесь зримо, ясно, наполнение, люди — живые, в них веришь. Может, и длинновато для такого сюжета, может, есть и ненужные подробности, но в частности, о которых говорят, что они — кусовые.

Третий рассказ по нарастающей — серьезнее, четче в слове. Но здесь чувствуется иной стиль, как бы не рыжовский. И тема скорее интеллектуальная, что ли... Здесь, если Рыжов, то как бы перешедший в иной «класс» настройки, более высокий тональностью, изяществом фразы поражающий. Этот рассказ я готов предложить «Октябрю», они все чаще обращаются ко мне. Правда, это не гарантия, везде завалы рукописей, многократные чтения, московский <нрзб> в отборе для публикации.

Вот такой сумбурный ответ, а в целом я согласен с Вами, что расписались, проза идет. Нужно писать больше и — ежедневно. В конце концов опубликуется все, было бы на-

писано. Сергованцев издевался над одной моей книгой, выпустил вымученную. После того случая я с ним не общаюсь, в издательство его не хожу, хотя иногда они просят почитать, улыбаются при встрече. Извините за краткость.

Ваш Николай Родичев.

7. 11. 86 г.

\* \* \*

Дорогой Ваня!

Во-первых, поздравляю тебя с секретарской должностью, которая не всегда благодарна однако... Во-вторых, спасибо за приглашение на Праздник. Но, к сожалению, до 25-го буду в Москве по госпремиям, а по приезде 26-го домой сразу же начнем Воробьевские чтения (26 — 27-го). Так что, сам видишь, не получается.

Обнимаю, твой Е. Носов.

1987 г.

\* \* \*

Дорогой Иван Алексеевич!

То, о чем Вы заботитесь в желании повысить культуру выступлений писателей в читательском кругу, священно, слов нет, истинно, однако едва ли осуществимо при нынешнем состоянии писательской организации. Если говорить поверхностно, то каждое выступление должно предваряться самим писателем, лучше, если его сопровождает критик, — краткой лекцией, связующей работу данного писателя с предшественниками и с собратьями по перу, живущими рядом. Но этого не делается из-за... отсутствия текста лекции, обязательного для каждого выступления. Ко всему этому, всякие симпатии-антипатии, кому кто по душе, а кому не по душе.

Короче говоря, хорошо уже то, что люди общаются, имеют такую возможность, с читателями, остается лишь удерживать интерес к книге на приличном уровне. И это немаловажно. В наших силах бороться лишь за интересные выступления, чтобы встреча с современным писателем не отвратила от литературы вообще. В Брянске, например, после долгих споров на этот счет приняли в норму

328 поведения при выступлениях вспоминать творцов литературы от древности до наших дней. Там молодая область, там идет закладка основ культуры, людей приучают мыслить, что культура народная и письменная создавалась в тех местах веками, но она была забыта, некому было собирать эти ценности, держать в памяти.

Орел — город музеев, можно сказать, университетский город по наличию давних очагов культуры и корифеев. В Орле два профессиональных литературоведа-критика, с десяток преподавателей вуза, чья обязанность связывать приобретения прошлого в смысле культуры и литературы с нынешними книгами. И если на кафедрах литературы, в музеях, в театре, в доме политпросвещения, в средних школах не ведется работа изо дня в день по собиранию ценностей культуры, по систематизации ее, по пропаганде — это лишь подтверждает невысокий уровень интеллектуального развития на данной стадии вообще.

Мне кажется, что на кафедре языка и литературы в пединституте должны действовать постоянно кружки, проходить коллоквиумы, читаться лекции о связи поколений писателей, от древних до современных. Должны создаваться монографии, курсовые работы, защищаться диссертации на тему отображения жизни орловского люда в произведениях классиков и работах писателей последующего периода. Литературные образы Горбова, Сапронова, Рослякова, собирательская деятельность Аронина — чем не материал для кандидатской или реферата, или научной конференции? И если этого не ведется, значит, узок, скуден мир людей, которые просвещают нынешних студентов лишь на программной классике. Немыслим, с моей точки зрения, учитель, подготовленный для несения культуры в орловские села, если он сам не знает хороших книг и хороших писателей, написанных на тему Орловщины и ее людей.

О каких высотах культуры вести речь, если, отстроив Тургеневскую усадьбу во Мценске, «забыли» о том, чтобы при музее создать комнату-гостиницу для паломников творчества великого русского классика? Я говорю не о читателях-почитателях, а об условиях для энтузиастов ученого мира, прикипевших сердцем к тому же Тургеневу



или Лескову. Много раз слышал: «Хотелось бы провести отпуск в Спасском, поработать над рукописями, подышать воздухом, которым дышал Тургенев, вжиться в околичную атмосферу, но где приткнуться?»

А разве мало писателей, которые захотели бы поработать в Спасском под сенью тургеневского дуба?

О какой культуре может идти речь, когда я привез в Мураевку группу работников Центрального телевидения, чтобы москвичи на весь Союз прославили двух энтузиастов культуры школьной и земледелия, а этих людей два дня полных не покормили, мне пришлось готовить им обеды и завтраки, умолять, чтобы не уехали? Я, правда, сам сбежал на третий день от стыда за земляков. Сбежал и разорвал всякие отношения с оператором и его группой, хотя до этой поездки дружил с ним, сделали три документальных фильма. Вот тебе проверка истинной культуры, прочности ее в глубинке и понимания полезности контактов с самой матушкой Москвой!

В прошлом году Брянский обком КПСС в знак признательности за то, что я помог выпустить в Москве книгу к 1000-летию города, организовал и провел Всесоюзную читательскую конференцию по моим книгам. Пригласили из многих городов живых героев романов и повестей, прототипов, редакторов книг. Собралось 1100 читателей. Присутствовали все руководители обкома, горкома, облисполкома. То была уникальная встреча с героями книг. Какие откровения, какой разговор о дружбе героя книги с автором, о пользе чтения, и т.д. Обком послал приглашение и в Орел, на родину писателя. Собрались люди из Москвы (Герой Труда Клоев приехал), из Иваново, Палеха, Киева, Волгограда, Краснодара. Не было интереса к этому делу лишь у орловцев. А Орловщина с ее уникальными людьми-тружениками и воинами проходит у меня по десятку книг, не меньше. У меня нет обиды на родной край. Было бы неприлично обижаться за то, что не читают твоих книг на Родине, что не дорог и не интересен кому-то. Не о том речь. Да разве такая конференция обязательно должна проводиться по творчеству Родичева или Рыжова? Я говорю об обычаях, об активном или пассивном мышлении, об умении видеть друг друга, об общих наших, совместных, обязанностях искать новые формы, чтобы нести

330 культуру в души наших кормильцев, тружеников полей и цехов. Край непочатый в этой работе, именно — непочатый! А с чего начинать, и сам не ведаю. Наверное, каждый из нас должен что-то предложить, осмыслить, взять на себя организацию этого начинания, доказать полезность своей идеи. Писатель — это тоже своеобразный институт культуры, и если функционирующий институт не действует, прокручивает свою работу на месте, живет лишь для прокормления, то должны заботиться о создании культурной среды мы сами...

Ник. Родичев.

18.11. 86.

\* \* \*

Добрый день, Ваня!

На днях с радостью взял в руки твою новую книгу — ответный дар, как я разумею. Разумеется, тотчас начал впитывать в себя орловское — такое близкое, родное моему курскому. А здесь, в тьму-таракани марийской — и вовсе уж почудилось, что не только орловские, но и мои исконно курские места ты описываешь. Словом, проникся духом малой нашей родины — и спасибо тебе, что взбудоражил мысли и чувства!

А ты, Ваня, основательно перепаживаешь уже обработанное даже поле! И правильно делаешь. Я как прочел (вернее, перечел) «Лебедушек», и сказал себе: вот так надо изменять вещи (даже и в первом варианте неплохие) к лучшему. Славные вышли «Лебедушки», ей-богу, но, конечно же, самым славным получился несомненный чародей стиля Иван Лексеич. Очень умело ввел ты и бунинскую свадьбу, и Федора Шаляпина. А главное, Бунин стал более объемным, чем был в книге «Под одной крышей». И все остальное я прочитал на волне бунинской. Не буду, конечно, выставлять никаких «оценок» каждой твоей вещи, скажу лишь, что все они — каждый по-своему — очень пахнут Орловщиной. Лучшие, на мой взгляд, «На покосе», «Расплата», «Запах земли», «У Аверьяныча». Ну и, само собой, — «Лебедушки», но я выделяю их в особый разряд — высший!

Говоришь, болезни одолевают, мало времени на писанину остается? Что делать, друг? Время наше такое, не-

легко догонять молодых. А надо нести этот добровольный крест! Я думаю, соберешься с силами — и еще не раз порадуешь и читателей, и почитателей твоих, вроде меня, новыми своими вещами.

Всяческих удач тебе, Ваня!

С приветом, Лева Кокорев.

<без даты>

\* \* \*

Дорогой Иван Алексеевич!

Преогромное вам спасибо и за фотографию, тем <более> что вы вместе с моим любимым Женей, и за книги, этого у меня не было, теперь же есть. Что касается Юрия Казакова, то две книги его у меня есть, с его творчеством я очень хорошо знаком, мне иногда кажется, что, сам того не ведая, попадаю под его влияние, или пишу, как Казаков. То, что он большой мастер, я никогда не сомневался, зная его первые публикации, так же как публикации Яшина, Жени Носова, у меня же есть одна тоненькая книжица Жени с его автографом, и это прелесть для меня неизбывная.

У нас только второй день стало тепло, а то все был куралай — такая погода по-казахски: дождь, снег, ветер страшный, тучи волочатся по земле, сырость, грязища непролазная... А такой куралай, оказывается, нужен природе живой, именно в эту пору овцы, дикие звери приносят ягнят-детенышей, сайгаки там разные, скот на пастбище, когда та же овца прячется от посторонних глаз, и вот такая погода мешает волкам, лисам и другим стервятникам обнаруживать новорожденных, запах новорожденных как бы тут же впитывается в землю. Если такого куралая не будет, то животный мир сильно страдает, редеет.

И я рад хорошей погоде, а то страдал какими-то болями, мучился чем-то, не зная сам чем, а тут еще надумал золотые зубы вставлять, а золото подорожало, вот всегда так, надумаешь что-то сделать доброе для себя... Впрочем, чего это я хнычу!

Главное, мне сейчас пишется лучше, легче, без мучительства. Пришел заказ из крупного болгарского журнала, надо им статью написать о том, как мы вместе с болгарами стро-

332 или Казахстанскую Магнитку. В июне мою рукопись должны сдать в производство в одном издательстве, надеюсь на московское издательство, где рукопись также одобрена и прошла рецензирование.

Увидишь Женю Носова обними его за меня. Я ему послал свою книжечку, жду от него весточки, пусть он порадует меня, старого рязанского мужика. Его книжку «У святские шлемоносцы» издательства «Сов. писатель» я получил из книжной лавки Москвы, так что читаю с удовольствием. Честно скажу, наша литературная критика, наше литературоведение совсем еще не касалось той части литературного процесса, который принесли с собой Носов Женя, Белов, Шукшин, то есть, близкая нам плеяда литераторов, да и мы сами, ты посмотри внимательно, выростали из-под руки этих великанов русского слова. Вот я сделаю свою юбилейную книжку и сяду за литературоведение, я ведь еще в Литинституте имел зуб на эту штуку, если помнишь, поссорился с Барабашем из-за этого, некоторые работы у меня сохранились, читаю и сам дивлюсь: черт побери, как здорово мы тогда писали! Ну, ладно! Ты мне напиши, когда у тебя день рождения, я хоть тебя по-дружески поздравлю.

Кланяюсь твоим домочадцам, желаю вам всем доброго здоровья, хорошего настроения, как у меня сегодня, приветы нашим однокашникам, чего они мне свои книжки не пришлют?

А фотографии свои надо иметь, портретные фото надо иметь, так что это не гоже...

У нас родился третий внук: теперь у нас два внука и внучка.

Да, чуть не забыл спросить: я посылал тебе свою книжечку «Еду к брату» или нет? Вот чертова память! Еще раз обнимаю тебя, всего тебе наилучшего. Извини, что пишу на машинке.

От вас письмо идет ко мне десять дней, значит, мое ты получишь после Дня Победы. Но все равно поздравляю тебя с этим праздником, с нашей Победой, без которой не было бы ничего теперь у нас.

Твой Дмитрий Оськин.

4 мая 87 года.

Темиртау.

\* \* \*

Дорогой Иван Алексеевич!

Спасибо тебе за письмо. Конечно, какие разговоры, обязательно приглашу тебя к себе в гости на Рязанщину, вместе побродим по лесам и делянкам мещерским.

Как только будет ягода в разгаре — а мне об этом сообщат из деревни — так я сразу и помчусь в деревню, и дам тебе знать, и расскажу, как ехать, и где тебя встречу. Ориентируйся на середину июля, пробуду в деревне месяца полтора или даже два, хочу сам нарвать клюквы, сам наварить варенья малиновое, черничное, засушить для себя грибов белых, а то тут только грузди, да и ехать за ними надо не менее двухсот километров.

Рассказ присылай, какой хочешь, обязательно переведут. Если есть лишний экз. твоей книжки, где, как ты сам считаешь, есть лучшие твои вещи, то пришли мне, сам укажи, какие вещи перевести, а уж остальное моя забота. Для меня казахи сделают все возможное и невозможное.

Я пью уже так редко, что забываю вкус вина, у меня язва, мучает она меня, если чуть выпью, так потом мучаюсь неделю, так что воздерживаюсь всеми силами, да и возраст уже вон какой, в 90-м году буду отмечать 60-летие.

За портрет спасибо особое, вот тут ты тот, литинститутковский.

Два дня назад подписал договор на книжку, может быть, выйдет в этом году или в первом квартале будущего. Так что одна радость есть. Один рассказ взяли в «Простор», один из трех, послал еще три для кучки. Пришли свои новые рассказы, не печатавшиеся нигде, и я предложу нашему журналу «Простор», где часто печатаются вещи авторов других республик и областей. В этом отношении «Простор» очень демократичный журнал, ребята там трудятся отменные, талантливые, как черти.

Увидишь Евгения Ивановича — обними его за меня крепко, люблю я этого человека — человечиче!

Надеюсь, что и Лободин, и Дронников напишут все-таки мне, ну, а если нет, так это значит так и надо.

334

А вот от Евгения Ивановича я жду весточку, очень жду. Обнимаю тебя крепко, целую, кланяюсь твоим домочадцам!

Творческих радостей тебе, Иван Алексеевич!

Твой Дмитрий.

3 июня 87 года.

Темиртау.

\* \* \*

Дорогой Иван Алексеевич!

Огромное тебе, брат, спасибо и за письмо и за книжку, которую прочитал сразу, так как лежал в больнице. Очень, очень мне нравится твое письмо, как ты пишешь о деревне. Мы с тобой где-то рядом ходим, рядом ищем. У меня тоже много заготовлено о деревне именно в таком духе, как и у тебя... Пожалуйста, извини меня за то, что письмо это будет сумбурное, потому что очень взволнован твоим письмом и надеждой на то, что отныне и вовеки мы не прекратим нашу дружескую переписку. Не знаю, как объяснить, чем объяснить, но еще с институтской скамьи я очень полюбил тебя, мне по душе твой нрав, твой характер, твоя искренность, душевность... Меня огорчает то, что твои рукописи лежат без движения. В «Современнике» трудится моя старая подружка Суворова Нина Васильевна. Разреши мне написать ей, замолвить за тебя словечко. Только ты напиши мне, что за рукопись, как долго лежит, кто был рецензент, а если не было рецензента, то я попрошу на рецензию. А еще в каком издательстве лежит твоя рукопись?

К сожалению, мои рукописи не лежат, пишу я очень медленно, мало и не совсем удачно, потому что самому не все нравится, написано дома много, лежит, но еще надо много трудиться... Из той книжки, что я послал тебе, тебя может заинтересовать повесть «Родная сторона» — это о моей родной деревне... Пожалуйста, извини, что пишу на машинке, так как почерк отвратителен и боюсь остаться непрочитанным... Очень завидую тебе, что ты решил уйти на вольные хлеба. Впрочем, так и надо. А я вот никак не могу осмелиться, а надо, ой как надо, потому что надо сдавать

свою юбилейную книжку аж 30 авторских листов на 1989-90 год. Мне ведь в 1990 году стукнет 60 лет... Я как-то ухотдил на вольные хлеба, полгода посидел, родилась книжка «Еду к брату», но потом заставили пойти работать в газету, вот я надорвал здоровье, сейчас сижу на строгой диете, так как была язва и она есть еще, побаливает, черт бы ее побрал... А как там мой любимый Евгений Иванович? Где он сейчас поживает? В нашем справочнике правильно указан его адрес? Я как-то писал ему и не получил ответа. Как хороша его проза, как сочна, аж хрустит на губах. Увидишь его или будешь говорить с ним по телефону, передай ему от меня поклон и скажи ему, что я люблю его душевно... Да, Иван Алексеевич, а почему ты не пользуешься услугами Литфонда? Ведь можно взять бесплатную путевку в Дом творчества, в санаторий, командировку, командировки Литфонд оплачивает хорошо. А потом можно попросить и денежную помощь, а почему не используешь Бюро пропаганды Союза писателей? Ведь путевки нам оплачивают за лекции по червонцу. Это куда лучше газетных статей. По мере сил и возможностей я все это использую. А потом есть еще книголюбы, у них тоже путевки по червонцу. Это лекции, встречи с читателями и прочие мероприятия. Так что в сущности прожить можно... Увидишь Игоря Лободина передай ему от меня приветы и добрые пожелания... Пожалуйста, извини меня за то, что не успел согреться и сразу просьбы. Если там у вас в магазинах — чем черт не шутит! — залежались книги о Тургеневе, его письма, мемуары о нем, то купил бы для меня, а? Я многим буду тебе обязан. Вполне возможно, что попадетя тебе переписка Пушкина, письма Пушкина, то тоже возьми для меня, а я за все тебя сразу и отблагодарю.

Поклон мой твоей славной супруге, напиши, как ее величать. Мою — Евгения Манташевна, она у меня армянка, хорошая жена... От души желаю тебе, дорогой Иван Алексеевич, бодрости, радостей, успехов!

Обнимаю тебя крепко.

Дм. Оськин.

1987 год.

\* \* \*

Дорогой Ваня!

От души поздравляю тебя с Новым годом. Надеюсь, что ты, освободившись от служебных пут, напишешь много замечательных рассказов и повестей. Удач тебе в этом и во всех добрых делах.

Привет семье и наилучшие пожелания.

Обнимаю.

Николай Старшинов.

1988 г.

\* \* \*

Иван Алексеевич, день добрый!

Давно гадал написать, но то дела, то хандра, то лень — мешали. Надеялся повидаться в конце сентября, а вас не было в Спасском. Не любите вы своих хранителей культуры. Верно, знаешь, с кем обмолвился словом. Василий Катаныч, как мне показалось, не очень расположился ко мне, а Леонид (отчество запамятовал, сдается, что Юрьевич) не опознал меня и был в официозе, но потом повинился и пригласил повстречаться с земляками, грозясь оплатой за проезд.

Я обещал быть в Орле в понедельник, но попал в воскресенье, обошел музеи, а Дом приюта ваш был под замком. Звонить кому-нибудь не было времени. На вечер, воскресенье же, сестра купила билет на Питер.

Замышляю приехать в январе на Тургеневские чтения, буду выгадывать время и на встречу с вами. Надеюсь, примете. А?

А живу теперь в деревне. К себе не приглашаю. В одном високосном звал тебя в БССР, ан вон как вышло. Проводим этот год Касьяна, тогда уж и распахну руки для объятий. Здесь я и прописан. Дали бы квартиру в Орле — переехал бы к вам, но не те теперь времена и порядки. Деревня не отводит время для писания. Топка печей, птица: 13 кур, три гуся, огород, сад, рыбалка, приработки к пенсии физическим трудом — вот черные дыры, куда улетучиваются драгоценные часы, дни, недели... А замыслов много, и есть написанное, что надо отбелять.



За мой счет изданы книжечки: «Музыка Дьявола» — из двух рассказов, «Обет молчания» — повесть, «Лесной поп» — повесть и рассказы. Последнюю, если заглянешь в музей писателей-орловцев, можешь купить, в книжном есть и у сестры оставлено на продажу за сотню штук. Не востерпится — запроси через Ивана Александрова или загляни к сестре. Мценск, Гагарина, 746, кв. 48. Фомина Полина Д. и ее муж Николай Григорьевич.

За издание последней запрошено с меня 39 тыс., а где взять — не распродана. Неуплата задерживает выход новой. Где бы-то занять на месяца три-четыре тысяч 30?

Здоровье, можно сказать, терпимо, но бывает и недомогание. Старость как-то вдруг сказалась.

Как поживается вам теперь? Кто при каких делах?

Привет всем. Поклон Орлу.

Черкни.

Твой А. Леонов.

7.11.92 г.

\* \* \*

Дорогой Иван Алексеевич!

Замечательный Ваня!

Совсем ты забыл о давнем и верном друге своем — обо мне.

Тоже давние мои друзья по Орлу и Клара Латыновна, некогда Мухамедьярова (теперь Фефелова), переселившаяся в Воронеж, и И. С. Семенова нет-нет да черканут мне. Видимо, женщины постоянной.

Да и Витя Дронников тоже отмалчивается.

Как ты там поживаешь?

У нас в Москве худо. Поэтам — никакого житья. Вот Коля Дмитриев и Вадим Кузнецов торгуют в подземных переходах газетами. И прозаики некоторые там подрабатывают. Хорошо еще я пенсию получаю, а то бы совсем — хана. Эмма у меня не работает, а Рута — тоже. Воспитывают Антошку, внука моего, пошедшего в школу...

А еще я купил в Тверской губернии (350 км от Москвы, за Вышним Волочком) избу. У меня 22 сотки, двор, изба, сарай, баня, сад. 20 метров пройду по огороду — баня.

338 А за баней шумит камыш, деревья гнутся, плавают дикие утки, играет рыба — там озеро. Так что рыбу я ловлю прямо от бани. Ну иногда и на лодке выезжаю. Жаль только, что мои почти совсем не едят рыбу. И я кормлю трех соседок-бабок. Каждой из них раза два в неделю выделяю по 2-3 кг свежепойманных окуней, плотвы и щучек. А бабки, не желая оставаться в долгу, нет-нет да пирогами меня угостят или литр козьего молока насильно всучат. Это называется теперь — бартер!..

Ну ладно, хватит шуток.

В Туле мой давний друг-рыболов пробил журнал «Поле Куликово» в издательстве «Лев Толстой». И ввел меня членом редколлегии по поэзии. Я уже сделал ему 3 номера (по стихам). Но он замыслил журнал межобластной, хочет привлечь лучших авторов из иных областей. С поэзией-то я справляюсь, а с прозой хуже. Вот я и помогаю ему. Организовал прозу Н. Евдокимова, И. А. Васильева и других.

Обращаюсь к тебе: может, у тебя есть новые рассказы или небольшая повесть на лист-полтора? Тогда пришли мне, а я уж передам ему.

Журнал пока будет выходить 6 раз в год по 8 печатных листов. Тираж — 10000 экз. На всякий случай шлю тебе его рекламу.

Привет твоим домочадцам, а также И. Семеновой, В. Дронникову, Л. Моисееву, если он не очень зазнался.

А ты все-таки не поленись, черкани мне два-три слова о своем житье-бытье.

Обнимаю.

Николай Старшинов.

*У меня в марте месяце будет уже два года как открыта рана. Ежедневно приходится перевязываться, но, кажется, она заживать начинает...*

(Начало 90-х гг.)

\* \* \*

Дорогой Иван Алексеевич!

Уже второй месяц сижу в деревне, под Касимовом, после возвращения из Якутии, где проводился так называемый «выездной пленум по национальным литературам» и куда рус-

ским писателям было бы лучше не ездить... Пытаюсь, конечно, писать, но в бесконечной суетности по дому и участку удается плохо. Однако очередной рассказ из цикла «Времена погубительные» все-таки закончил. Только кому его предлагать? В огромной Москве сейчас меньше шансов напечататься, чем в любом областном городе, особенно нам, оставшимся верными заповедям отечественного реализма.

Ну да ладно, все равно повернется реформаторское колесо к нашим, истинным, ценностям. Печалит другое — эпидемия нового конформизма, а точнее, неумная тяга к личному преуспеванию, которая охватила тех, кто обязан и призван сберечь и сохранить писательские кадры и саму литературу. Одна из главных целей якутской поездки, между прочим, заключалась в том, чтобы найти средства для издания «Литературной России». Но золото-алмазным якутам наши заботы безразличны. Они устроили писательское шоу прежде всего для собственного политического престижа...

В общем, «Литературная Россия» закрылась, вроде бы на месяц, но на душе тревожно: Эрнст Сафонов даже в более трудные времена, при самых трагических обстоятельствах ни разу не допустил приостановки единственного патриотического еженедельника писателей России. Вот и от этого, сам понимаешь, печаль и тревога.

Хочу тебя, Иван Алексеевич, дорогой мой собрат по русской прозе, искренне расхвалить за те две книги, которые ты мне подарил при встрече, — за «Аринкин хутор» и «Зеркало». Прочел их с величайшим вниманием и с не меньшим удовольствием. Знаешь, почему так твердо заявляю об этом и, поверь, без всякой лести? Потому что обе они безукоризненны! С точки зрения художественной изобразительности, выпуклости образов, авторской тональности (сопереживания, размышления, — авторского дыхания!); сюжетных скрепов; правильности, сочности языка...

Невольно подумалось о плодотворности бунинской традиции. И в начале века, в его времена, литературу лихорадили всякие «измы», а он оставался верен реализму. И не только верен, но и сотворил свои вершины. И ведь что еще поразительно: как многомиллионен современ-

340    менный бунинский читатель! Причем, по собственному влечению! Пожалуй, ныне в Отечестве Бунин самый читаемый классик.

Так вот, подчеркну плодотворность бунинской традиции. Те из современных писателей (и в этом я абсолютно убежден), кто следует традиции бунинского рассказа, добиваются собственной вершинности. Конечно, следуя традиции не механически, а постигнув дух и гармонию бунинской прозы. В 50-60-е годы это, на мой взгляд, лучше всех удалось Юрию Казакову, а ныне тебе, Иван Рыжов. А потому самым сердечным образом тебя поздравляю!

Чтобы быть доказательным, объясню конкретно. Из книги «Аринкин хутор» некоторые рассказы я читал и раньше и, тем более, мне было приятно вновь их перечитывать и, знаешь ли, с тихой радостью. Во-первых, потому, что когда-то выделил их сразу в бурном и достаточно мутном потоке советской литературы, а во-вторых, и это главное, они нестареющие. То есть не подверглись коррозии времени, а, значит, вечные! И еще в-третьих, когда они, рассказы, собираются в книгу, то чаще всего, ну что ли, получается ломаная линия, а этот твой сборник поражает именно цельностью. Я бы сказал так: это художническая гряда, где все произведения, включая и повесть, на высоте классического образца.

Для меня такие рассказы, как «Блажной», «Новый дом», «Аринкин хутор», «Звезда любви», «Расплата», «Лебедушки», являются (без всякого преувеличения) шедеврами, или по-другому — классическими образцами. А «Расплата», между прочим, неповторимый рассказ — по мрачно-грозовому колориту и суровости сюжетной пружины, когда онемел, побелел палец на взведенном курке... Но божественный дар жизни, оказывается, выше нас... Молодец, Иван Алексеевич, мо-ло-дец!

О сборнике «Зеркало», вернее, о своем восхищении этими краткими рассказами, передающими атмосферу нынешнего смутного времени, я тебе говорил в Орле. И все же повторюсь: ты, Иван Алексеевич, по-моему, единственный, кто встал ровень со своим старшим тезкой. А жанр этот, дол-

жен заметить, исключительно коварный: маленький сбой, в одном даже слове, и все разрушается. Так вот, тебе это удалось и подчеркиваю: пока единственному! Я об этом говорил и Леониду Моисееву, еще когда они печатались в «Вешних водах», и Вите Дронникову, и многим другим.

Кстати, опять же невольно возникает сопоставление с солоухинскими «Камешками на ладони», с бондаревскими «Мгновениями», с теми же «Затесями» В. П. Астафьева. И, знаешь, никак не принижая эту сторону их творчества, наоборот, выражая полное почтение, хочу оттенить другое: в твоём «Зеркале», точнее, в каждом из зеркальцев, прежде всего художественность, изобразительность, а не вспомиательность, или там дневник, или ночной кошмар, а еще хуже личная оправдательность, каковой много, например, у В. А. Солоухина. Этим-то и выгодно отличаются твои «зеркальца».

В общем, Иван Алексеевич, ты теперь не сомневаешься, что я действительно внимательнейшим образом прочел твои две, недавно изданные, книги, которые считаю выдающимися. А потому хочу не только лично об этом тебе сказать, но и выступить на секретариате СП РФ с предложением выдвинуть тебя на Государственную премию России.

Новых тебе взлетов, Иван Рыжов!

Видишь, кстати, как все получается: в Орле разговаривали об одном, а выходит другое. Что ж, воистину пути Господни неисповедимы,

Должен сообщить, что Московская писательская организация в июле официально выдвинула меня на соискание Бунинской премии: за цикл рассказов «Времена погубительные», опубликованный в «Бежином луге» (№ 3, 1994 г.) и за два рассказа в «Литературной России» — «Вороненок» и «Звонар», которые тоже вскоре появятся в «Бежином луге» (№ 4, 1995 г.). Но эта всероссийская премия, мгновенно ставшая престижной, все-таки родилась в Орле, и от позиции орловчан, безусловно, многое зависит.

Ну и в заключение: 125-летие со дня рождения великого Бунина, не сомневаюсь, мы отметим достойно. Недавно узнал, что московский кинорежиссер Богачев снял художественный фильм «Темные аллеи», который в начале

342 сентября по линии ЮНЕСКО будет показан в Париже, думаю, было бы неплохо устроить просмотр этого фильма в Орле в дни 125-летия. И еще: Валерий Ганичев к бунинскому юбилею относится заинтересованно. Кроме того, в Якутии многие прозаики с тоской мечтали побывать в эти дни в Орле. Если бы можно было пригласить персонально человек 10-15-20 хотя бы из Европейской России, было бы прекрасно, но у Союза писателей вряд ли найдутся деньги... Вот пока и все.

Приветы друзьям и знакомым.

Обнимаю тебя.

Твой Валерий Рогов.

7/8 - 95 г.

\* \* \*

Дорогой Иван Алексеевич!

Взял и вновь перечитал твое «Зеркало», и опять восхитился! Когда все коллеги замолчали, он делал, казалось бы, пустяшное дело — писал миниатюры — и попал в цель! Ваня, я повторяюсь, — восхищен! Не знаю, подсказал ли тебе это нобелевский тезка, но получилось — непреходяще, навсегда! Поэтому снова тебя поздравляю.

Между прочим, ты зря отказался от участия в Приемной комиссии. Эти редкие встречи — всего шесть, семь в году дают высокий, если хочешь, орлиный взгляд на литературу. Я и сейчас тебе пишу после последней перед зимними каникулами (до осени!) Приемной комиссии, где мы все со всех концов (по-старому!) необъятной Родины встречаемся. На этот день, кстати, многие заскакивают — был и Г. Попов, который должен передать тебе мой привет, как и любимому мной Поэту.

Иван Алексеевич, конечно, я напишу свои пять страничек к 130-летию со дня рождения И. А. Бунина, потому что после возвращения на Родину И. С. Шмелева, где при захоронении останков речь произнес сам Патриарх, — я хочу сказать о том же самом! Да, о том, что наш Иван, т. е. Бунин, специально просил похоронить себя в цинковом гробу, и, как мне видится, в тайной надежде хоть после смерти вернуться в Россию.

Я был в свое время в Сент-Женевьев-де-Буа и столкнулся с тем, что меня там радостно потрясло. Но не только меня, но и мою жену Таню. А это, думаю, убедительное подтверждение того, что есть истина.

Геннадий Попов мне говорил, что ныне возникли сложности касательно Совета Федерации, но, по-моему, все это текущая земная политика, а мы призваны думать о вечном. Конечно, не о своем, но обязательно о наших кумирах.

Надеюсь, я достаточно ясно выразился, а, значит, как мне представляется, мы должны прийти к твердому убеждению: Иван Алексеевич Бунин мечтал и молил успокоиться в родной орловской земле. Думаю, высшие силы нам в этом помогут.

Иван Алексеевич, не торопи меня с текстом, хотя я постараюсь сделать свои пять страничек в срок, но если сразу не будет получаться, – придержи место для меня.

Мало сейчас осталось работающих писателей, но те, которые остались, не изменяют себе. Не сомневаюсь, что мы с тобой к ним принадлежим.

Твой Вал. Рогов.

15/6-2000

\* \* \*

Дорогой Иван Алексеевич!

Памятны все наши встречи, но последняя – в задумчивую, затаенно-солнечную, октябрьскую теплынь – мне особенно запала в душу: той неизреченной близостью, которая редко возникает даже среди родственных людей. Продолжаю восхищаться твоей писательской отвагой – продолжить бунинскую линию в романной краткости, в чем ты истинно преуспел, как никто другой, – и, пожалуй, единственный! Я убежден, что вновь пришел срок возвеличить тебя на всероссийском уровне, возможно, и второй Бунинской премией, – во имя справедливости и в доказательство неисчерпаемости русской реалистической традиции.

Нет, не случайно Орел все убежденнее именуют литературной столицей России. Не говоря уж о XIX веке, но и

**344** в XX Орел необоримо возносит себя к вершинам российской словесности.

Желаю в новом году творческого горения, побольше удач и радостей и, конечно, здоровья!

Новогодний привет всем друзьям. Не забудь и подруг. Кстати, заметный роман — «Легион черной змеи» — написала Валентина Амиргулова, хотя, изданный в авторской редакции, он страдает огрехами; стихи Ирины Семеновой, как всегда, безукоризненны и прямо-таки ощутимы энергетически: я передал их Марине Ганичевой в «Роман-журнал XXI век».

Итак, дорогой друг Иван Алексеевич, до встречи уже в третьем тысячелетии.

Твой Вал. Рогов.

24 декабря 2000 года.



## II

Дорогой Иван Алексеевич!

В конце 1973 года Литературному институту им. А.М. Горького исполняется сорок лет. К этой дате мы собираемся выпустить небольшую книгу, посвященную юбилею. Просим и Вас принять в ней участие.

Не могли бы Вы, Иван Алексеевич, написать страничку-другую об институте, годы учебы в котором, должно быть, еще свежи в Вашей памяти? Не ограничиваем Вас какими-либо конкретными темами, нам интересны любые Ваши строки об институте или по поводу его. Хотелось бы также услышать, пусть даже совсем коротко, о том, что дал Вам, как литератору, наш институт.

Надеемся на Ваше доброе, положительное отношение к этой скромной просьбе.

С искренним уважением

Ректор института  
<В. Пименов>

Январь 1973 г.

\* \* \*

Дорогой Иван Алексеевич!

Поздравляю тебя с наступающим праздником! Желаю здоровья и новых творческих успехов!

Что-то давно не появляешься в Москве? И лично, и в печати? Хотел бы тебя опять прочитать и, если нужно, помочь в издательстве новинок «Современник».

Есть одна серьезная просьба к тебе. У вас в Орле печаталась и вышла моя книжечка о Е. И. Носове, вашем соседе. Правда, я вроде опять отстал, как и вся критика, от жизни: вроде бы он уже и женился в Москве и на «Моск-

346 ве», какой-то знаменитой сценаристке Ракше. Но это дело личное, к таланту его не имеет отношения.

Пока я не имею возможности даже подарить тебе эту книжку о средней полосе, о русском поле: в Москве ее просто нет, весь тираж пущен по областям. Не пришлешь ли, сколько добудешь, мне? Деньги я сейчас же вышлю. Ну хоть 30 — 50 шт.

Так у меня исчезла вся предшествующая (1969 г.) книжка «Вячеслав Шишков», тоже печатавшаяся в Орле. Бось, и этой не будет.

Еще раз — с праздником. Всего доброго.

В. Чалмаев.

<без даты>

\* \* \*

Иван, дорогой, здравствуй!

Будь я витием — ну, хотя бы Борисом Поповым, — изъяснялся бы стихами: настроение предновогоднее, адресат симпатичный. Увы, я даже не прозаик...

Давно собирался тебе написать (мои студенты говорят напи́сать), но памятуя о марках, которые обещал и которые до сих пор не имел, откладывал. Так и дооткладывался до предновогодья. Зато теперь имею возможность пожелать тебе:

- 1) беспрецедентного здоровья,
- 2) ста рублей и ста друзей,
- 3) прогрессирующего творческого обаяния и плодovitости,
- 4) градусоустойчивости, —

в общем: «кинь грусть» и «сто лет» тебе в радости и веселии!

Привет и поздравления Алле и Андрею. Вручи ему марки из серии «Женщина в живописи» — предлог для эстетического и полового воспитания.

Тебе не в качестве сюрприза сообщу: копаясь на библиотечных полках в многочисленной русской литературе, я наткнулся среди классиков на скромную книжку малоизвестного в Польше прозаика Ивана Рыжова «Кинь Грусть». В подлиннике. Здесь это

библиографическая редкость. В одном экземпляре. Оприходованном и занесенном в каталог. Я бы еще «сюрпризил», да пристаёт Сашка: требует пива. Весь в папу. Только вот в польском превзошел. Чаще говорит по-польски, чем по-русски.

Я тоже потихоньку ассимилируюсь. Внешне, конечно. Внутренне же совершенствуюсь классикой. Перечитываю забытое. Наслаждаюсь. Дома было не до этого. Правда, и здесь работы хватает — много лекций, много хлопот домашних.

Появляются легкие симптомы ностальгии. Отчаянно хочется подняться на 4-й этаж Дома печати и увидеть знакомую ситуацию. Или прочувствовать знакомые пейзажи...

Зимы здесь нет. Сегодня солнечно и тепло, как у нас в апреле. Хочется снега и морозца.

Хочется добротной русской речи. Здесь, правда, есть несколько русских, но встречаемся эпизодически.

Попытаюсь в начале февраля приехать на недельку в Орел. Хворает мать, да и побывать дома хочется.

Ты, Иван, выполни большую мою просьбу: напиши письмо мне о себе и общих наших знакомых. Оно будет мне тройне приятно: как интересная информация, как ценный автограф, как будущий материал для последнего тома собрания сочинений И. Рыжова («Письма и комментарии»). Комментарии будут мои. Гонорар общий.

Ну, привет всем друзьям, приятелям, знакомым и подругам!

Могуче (харч хороший) обнимаю.

Владислав <Пономарев>.

26/ХІІ-74 г.

\* \* \*

Дорогой Иван Алексеевич!

В этот Пушкинский год, в Его 175-летие, но уже сейчас, в канун этой великой даты, было бы делом огромной важности дать в Вашей газете, которую читает молодежь, то, что писал и говорил о Пушкине и пушкиноведении Бунин и что до сих пор было неизвестно. Годовщина смерти Пушкина — одно из самых скорбных событий во всей истории

348 России, что дала его... Какие это волнующие слова! И как это удивительно сказано! Я включил в статью никому у нас неизвестную речь Бунина о столетней годовщине Пушкина, произнесенную в 1937 году. Она вся воодушевлена заботой о сохранении памяти о русском гении у русских людей и у всех людей на земле. И Лифаря Бунин восхваляет за то, что он, живя за рубежом, «не забыл своей кровной связи с Россией и русским народом». В этом весь Бунин. Взаимоотношения его с Лифарем – еще одна, новая страница в биографии Бунина. Главное же, за эту статью ухватятся пушкинисты и все, кому дорог Пушкин, даже ради ее первых – изумительных строк.

Я не стал пояснять некоторые имена, не всем известные, не желая перегружать статью замечаниями в скобках или сносками.

На случай, если понадобится дать устное объяснение об этих именах, скажу, что о С. Ю. Прегель есть заметка в «Краткой лит. энциклопедии», ее воспоминания о Бунине напечатаны в «Лит. наследстве», том 84, Бунин. В этом же томе помещен хвалебный отзыв Бунина об Адамовиче (см. письма Бунина Каращиной). Б. К. Зайцев есть в «Лит. наслед.» и о нем напечатана заметка в «Краткой лит. энцикл.». В «Лит. наследстве» есть и о Сазоновой (см. указатель имен). Юлия Леонидовна Сазонова, литературовед, автор книги о древней русской литературе и критик, переписывалась с Буниным, и он относился к ней с большим доверием. Я не знаю, как проходят газетные статьи, но если упоминание имен мэра г. Грасса у кого-нибудь вызовет сомнение, то вычеркните, Бог с ним, можно просто сказать – мэр, безымянно. Хотя если интересно узнать имя человека, почтившего памятной доской русского писателя, – это тоже история литературы.

Пожалуйста, пришлите штук 10 вырезок из газет с этой статьей – в счет гонорара: я имею обыкновение дарить статьи друзьям.

С приветом. А. Бабореко.

*Р. С. Статья получилась длинновата: никак не мог этот раз ужать. Уж как-нибудь выйдите из положения. А. Б.*  
25. VI. 74.

\* \* \*

Милый Ваня!

С волнением читал твой рассказ в «Литературной России». Просто, лирично, достоверно рассказал ты о деревне, о жителях деревенских, о нашей тоске по родному сельскому дому. За душу хватает рассказец этот. Правдиво в нем все, сокровенно. Спасибо тебе за светлое волнение, которым ты наполнил сердце мое!

А я вспомнил, читая твой рассказ, наш последний разговор – просил ты прислать что-либо из последних творений своих. Несколько лет тому назад написал я малышовую повесть об отце «Письма без марок». К 30-летию нашей Победы она выходит в «Малыше» подарочным изданием. А недавно я переделал повесть для взрослого издательства и назвал ее «Завещание». Отправляю рукопись тебе. Взгляни. Возможно, подойдет для газеты.

Одно меня тревожит – не публиковал ли ты прежде мои «Письма без марок»? Газет с этим произведением из Орла мне не поступало. Но ведь могли просто забыть об авторе. Если же «Письма без марок» уже были у вас, то «Завещание» печатать нет смысла – вышли рукопись мне обратно. Договорились?

По-дружески обнимаю тебя и желаю уйму творческих радостей.

Твой Владимир Разумневич.

2 октября 1974 г.

\* \* \*

Ванюша, друг мой, что-то долго ничего не даешь знать о себе. Уж не забыл ли? Али неприятности какие? А может быть, попросту зазнался. От вас, народных писателей, всего ожидай.

А я завертелся в делах общественных. И все же о тебе, славный человек, постоянно вспоминаю. Только что вышла книга в красивой обложке – сразу же направляю ее тебе. И от тебя ожидаю что-то похожее.

Заодно (по старой традиции) направляю для твоего бывшего «Орловского комсомольца» новые расска-

350    зы о Чапае. 9 февраля ему стукнет 90 лет. Хорошо бы до этих пор с продолжениями начать публиковать мой опус, чтобы в юбилейный день завершить публикацию. Если там сохранились твои друзья – подскажи им. Если нет – верни рукопись обратно. Часть этих сказов думаю опубликовать в «Литерат. России». Пиши мне и газету присылай!

Обнимаю тебя сердечно. Вл. Разумневич.  
18-I-77 г.

\* \* \*

Дорогой Иван Алексеевич!

Шлю отдельно материалы для газеты и они же для брошюры: Леонид Юрьевич Моисеев, будучи в Москве, говорил по телефону, что я должен составить брошюру «Запрещенный Бунин». Так как мне в дальнейшем некогда будет этим заниматься, то я сделал составление сейчас, поверив на слово Л. Ю. Непременное условие – корректура, Бунина нельзя печатать с ошибками. Почта ходит медленно, надо будет прислать с нарочным, если потребуется, дорогу я оплачу; нарочный у нас поживет два дня, будем кормить, поить. Хорошо бы таким нарочным была Алла Михайловна, ей мы оба были бы чрезвычайно рады, как дорогому гостю.

Как всегда, дорогой Иван Алексеевич, низко, земно кланяюсь: прочтите внимательно корректуру моих газетных публикаций, а за чтение моей статьи – сердечное спасибо: она без ошибок.

Стих. «Сказка» печаталось в Собраниях сочинений без подзаголовка.

И еще просьба: обязательно должны быть угловые редакторские <> скобки. Там, где я их поставил, нельзя чтобы слова, в них заключенные (ежели окажется, что скобки будут круглые), счел за бунинский текст.

Спасибо за газеты (2 штуки) и за гонорар!

Поклон драгоценной Алле Михайловне от Анны Максимова и от меня.

С сердечным приветом А. Бабореко.

*Р. С. Для сборника надо взять ксерокопии статей «Инония» и «Китеж и Маяковский», но ни в коем случае*

*не набирать текст по газетной публикации. Эти ксерокопы у вас есть.*

351

18.XI.90

\* \* \*

Дорогой Иван Алексеевич!

Я долго ломал голову: побить Вас палкой или наградить, памятуя Ваши давние благие дела? И вот, несмотря на Ваше дурное поведение и ради очаровательной Аллы Михайловны, шлю Вам бесценный дар, книгу, какой еще никогда не было, и сотворил ее Я, и стоило мне многих нервов, громадного труда, — Иван Бунин, «Окаянные дни. — Воспоминания. Статьи», без купюр. Тираж 100.000. Неплохо было бы сказать о том, что она вышла, Музею Тургенева, чтобы заказали для себя. Сегодня книгу не пошлю, в осаде держит мороз — 27 градусов.

Отчего пренебрегаете нами, не едете в гости?

Моисеева видел в списке писательского начальства.

Книга меня радует. О, как она нужна людям! Будете смотреть — обратите внимание на комментарий на стр. 391: я там огрел по башкам литобозовцев, нагло обманувших меня. Я в давнее время переписал от руки в архиве Ленинской библиотеки целиком X том «Петрополиса» — «Ок. дни», — дал эту рукопись редакторше, она держала ее у себя в редакции, уверяла, что текст печатается по рукописи, а перепечатали по ксерокопии издания, в котором не учтены — и не могли быть учтены — поправки Бунина по изд. «Петрополис», 1935, Берлин; в последние годы жизни Иван Алексеевич правил свои книги и надписывал: «Для будущих изданий. Исправленный X том находится в Гос. б-ке им. Ленина. Текст «Литобоза» я сверил с этим томом, многое выправил, были там и купюры. А как нагло врала мне редакторша — вот бессовестное поколение нашей молодежи! И сколько я за свой век натерпелся от таких личностей, как они портили мои работы сокращениями, сколько моего здоровья погубили — чтоб им пусто было! Ну их к Аллаху! Лучше обратиться к чему-нибудь хорошему.

Я получил письмо от проф. С. П. Крыжицкого из США — ответ на мой присыл: «Вешние воды», с Буниным. Он пишет: «С удовольствием прочел от «а» до «я».

352 Ваша статья профессиональна и вместе с тем вполне доступна неискушенному читателю. Мне нравится подборка бунинских стихов. Я знаю их наизусть <...>. Рисунок к «Косцам», по-моему, не совсем удачен. Они напоминают американских здоровых верзил, ковбоев, а не наших косцов-мужичков».

Вот Вам «заокеанская» рецензия. Будьте здоровы. От Анны Максимовны и от меня привет Алле Михайловне и Вам.

С уважением

А. Бабореко

30. I. 1991, Москва.

\* \* \*

Милый, славный, талантливый мой друг и соратник Ваня!

Сердечно поздравляю тебя с бунинской наградой в два миллиона и с давно заслуженным лауреатством! Очень хотелось бы по старинке дружески обнять тебя крепко, крепко, разделить нашу общую радость за писательским столом. С днем Великого рев. праздника и лит. победой!

*Р. С. Хотел бы получить от лауреата «Аринкин хутор»! Пришли!*

Вл. Р<Разумневич>.

6-Х. 1994 г.

\* \* \*

Дорогой Иван Алексеевич!

Поздравляю Вас с Рождеством Христовым, с Новым и старым Новым годом! Мои и Анны Максимовны поздравления с праздником дорогой Алле Михайловне. Желаем благополучия и радостей.

Шлю Вам приложение к «Лит. газете»: «ЛГ ДОСЬЕ» (дурацкое название, как для газеты банно-прачечного комбината). Голубчики, по своему непрофессионализму, опростоволосились — не заглянув в Бунина, перепечатали из «Вешних вод» непубликовавшиеся при жизни рассказы, а под отрывками из «Дорог и звонов»\* потерялась моя фамилия\*\* (что меня вовсе не тревожит), стр. 6-я<...>



Меня порадовало сообщение, что «Грасский дневник» Кузнецовой уже два месяца является интеллектуальным бестселлером». — Как видите, газета обратила внимание и на статью «Доктор Зернов». Я, по их просьбе, дал «Вешние воды», и их из редакции увели, я остался без статьи — другие экземпляры раздарил. Не завалилась ли у Вас эта газета: вырежьте, будьте добры, «Доктора Зернова» и пришлите, хорошо бы два экз. Буду чрезвычайно благодарен. Поклон от Анны Максимовны.

Сердечно А. Бабореко.

\* Эти дороги я им не предлагал, а сами набрали на них.

\*\* Еле-еле разглядел на цветном фоне мелкие буквы своего имени. — А. Б.

*Р. С. Вспоминаю вас обоих с большой любовью и с благодарностью за труд по вычитке корректуры «Доктора Зернова». Его расхвалил профессор С. Л. Крыжицкий (США) в письме ко мне новогоднем. — А. Б.*

14. 1. 96.

\* \* \*

Дорогие друзья

Иван Алексеевич и Алла Михайловна!

С Новым годом!

С праздником Рождества Христова!

Желаю радостей.

Я все тружусь и все впустую — не печатают тома Бунина, давно, все застряло на 5-м томе. Издатели говорят: нет денег. А какие-то книги издают, иногда мало кому нужные, а то и никому не нужные. Ждут очереди уже целый год 6-й и 7-й тома. Полное равнодушие к тому, что издается впервые Бунин без купюр. А какие интересные предисловия! Сколько нужного до зареза в комментариях каждому, кто сколько-нибудь соприкасается с Буниным! И все давит, удушает денежный мешок. И некуда податься бедному Ивану (Алексеевичу).

А какая унылая литературная пресса — «Лит. газета», в которой узкий круг авторов, «Лит. Россия» — какая-то беспомощная, словно там собрались новички для «пробы пера» и не знают, что же им писать, за что возьмутся —

354 попадают впросак. То у них Алданов на фотографии оказывается Рождиным, то они отмечают юбилей Анны Буниной, не заглядывая в «Словарь», где я биографию ее очистил от грубейших ошибок, вроде той, что она была членом Российской Академии (это писал – с чужих слов – и Иван Бунин) или почтенные авторы, не заглядывая в ее книги, называли прозу стихами. «Лит. России» по душе обниматься и целоваться с Ильичом и хлопать дружески по плечу Иосифа Виссарионовича.

О. Н. Михайлов выпустил книгу о Куприне. Племянница Марии Карловны Лидия Иосифовна, сообщая об этой новинке по телефону, сказала: «Компиляция. Перелопатил книгу Марии Карловны».

У Вас, видимо, ничего не получилось с перепечаткой моей статьи об архиве Бунина. Ну и Бог с ней. Не такие потери приходится – и часто – нести.

Напишите о себе, об Андрее-пчеловоде, – ему, его супруге и его потомству, а Вашему внуку наши добрые пожелания.

Анна Максимовна шлет большой привет.

Сердечно А. Бабореко

19.XII.97.

\* \* \*

Дорогие Иван Алексеевич и Алла Михайловна!  
С Рождеством Христовым и с Новым годом!

Когда я думаю, перед кем излить душу, вспоминаю Вас. А накопилось в душе столько всего – и все горестного, что и в длинном письме не передать. Анна Максимовна упала, сломала ногу (выше колена), лежит в гипсе, неподвижно, я обслуживаю ее: обрабатываю пролежень и забинтовываю эту болячку, вся ее санитария тоже на мне. Я так устал, что трудно это выразить словами. А тут еще издатели не печатают очередные тома Бунина (начиная с 6-го). Я столько трудился – и все губит чиновничье равнодушие, мое письмо в высокие инстанции ничего не изменило. Истинно творческая трагедия. А мне пошел с сентября 86-й год. На тупые головы это не влияет.

До меня доходил слух, что Орел к годовщине Бунина напечатал юбилейный номер газеты. Хорошо бы мне на него посмотреть. Ежели бы ко мне обратились, я кое-что интересное мог бы предложить из вновь приобретенного, прислали из Иерусалима. Мария Гольдман трудится в Иерусалимском университете, она пишет докторскую диссертацию о И. А. Бунине. Забросала меня вопросами, я отвечал. А. Блок говорил: «Литература смердит». Что бы он сейчас сказал! Провинция, слава Богу, держит русскую литературу и культуру. В Москве с кем носятся, – некоторые из них – осатанели совсем, помешались на русофобии. А каким козлом прыгает Евтушенко, такие стоеросовые стихи отгрохал в последнем номере «Лит. газеты». Что мерзавцы делают с русским языком на телевидении и на радио — уму непостижимо!

Анна Максимовна кланяется. Большой привет Алле Михайловне.

Сердечно А. Бабореко.

Декабрь 1998.

### III

Многоуважаемый тов. Рыжов!

Мы прочли Ваши небольшие рассказы «Орловские са-моцветы». Нам они очень понравились. Понравились сво-ей правдивостью, простотой, большим человеческим чув-ством, свежестью образа и художественностью рисунка.

Рассказ «Под одной крышей» особенно хорош. Две жизни под одной крышей – разные жизни. И Настя и Наталья, каждая по своему права и неправа, счастлива и несчастлива, но самое привлекательное в рассказе – это правдивость. Герои рассказа очень знакомы нам, и их горе заставляет нас волноваться и переживать вмес-те с ними.

Тихон Гастев красив в жизни, красив в песне.

Большое спасибо Вам, тов. Рыжов! Ждем новых рас-сказов, первых сборников!

Кто такие – мы?

Я – инженер, работаю в Ленинграде, а живу в Токсо-во. С детства люблю книги. Свою личную библиотеку открыл для всех окружающих меня людей. Сейчас у меня читателей более 400 человек.

Мы – это большое количество читателей моей библио-теки. Мы часто встречаемся и обсуждаем все новое, инте-ресное в нашей литературе.

Желаем Вам больших успехов.

Е. Тимошенко.

1-II-1964 г.

\* \* \*

Дорогой Иван Алексеевич!

...Я еще в январе прочла Вашу книгу «Горькая ряби-на», и она произвела на меня большое впечатление.

Уезжая в апреле в санаторий «Литвиново», я попросила Аиду разрешить мне взять эту книгу с собой, чтобы еще раз перечитать ее.

И вот, перечитывая ее, я вновь покорена ее лиризмом, яркой образностью языка и глубиной характеров героев, так мастерски раскрытых талантом писателя. Особенно сильное впечатление на меня произвел рассказ «Лебедушки». Силу его воздействия на читателя могу только сравнить с рассказом И. С. Тургенева о крестьянском певце. А моя дочь, прочитав рассказ «Звезды в травах», тут же написала стихи, так ее захватила тема этого прелестного рассказа.

Спасибо Вам, родной, за Ваш талант, дарящий людям радость и пробуждающий в них то доброе, чем богата душа русская.

Иван Алексеевич, когда Вы пишете о Бунине, чувствуется, что Вы очень любите его. А, право, я не ошибусь, если скажу, что в Ваших рассказах есть что-то бунинское!

...Вы обязаны больше печататься. Этого требуем мы, Ваши читатели.

Валентина Гунали.

*(В. С. Гунали — директор завода приборов, мой первый директор в жизни. — И. А. Р.)*

28.04.1977 г.

Сан. «Литвиново».

\* \* \*

Здравствуй, уважаемая редакция.

Пишет тебе уч-ца 6-го класса Легостаева Оксана. Недавно я купила и прочла книгу вашего издательства «Звезды в травах». Эта книга мне очень понравилась. Особенно мне понравились рассказы «Аринкин хутор» и «Я жду теперь осень». В этих рассказах (особенно в рассказе «Я жду теперь осень») описывается жизнь Ани и Таи. В рассказе «Я жду теперь осень» написано о том, что Аня встретила человека, которого полюбила впервые. Автор словно сам почувствовал и передал нам состояние Ани. Аня не хотела верить в то, что ее любимого человека увезли в больницу, она верила в то, что он вернется, что она вновь увидит его. Мне очень

358 хочется узнать, встретились ли Аня с ним? Как сложилась ее дальнейшая судьба? Как сложилась жизнь Таи?

И еще мне хочется пожелать автору этих рассказов больших успехов в его творчестве. Чтобы он еще много написал таких рассказов, которые учат нас жить, любить и верить.

Оксана.

Покровский р-н, с. Новосильевка.

15.11.84.

*(передано из редакции газеты «Орловская правда»).*

\* \* \*

Иван Алексеевич!

С удовольствием читаю и перечитываю, наслаждаюсь, ваши «Звезды в травах». Всегда считала Вас очень умным человеком. Но, откровенно говоря, как писателя поняла и полюбила Вас только теперь. Наверное, созрела.

Вообще, спасибо Вам за все, что Вы для меня сделали.

Л. Измайлова,

г. Орел.

1986 г.

\* \* \*

Дядя Ваня!

Спасибо за Вашу книгу «Вратарь».

Ждем еще.

Мы любим Вас.

Серезжа Сажин.

г. Орел, 14 сент. 88 г.

\* \* \*

Иван Алексеевич!

Прочитав, закрыла ваше «Зеркало». Сижу и смотрю сквозь стену своей городской квартиры. Улыбаюсь... Нежно и ласково пощипывает встревоженное сердце. Вижу себя рядом с бабушкой Полей на шелковистом изумрудном травянистом ковре поляны Киреевской рощи, босоногую, курносую девчонку в коротеньком стареньком в синюю крапинку сарафанчике, бесконечно счастливую: я держу в руках снизу земляники, нанизанной на длинный тоненький стебелек тимофеевки.

Спасибо Вам. Хоть на время вырвали меня из плена  
ненасытной, всеядной, алчной, извивающейся шипящей  
змеей у прилавков очереди.

Пусть будет Вам хорошо!  
Здоровья, творческих успехов!  
С уважением

Е. Карнюшина

22/2-93

\* \* \*

Редакции «Орловская правда».

Спасибо за сюрприз.

Хмурое утро, на улице сыро. В такую погоду хорошая  
прогулка не получится. И мысли какие-то грустные. Лю-  
бимые книги прочитаны много раз, а чтобы купить дру-  
гие, денег нет. Безвыходность? Нет. Принесли почту. Рас-  
крываю «Орловскую правду», а там для меня сюрприз —  
рассказы моего любимого писателя И. Рыжова. Прочи-  
тала их и на душе посветлело. Спасибо за сюрприз!

С. Морозова.  
г. Орел.

13.02. 1999 г.

\* \* \*

Уважаемый Иван Алексеевич!  
Поздравляю Вас с Новым годом!  
Будьте счастливы и здоровы!  
Желаю больших творческих успехов!  
Всего Вам доброго!

Кийоми Кобаяси.

Большое спасибо за все то, что Вы сделали для нас в  
Орле. У меня остались самые приятные воспоминания о  
поездке по Орлу. Я читала Вашу книгу. Мне нравится  
рассказ «Горькая рябина», который напоминает Чехова.  
Песня «Рябинушка» и в Японии очень популярная.

*<без даты>*

*(Прим. редактора: Кийоми Кобаяси — профессор То-  
кийского ун-та, гость И. А. Рыжова в Орле).*

\* \* \*

Дорогой Иван Алексеевич!

На прошлой неделе получил Ваше письмо от 12 с. м. и вчера большое письмо от Софьи Михайловны. Благодарю Вас!

Посылаю Вам три фотографии, где Вы сняты.

Позавчера в воскресенье было собрание группы «Народ». Все мы с восторгом вспоминали о Вас.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш Есик <Кобаяси>.

Токио, Япония.

28 июня 1989 г.

\* \* \*

Глубокоуважаемый Иван Алексеевич!

Печатала Вашу книгу. Чувство такое, словно узнала интересную, глубокую и содержательную историю о Вашей жизни и работе. В душе полное смятение. Впервые встречаю нашего писателя, который непримирим к несправедливости, лжи, глубоко любит свою Родину, народ и говорит об этом смело, открыто, во весь голос.

В своей книге Вы не уходите в меркантилизм, приспособленчество, а беспощадно клеймите чиновников, перевертышей... В своих статьях не затрагиваете свое, личное, Вас глубоко печалит судьба Родины, судьба народа, и интересы эти превыше всего, превыше личных обид, каких-то мелких разбирательств. Вы несравненно выше, шире, значительнее... Если бы среди орловских писателей нашлось бы больше таких, как Вы, Иван Алексеевич, думаю, у нас было бы меньше наркоманов, бандитов и равнодушных людей к страданиям народа, Родины, к своим собственным бедам, и может быть, не было бы столь сильного беспредела и разрушения вокруг, разрушения нравственности, как я думаю, так как падение нравственности — это гибель, полнейшая гибель нации...

Ваша боль — боль всех тех, кому дорога Россия, русский народ. Обидно и стыдно за Ваших соратников по перу... Неплохо было бы им следовать Вашему примеру.

О «Кратких рассказах» можно много говорить. Это целый кладезь образов, характеров жителей деревни — глубинки, да и не только глубинки. Каждый рассказ — кар-



тинка: садись, бери кисть и рисуй — взгорки, поля, луга — в них вся природа, богатая, широкая, наша... русская. Читаешь и объяснять ничего не надо, сказано все, сказано кратко, емко, многозначительно...

В. Вознесенская.

Ваш первый читатель и почитатель.

<без даты>

\* \* \*

<Правительственная телеграмма>

Уважаемый Иван Алексеевич!

Мне доставляет особую радость поздравить Вас с новогодними праздниками. Свою жизнь, все свое творчество Вы посвящаете неброской на первый взгляд сельской теме, постижению мудрой простоты и гармонии векового крестьянского уклада. Надо ли говорить о том, насколько необходимо в наш век расчетливого рационализма напоминать людям о вечных ценностях, о том, что основу человеческого бытия составляет нравственность, о высоком значении созидательного труда. Не укладывается в голове, что этот живительный родник сегодня иссыхает. Российское село в тяжелейшем положении. Государство бросило его на произвол судьбы, да и общество в большинстве своем остается глухим и равнодушным к его бедам. Как непросто выстоять селу в такое время. И как важно, что есть у него самоотверженные и беззаветно преданные защитники. К их числу принадлежите и Вы. Многих сил и неиссякаемой энергии Вам в этом благородном деле! Больше надежных соратников! Творческого вдохновения! Пусть все в наступающем году сложится для Вас удачно и счастливо!

С уважением — депутат Государственной Думы председатель Аграрной партии России В. Плотников.

3 января 2005 года.

• ПОСВЯЩЕНИЯ •

Иван Александров  
Аринкин хутор

Ивану Рыжову

*Шагал в заснеженной дали  
Декабрь сорок второго.  
А за санями вдаль брели  
И овцы и корова.*

*В какой-то стороне глухой  
Вошли мы в сорок третий.  
Аринкин хутор в час ночной  
Нас громким лаем встретил.*

*На нем кончался белый свет  
В завьюженной пустыне.  
Ни радио и ни газет  
Здесь не было в помине.*

*Ни капли ключевой воды,  
Лишь пруд воюоче-ржавый.  
Мы для питья и для еды  
Сгребаем снег шершавый.*

*Корова бережно жует  
Рябинку с полынками.  
Хозяйка лампу бережет,  
А топит — кизяками.*

*Мы засыпали на полу  
В сыром холодном доме,*

*Зарывшись с вечера в углу  
В попонке и соломе.*

363

*Мне снился деревенский сад,  
Пылавший жарким цветом.  
А где-то дрался Сталинград,  
Невидим и неведом...*

Андрей Фролов  
Посвящение И. А. Рыжову

*В деревне  
Коровье Болото  
Совсем не осталось  
коров,  
Да и от деревни  
всего-то —  
Двенадцать замшелых  
дворов.  
Воюет старик-долгожитель  
С колодезным журавлем:  
— Помрем-то когда же,  
скажете?  
Ведь все же когда-то  
порем...  
Горбятся крыши  
косые,  
Хребтами белеют плетни...  
Храни, Вседержитель,  
Россию!  
И эту деревню храни.*

## Вадим Еремин

\* \* \*

И. А. Рыжову

*Нет спасения нации нашей:  
Вымираем, болеем, скулим  
Под разверстою звездною чашей,  
Вопиющей, что мир неделим.  
Нет спасения нашим оврагам,  
Нет спасения нашим полям.  
Отступая по треснутым лагам,  
Мы крепимся с грехом пополам.  
И как будто по воле монаршей,  
Ковыряем надельны свои.  
Нет спасения нации нашей,  
Видно слишком стремились в рай.*

Виктор Дронников

*Однажды поехали во Миценский район. Выступали на заводах, в колхозах, попали нечаянно в дом престарелых. Посмотрели, поговорили, заплакали... И родились эти строки. В. Д.*

\* \* \*

Ивану Рыжову

*Дом престарелых. Глухая тоска.  
Пахнет оттопленным воском.  
И полусонный полет мотылька  
К свежееоструганным доскам.*

*Скитская нежиль бревенчатых стен.  
Блеклой листвой источаем, —  
Тонкий, осенний таинственный тлен,  
В сущности, сам беспечален.*

*Кладбище, видимо, недалеке...  
Там, где цвели матиолы, —  
Улей без крышки и на летке  
Сохлые мертвые пчелы.*

## Ирина Семенова

\* \* \*

Ивану Рыжову

*Нашей жизни грустную мозаику  
Разглядят потомки, может быть.  
Трудно страсть испытывать к прозаику,  
Но его возможно полюбить.*

*Если вдруг теория не лучшая  
Несколько вас будет раздражать,  
Нужно только, рассужденья слушая,  
Вертикально голову держать.*

*Это мысли древо перевозданное  
Наклоняет к вашему виску,  
Существо доверчивое, странное,  
Как медведь коала на суку.*

Геннадий Попов  
За окном

И. Рыжову

*За окном по-вечернему тихо,  
Не твоя, не моя в том вина,  
И судьбу ворожит ворониха...  
Видно ранняя будет весна.*

*Цепь огней сквозь чернеющий берег  
С укоризной сверкает в глаза...  
Кто шагами земными измерит,  
Что и мерой небесной — нельзя?*

*Но, безумец, в стенах кабинета  
Я пытаюсь не думать о том,  
Возвратить промелькнувшее лето,  
Волоча перебитым крылом.*

*На дворе — словно поздняя осень:  
Неприветливо тающий снег.  
Дождь слезливую каплю наносит  
На окно, на меня и ... на всех.*

*Не гадай на бобах, ворониха,  
Не сули мне забвение, дождь.  
Почему неприкаянно тихо?  
Тень печали.*

*Ее не тревожь.*



*За окном...*

369

*Кто же знает об этом —*

*Что творится у нас за окном:*

*То ли песня прощальная спета.*

*То ль судьба сторожит за углом?*

21.02.02

Владимир Ермаков  
Пейзаж с настроением

Ивану Рыжову

*Шероховатая льдина.  
Талая злая вода.  
Шорох как шёпот: «Иди на...» —  
но непонятно — куда.*

*В воздухе зябко витает  
бледная немощь дождя.  
Снег оседает и тает,  
вечную грязь разводя.*

*Краешек лунной медали.  
Чёрная прорва полей.  
О, непролазные дали  
родины бедной моей!*

*Не оттого ли кручина  
властвует злее вина,  
что для веселья причина  
в этой дали не видна?*

Николай Перовский  
Крест

Ивану Рыжову

*Ходит по городу старый знакомый,  
курит, сутулится, ищет друзей,  
пасмурной Родины сын незаконный,  
душу свою превративший в музей.*

*Перепевает, перепивает,  
переживает себя самого,  
день убывает, тень прибывает  
и с головой накрывает его.*

*Нянчит осенние строки и строфы,  
птиц провожает с насиженных мест,  
думаю, он донесет до Голгофы  
свой неподъемный, праведный крест.*

## • НАДПИСИ НА КНИГАХ<sup>1</sup> •

Дмитрий Блынский. Иду с полей. Стихи. М., «Советский писатель». 1959 г.

*Дорогому — да, Ивану — да, Рыжову — да на самую добрую — да память — да, в чудесный — да для нас с ним — да день — от всей души — да.*

*Дм. Блынский — да. 30.I. 62 — да.*

\* \* \*

Юрий Казаков. По дороге. Рассказы и очерки. М., «Советский писатель». 1961 г.

*Ваня, спасибо за тот ночной звонок в Гагзу.*

*Ю. Казаков. XII, 75 г.*

\* \* \*

Николай Родичев. Алые росы. Повести. Донецкое книжное издательство. 1963 г.

*Ивану Рыжову — солдату нашей орловской литературной рати на добрую память, во имя добрых дел.*

*Ник. Родичев. 2.III. 64 г.*

\* \* \*

Петр Проскурин. Горькие травы. М., «Советский писатель». 1964 г.

*Ивану Рыжову — с пожеланиями добра, здоровья, настоящего успеха.*

*Сердечно. П. Проскурин.*

*29.V. 65 г.*

---

<sup>1</sup> От составителя.

В подборке выборочно представлены книги из личной библиотеки И. А. Рыжова, где в дарственных подписях (inscript) отражены связи и симпатии писателя и отношение к нему авторов книг.

\* \* \*

Леонид Афонин. Повесть об Орловском театре. Тула, Приокское книжное издательство. 1965 г.

*Дорогому Ивану Алексеевичу Рыжову на добрую память, в знак нашей общей любви к искусству смелому и правдивому.*

*Л. Афонин.*

*19. XII. 65 г., г. Орел.*

\* \* \*

Евгений Горбов. Дом под тополями. Роман. М., «Молодая гвардия». 1965 г.

*Вручаю сию книгу Ивану Алексеевичу Рыжову с твердой уверенностью, что вышеупомянутый товарищ в ближайшее время вручит мне одинаковую (по толщине) и лучшую (по качеству) книгу собственного сочинения.*

*Е. Горбов*

*19 мая 65 г.*

\* \* \*

Юрий Кузнецов. Проза, стихи. Краснодарское книжное издательство. 1966 г.

*Ивану Рыжову, талантливому писателю великой Орловской земли.*

*Искренне.*

*Юрка Кузнецов.*

*2.7.66 г.*

\* \* \*

Олег Михайлов. Иван Алексеевич Бунин. (Очерк творчества). М., «Наука». 1967 г.

*Дорогому Ивану Алексеевичу Рыжову самые добрые слова. С давней дружью и симпатией.*

*Олег Михайлов*

*22.X.80 г.*

\* \* \*

Владимир Муссалитин. Старые шрамы. Повести и рассказы. Тула, Приокское книжное издательство. 1968 г.

374      *Дорогой Ваня! Спасибо за веру, за помощь. На эту книжку меня вдохновило твое трудолюбие. Буду рад, если ты прочитаешь ее.*

*Твой В. Муссалитин. 18 октября 68 г., г. Орел*

\* \* \*

Владимир Мильчаков. Птенцы орлов. Повесть. Тула, Приокское книжное издательство. 1969 г.

*Ване Рыжову от автора с самыми дружескими чувствами.*

*В. Мильчаков. 28. I. 70 г.*

*г. Орел.*

\* \* \*

Евгений Носов. Берега. Рассказы. М., «Современник». 1971 г.

*Ване Рыжову с уверенностью, что берега его крепкие, надежные, русские.*

*С давней симпатией*

*Евг. Носов.*

\* \* \*

Василий Белов. Сельские повести. М., «Молодая гвардия». 1971 г.

*Ване Рыжову на добрую память. 14. V.71.*

*Василий Белов.*

\* \* \*

Евгений Горбов. Однажды утром. М., «Советская Россия». 1971 г.

*Другу прозаику – Ивану Алексеевичу Рыжову – с пожеланием новых, хороших, интересных книг.*

*24 марта 1971 г.*

*Евгений Горбов*

\* \* \*

Леонид Сапронов. Марс – звезда вечерняя. Рассказы и повести. М., «Советский писатель». 1972 г.

*Собратью по перу Ивану Алексеевичу Рыжову с большими надеждами и верой в его талант.*

*17.04.1972 г.*

*Л. Сапронов*

375

\* \* \*

Сергей Антонов. Серебряная свадьба. Повести и рассказы. М., «Современник». 1972 г.

*Дорогому Ивану Рыжову желающий счастья и радости Сергей Антонов.*

*1 марта 1973 г.*

\* \* \*

Михаил Колосов. Срубили акацию... Повести и рассказы. М., «Современник». 1974 г.

*Ивану Рыжову с любовью и надеждой. Искренне.*

*М. Колосов.*

*18. IX / 74 г.*

\* \* \*

Владимир Соколов. Четверть века. Избранные стихи 1948 – 1973. М., «Советская Россия». 1975 г.

*Дорогому Ивану Алексеевичу Рыжову с чувством большой симпатии, в дни Фета.*

*Вл. Соколов, 31 мая 1976 года, Орел*

\* \* \*

Виктор Чалмаев. Обновление перспективы (реализм современной русской литературы). М., «Современник». 1978 г.

*Дорогому Ивану Рыжову – одному из даровитейших продолжателей бунинской сердечной темы, темы Родины, – с давней любовью.*

*В. Чалмаев.*

*5/XI-80 г.*

\* \* \*

Николай Старшинов. Избранное. Стихотворения и поэмы. М., «Художественная литература». 1980 г.

*Дорогой Ваня! Со всей сердечностью и дружбой шлю тебе эту книгу. Желаю удач и всех благ!*

*Н. Старшинов.*

*24/XI-80 г.*

\* \* \*

Сергей Пискунов. Мгновенья. Тула, Приокское книжное издательство. 1982 г.

*Ивану Алексеевичу Рыжову — на память о славных праздниках наших встреч и с благодарностью за всегдашнюю приветливость и сердечие к моим строчкам и ко мне. Творческих удач тебе, Иван!*

*Сергей Пискунов. г. Москва*

*15 — 19.IV. 1983 г.*

\* \* \*

Юрий Казаков. Осень в дубовых лесах. Рассказы, повести. М., «Современник». 1983 г.

*Писателю Ивану Алексеевичу Орловскому от матери русского писателя Юрия Казакова.*

*Мать Ю. А. Казакова. 24. II. 1984 г.*

*(Книга подарена после смерти Ю. Казакова).*

\* \* \*

Игорь Лободин. Перепелка во ржи. М., «Современник». 1983 г.

*Ивану Алексеевичу Рыжову — русскому писателю, другу моему на всю жизнь! Твой Игорь Лободин.*

*Иза Россию, и за калину красную... Любя, держись, брат!*

*17.XII.83 г.*

\* \* \*

Вадим Еремин. Дорога на Спасское. Стихи. М., «Современник». 1983 г.



*Дорогому Ивану Алексеичу с большой благодарностью  
за поддержку и понимание и с добрыми пожеланиями.*

377

*Вадим Еремин  
19.05.83 г.*

\* \* \*

Светозар Барченко. Семь недель до рассвета. Рассказы. М., «Советский писатель». 1983 г.

*Ване Рыжову — прекрасному человеку, писателю редкого дарования и большой человеческой души от автора, который широко известен в узких кругах, с искренней дружбой и любовью.*

*С. Барченко.  
9. X. 84 г.*

\* \* \*

В. Н. Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., «Советский писатель». 1989 г.

(Составитель, предисловие и примечания А. К. Бабореко).

*Дорогому Ивану Алексеичу Рыжову, так много помогшему мне в публикации бунинских биографических материалов.*

*Спасибо сердечное!  
А. Бабореко  
14. X. 89 г.*

\* \* \*

Иван Александров. Щеглы. Лирические тетради разных лет. Тула, Приокское книжное издательство. 1991 г.

*Ивану Рыжову — мастеру коротких рассказов — долгих творческих дней!*

*От души — Ив. Александров. 15.02.92 г.*

\* \* \*

Игорь Круглый. Андрей Курнаков. Фотоальбом. Орел, «Вешние воды», 1998 г.

378      *Дорогому Ивану Алексеевичу Рыжову в память о давних днях нашей искренней дружбы с уважением и любовью.*  
А. Курнаков.  
Орел. 13.2.96 г.

\* \* \*

Александр Лысенко. Неутомимый труженик. Орел, «Вешние воды». 1998 г.

*Ивану Алексеевичу Рыжову – моему любимому автору, талантливому русскому писателю, тончайшему рассказчику с любовью.*  
Ваш А. Лысенко  
24.09.98

\* \* \*

Геннадий Попов. Голоса безмолвия. Избранная лирика, циклы стихотворений, поэмы. Орел, «Вешние воды». 2000 г.

*Дорогому сотоварищу, старшему собрату на доброе здоровье, долголетия в творчестве и человеческие простые радости на весь XXI век*  
Ген. Попов  
12 февраля 2001 г.  
г. Орел

\* \* \*

Дмитрий Порушкевич. Твои прощания. Стихи. Орел, «3-е июля». 1998 г.

*Ивану Рыжову с любовью и признательностью.*  
Автор.  
18.08.2000 г.

\* \* \*

Ирина Семенова. Свирель. Стихотворения и поэмы. Орел, «Вешние воды». 1998 г.

*Дорогому Ивану Алексеевичу, горячо любимому, душевно и сердечно. От автора.*  
26. IX. 98 г.

\* \* \*

Юрий Оноприенко. Сто чудных бед. Детские повести. Орел, «Вешние воды». 2000 г.

*Ивану Алексеевичу Рыжову, чудесному писателю и добрейшему человеку.*

*Автор. 25. IV. 2000 г.*

\* \* \*

Валерий Рогов. Во глазе трубном. Рассказы, повести, публицистика. М., 2001 г.

*Прозаику Божьего дара Ивану Рыжову с любовью!*

*8.11.2001 г.*

*Вал. Рогов*

\* \* \*

Виктор Дронников. На птичьих кругах. Стихи. Орел, «Вешние воды». 2001 г.

*Дорогому Ивану Рыжову с нежными, долгими и грустными воспоминаниями о нашем детстве, о наших матерях, о наших ушедших друзьях. Ваня, ты очень хороший.*

*Твой Виктор Дронников.*

*25 декабря, 2001 г.*

*г. Орел*

\* \* \*

Николай Перовский. Иное царство. Венки сонетов. М., «Глобус». 2002 г.

*Ивану Рыжову, доброй душе, отличному прозаику, дружески!*

*Н. Перовский,*

*Апрель 2002 г.*

\* \* \*

Алексей Шорохов. Ночь над миром (книга стихов). Орел, «Вешние воды». 2002 г.

*Ивану Алексеевичу от юного Шорохова, последнему ученику Бунина! С искренней любовью и душевным трепетом.*

*А. Шорохов. 9.01.2002 г.*

\* \* \*

Владимир Ермаков. Как бы книга. Орел, «Вешние воды». 2003 г.

*Ивану Рыжову, прекрасному писателю и доброму человеку, которому автор обязан по жизни, а книга по судьбе, – с глубоким уважением и искренней признательностью.*

*Как бы автор В. Ермаков.*

*Как бы художник А. Ермакова.*

*19.12.03*

\* \* \*

Анатолий Загородний. Книга обольщений (проза, эссе). Орел, «Вешние воды». 2002 г.

*Ивану Рыжову! – золотому перу России – с восхищением и поклоном, влюбленный*

*А. Загородний*

*24.I.2003 г.*

\* \* \*

Василий Катанов. Жар-птица. Орел, «Вешние воды». 2004 г.

*Писателю Ивану Рыжову – Прошу тебя, певца полей:*

*Не болей!*

*С пожеланием крепкого здоровья, а крепкий талант всегда при тебе. Сердечный привет Алле Михайловне и всему твоему семейству прекрасному.*

*В. Катанов.*

*10 февраля 2004 г.*

## • ОТЗЫВЫ И ОТКЛИКИ<sup>1</sup> •

Под одной крышей.

М., «Советский писатель». 1967

### Любовь к родному краю

Года четыре назад на страницах газет начали появляться рассказы Ивана Рыжова. Потом они печатались в центральных журналах и еженедельниках. А сегодня, как итог четырех лет труда, вышел в свет сборник рассказов «Под одной крышей» — первая книжка молодого писателя.

Давно уже стало традицией, что рецензент, анализируя только что вышедшую в свет книгу, обязательно должен в основном говорить о замеченных в ней недостатках. В какой-то степени это правильно, так как безупречных книг, особенно первых книг молодых писателей, честно говоря, не бывает.

Но сегодня мне хочется, для начала, просто сказать всем любителям литературы, всем читателям, что сборник рассказов «Под одной крышей» — это хорошая, честно написанная книга. И я очень рекомендую ее прочесть. Конечно, есть в ней и недостатки, и срывы, но главное достоинство книги — ее искренность, нетерпимость к равнодушию и черствости.

Читая сборник И. Рыжова, я убедился, что автором, когда он создавал свои рассказы, владели два чувства: любовь к родному краю и любовь к людям. Мне могут сказать, что эта тема не нова. Это, конечно, верно, но сборник «Под одной крышей» отличает поэтическое выраже-

---

<sup>1</sup> От составителя.

В разделе даны рецензии из периодической печати 1967 – 2001 гг., содержащие наиболее точные оценки и характерные отзывы. В целях экономии места опущены некоторые идеологические штампы и пересказы содержания рассказов.

382 ние любви автора не к Родине вообще, а конкретно к земле отца и деда, к земле, где родился сам автор, к родной Орловщине. Начиная с открывающего книгу рассказа «На покосе», орловская природа, ее голубые дали присутствуют в каждом рассказе, даже в тех, где как будто бы и не говорится о лугах и полевых просторах.

Основная тема большинства рассказов сборника — это жизнь современной деревни. Причем в каждом рассказе автор по-новому освещает эту тему, создает образы сегодняшних тружеников села, находит точные и характерные детали современного быта деревни. <...>

Кого не тронет, не заставит задуматься судьба колхозного конюха Тихона Гастева из рассказа того же названия. Тихон Гастев «...по-мужицки хитер, честен, но горяч и буен нравом. С шестью классами дослужился до капитана, командовал ротой». Да, воевал Тихон хорошо, но после войны не нашел своей дороги. И вот, когда через много лет ему с большим опозданием вручают еще одну боевую награду, Тихон «до боли сжимает орден в руке и невесело усмехается своим мыслям: «жизнь почти прожита, но не так, как хотел...» Дальнейшая судьба Гастева остается за пределами повествования, и автор не облегчает воздействие рассказа на читателя благополучной концовкой. Но то, что Тихону в момент вручения ордена стало «стыдно и горько», служит не только авторской оценкой событий, но и тем мостиком, по которому, наверное, прорвется в достойную жизнь бывший гвардии капитан Тихон Гастев.

Не останется равнодушным читатель и к судьбе колхозного пастуха Ильи Разоренова из рассказа «Новый дом», который мечтает построить себе «...пятистенный, с резными голубыми наличниками, с крыльцом и шиферной крышей дом». Это не стремление прежнего мужика к сытому благополучию и к тому, чтобы соседи завидовали, глядя на его новый дом. Соседи-то у Ильи Разоренова уже имеют хорошие дома, и ему никто завидовать не будет. Дом ему нужен для того, чтобы жить, когда дети подрастут... станут работать на тракторах, на ферме, будут пахать землю, сеять, доить коров — де-

лать такую извечную и необходимую работу, без которой Илья Разоренов не мыслит и жизни.

Автор не пускается в дидактические поучения, но за лаконичным и точным показом быта колхозного пастуха ясен и убедителен авторский наказ: «Не будьте черствыми».

В центре рассказа, по которому назван сборник «Под одной крышей», две женщины: очень старая Наталья и ее пожилая невестка Настя. Дети Насти, внуки Натальи, живут в городе и забыли о матери и бабке. Старым женщинам не нужна материальная помощь. Они прожили славную, трудовую жизнь, и их обеспечит государство. Но им не хватает человеческого тепла, хотя бы одной крупинки любви тех, кому они дали и отдали жизнь. И, услышав горестное восклицание Насти: «Дядя ли их не жалела...», автор с глубокой горечью говорит: «Стыдно и больно мне видеть ее слезы, стыдно и больно за ее детей».

...Почти в самом конце сборника помещен цикл своеобразных лирических этюдов (как это сказано в краткой аннотации к книге) под общим заглавием «Звезды в травах». Хотелось бы остановиться на двух из них — «Васильевна» и «Яблоня» и на самой последней лирической новелле сборника «Ветер и дуб». В этих трех произведениях особенно хорошо проявилась способность молодого прозаика лаконичным, но очень поэтичным языком создавать произведения, глубокие по содержанию.

...Труд писателя — очень нелегкий труд. Невозможно определить, сколько бессонных ночей стоила автору маленькая книжка рассказов, от скольких удовольствий и радостей жизни отказывался он, чтобы сесть к столу перед чистым листом бумаги и начать говорить языком своих героев. Тем более мне приятно сказать нашим читателям, что сборник «Под одной крышей» — это хорошая книга. Иван Рыжов стоит на правильной дороге, ведущей в большую и богатую русскую советскую литературу.

*Владимир Мильчаков, писатель.*

*«Орловская правда», 1967 г.*

Фамилию Ивана Рыжова мне не раз доводилось встречать под рассказами на страницах центральных газет и журналов. И вот теперь она впервые вынесена на обложку книги, в которой собрано все лучшее, что опубликовал в периодической печати молодой автор. Рассказы, включенные в сборник, подкупают своей лиричностью, влюбленностью автора в жизнь деревни, в людей. Горячую, сыновнюю привязанность автора к родимой сторонке, к своим землякам мы угадываем по умело вкрапленным в ткань повествования живым, самобытным словам крестьянского говора. Знакомство с первой книгой Ивана Рыжова убеждает нас, что армия молодых литераторов России пополнилась еще одним даровитым и своеобразным писателем.

Автор чувствует родную природу, мягкими красками рисует деревенский пейзаж, всегда созвучный настроению героя, его повседневным делам и думам. Он умеет несколькими штрихами передать и медленную поступь рассвета, когда «на западе еще темно, мутно-серо, а восток уже светлеет, лиловеет, наливается каким-то оранжево-багровым светом, и свет этот медленно, как бы нехотя, растекается выше, вширь — по всему горизонту»; и полдень на лесной опушке, «конопатой от пятен солнца»; и наступление вечера, когда солнце словно вдавливается, входит в землю, покрывая все вокруг — поля и деревни — полосками теней и света.

Любовь к деревне у писателя активна, деятельна. Отношение к земле, к общественному крестьянскому труду — вот то главное, что определяет истинную ценность человека. Ближе к сердцу принимает он горькое одиночество старой крестьянки Насти — героини рассказа «Под одной крышей», забытой дочерью и сыном. А нужна Насте, как замечает автор, не помощь от них — в колхозе она зарабатывает порядочно, а самая малость — внимание от детей.

Почти в каждом рассказе мы встречаем людей, думающих не о том, как бы пристроиться к жизни, а как бы получ-



ше устроить эту жизнь, чтобы всех она могла одарить счастьем. Таков Иван Егорович Лякишев («На покосе»), рассудительный, добродушный колхозник, мастер на все руки, находящий высокую радость в работе, умеющий увлечь за собой молодежь. Таков пастух Илья Разоренов («Новый дом»), который не может представить себя вне колхоза, вне постоянных забот о расцвете артельного хозяйства.

Рассказы Ивана Рыжова пробуждают в душе читателя искреннюю благодарность к тем, чьим трудом и чьим талантом творится счастье на земле.

*Вл. Разумневич.*

*«Сельская жизнь», 1968 г.*

## Под одной крышей

В сборнике молодого орловского прозаика Ивана Рыжова, собравшего под одной крышей свои первые рассказы, содержится следующее признание: «Я до сих пор радуюсь и горжусь, что знаю то, чего не знают городские мальчишки: где и какие растут грибы, как поют зяблик и иволга, какие ягоды и травы полезны и лечебны, от каких болезней ими можно лечить». О том, что писатель знает все это досконально, можно судить по его рассказам, где проникновенные пейзажные зарисовки органично, свободно вплетаются в ткань повествования, не нарушая плавного сюжетного течения, где без эффектных экзотических деталей рисуются переменные краски суток и времен года, тихая деревенская околица и веселая лесная опушка, конопатая от пятен солнца.

Но не только и не столько в этом художественная ценность его рассказов. Дарование писателя, как мне кажется, в способности живописать быт и нравы современной деревни, глубоко проникать в суть забот и переживаний сельского труженика, чувствовать свою неразрывную слитность с ним, с его трудом, с его судьбой. Кровно привязанный к род-

386 ной земле, автор любовно изображает тех, кто своей крестьянской мудростью и честной работой способствует укреплению, расцвету артельного хозяйства, и сурово осуждает людей, изменивших деревне, забывших отчий дом, родимую сторонку, которая вспоила, вскормила их, поставила на ноги, вывела на большую дорогу жизни.

Создавая выразительные портреты представителей колхозной деревни — таких, как заботливая и ласковая Настя («Под одной крышей»), рассудительный Иван Егорыч Лякишев («На покосе»), пастух Иван Разоренов («Новый дом»), бабушка Фрося из одноименного рассказа, — писатель видит их истинную ценность в бескорыстном служении народу, трудолюбию, желании передать свои знания и навыки сыновьям и внукам своим. Им чужды, непонятны люди, отделившие себя от коллектива, с головой ушедшие в мелочи быта, в маленький частный мирок. Вместе с автором и его положительными героями тревожимся мы за судьбу главного персонажа рассказа «По путевке» — бесшабашного и заносчивого Степана, который так и не сумел найти своего призвания, своего места под солнцем. Он, как и героиня рассказа «Встреча» Мария Милакова, живет бесцельно, опустошенно и, забываясь о собственном благополучии, сворачивает на окольный путь, который сможет увести его лишь в сторону от настоящих радостей, погрузить в липовую тину мечтанства, как это случилось с Марией. Свив себе уютное гнездышко под крылышком мужа, она долгое время считала, что обрела подлинное счастье, но случайная встреча с односельчанами — друзьями юности убеждает Марию, что ее счастье призрачно, недолговечно и может рухнуть в любую минуту.

Тонко и последовательно, без лобовых нравоучений автор развенчивает искателей легких путей в жизни, обнажает их неприглядную сущность. Его симпатии на стороне людей, нравственно чистых и душевно щедрых, чувствующих себя хозяевами земли, хозяевами своей судьбы.

*Вл. Разумневич.*

*Ж-л «Октябрь», 1968 г.*

## К человеку с любовью

387

Есть люди, навсегда покоренные селом, навечно приписанные к деревне. Судьба заносит их в чужие края, обитают они в иной среде, в непривычном для себя окружении, а их души по-прежнему тянутся к родному гнездовью, так и не гаснут прошлые привязанности, не слабеет у них в крови унаследованный от предков зов земли. Вот к таким авторам-однолюбам, увлеченным одной заветной темой, и принадлежит Иван Рыжов, чей сборник рассказов недавно выпущен издательством «Советский писатель».

Книга эта невелика по объему, добротна оформлена и почти вся посвящена деревне, ее людям. Написана она в той традиционной манере, которая была присуща произведениям Тургенева, Лескова, Бунина. Молодой литератор сознательно следует курсом своих маститых земляков-орловцев, с неизменным уважением присматривается к сельским жителям. И тракторист Иван Егорыч из рассказа «На покосе», и пастух Илья Разоренов из «Нового дома» («Двадцать пять лет он работает пастухом, но еще раньше — от отца, дедов, бабок — впитал: земля поит и кормит людей, все живое...»), и конюх Тихон («Тихон Гастев») — все они из древнего крестьянского рода русичей-хлебопашцев, из породы тех, на ком держится мир. Знакомишься с ними, радуешься каждой встрече, а молодой писатель представляет новых и новых знакомцев: звеньевую Марию, худую и тонкую, словно сложенную из двух щепок («Из двух щепок»), которая никак не могла представить, как это можно хвалить за работу, когда человек и рожден, чтобы трудиться («Двужильная какая-то», — восхищались бабы).

Живут они, ловкие, дотошные в труде, строят дом, косят сено, растят внучат и получают давние награды, живут, поглощенные каждодневными заботами, и нет в их биографиях ничего крикливого, броского, выпяченного — только будни. А в буднях, как известно, растят хлеб и ухаживают за скотиной, доят коров и мечут стога — делают дело.

Да и сама книга будто бы и не торопится в стаю модных ходовых новинок, не стремится поразить или завлечь читателя. Автор словно свидетельствует о себе: я, как все... тружусь вот... И вместе с его уважительным, пожалуй, даже чуточку умиленным отношением к своим героям находишь в рассказах и авторскую зоркость, и наблюдательность, и чуткость к исконному неприглаженному слову, к родному языку.

Первое выступление состоялось. Появился новый интересный писатель. Есть у него своя выношенная тема, есть личная заинтересованность в судьбах современников, искренняя, нередко берущая за сердце пристрастность. Об атом говорит его добрая книга.

*Леонид Сапронов.  
«Советская Россия», 1968 г.*

## Под родными крышами

Этот отзыв о первой книге совсем еще молодого писателя-орловца Ивана Рыжова хочется начать с фразы, которой автор характеризует одного из своих героев, Илью Разоренова: «Не понимает и не хочет он понимать жизни без земли, без деревни. Земля для него — что-то вечное, обязательное...»

Было время, когда вся русская литература, все ее художники и философы, от Успенского до Толстого, от Тургенева до Короленко, не мыслили своего творчества без земли, без деревни. Иные объясняют это тем, что, мол, дальше и глянуть было некуда. Россия была сплошной деревней... Едва ли большую правду искусства можно объяснить полуправдой представлений о тогдашней жизни страны. Сочиняли и в те времена чисто любовную лирику и камерные романы...

Нечто очень земное, рожденное в непрестанных думах о судьбе земли родной, об исконных ее обитателях чувствуется в каждой странице деревенских произведений Ивана Бунина. У своего выдающегося земляка учится Иван Рыжов. Вечному учится, обязательному.

Наверное, десятки таких пастухов, как Илья Разоренов, повидал в жизни автор — искалеченных войной, потерявших здоровье, но не опустошенных душой, несущих на лице добрую улыбку. Чем интересен Илья? Как будто немного требуется ему для полноты счастья — вселиться в новый дом, поладнее разместить детвору. Дальше этих забот Илья не показан. Однако мысли крестьянина о новоселье выписаны так емко и образно, раздумья его о своей нынешней и будущей жизни так впечатляющи, что в рассказе «Новый дом» создается целостный образ современника, подставляющего свое плечо не только под бревно для сруба, но под тяжести державные.

Тема послевоенной жизни бывших фронтовиков вроде бы не с руки молодому автору. Но он смело берется за изображение этих людей и одерживает не одну победу. Вот, например, капитан запаса Тихон Гастев из одноименного рассказа. Автор четко обрамляет «бытовыми» деталями этот сложный, противоречивый образ. Гастев — дебошир, пьяница. И в некотором роде чужак, романтик. Раз в году, в День Победы, он надевает свой армейский мундир и идет в деревенский клуб петь фронтовые песни. Вся округа собирается послушать одухотворенного, преобразившегося певца.

Обильную дань отдает И. Рыжов теме поисков: человек ищет свое место среди людей.

Автор выверяет все слагаемые человеческого счастья одним, с его точки зрения, главным достоинством — постоянством характера, иными словами — приверженностью к любимому делу, душевной преданностью родному краю, тому уголку, откуда открываются широкие и дальние виды.

Очень характерны в этом плане рассказы «Встреча» и «Лебедушки». В первом дается тщательно прописанная психологически история молодой женщины Марии Гамановой. Закончив школу, Мария уехала в город поступать учиться, однако «срезалась» на немецком и осталась на стройке, вышла замуж. Жизнь ее внешне выглядит вполне благополучно: есть квартира, достаток в доме, муж покладистый, растет дочка. Но вот благополучное семейство приезжает на недолгую побывку в деревню, и Мария, едва сту-

пив на знакомые сызмальства стежки, вдруг ощущает прилив тоски и горечи по всему утраченному. Прежде не очень задумывавшаяся о своей жизни женщина с беспощадной ясностью обнаруживает в себе фальшь и рисовку, видит непрочность своего бабьего счастья, «сработанного» бездумно, в спешке. Гармонист Алеша, с которым в недавние, не далеко еще отлетевшие годы она сходилась в огневой пляске на удивленье всему селу, до сих пор холост, все ждет ее. И у самой Марии чувства к нему не погасли, они лишь припорошены розовой пылью обывательского счастья. Страшась внезапно вспыхнувшей любви к Алеше, Мария торопится уехать, но это бегство от самой себя — не спасение...

Драматизм ситуации, назревание очистительной грозы в семье Марии и Кости, протеста Марии против самой себя автор искусно передает через детали природы, которая как бы пробуждает спящую душу молодой женщины. «По дороге Мария не выдерживает, сбегает в густые высокие травы, на луг и рвет, рвет цветы и громко зовет Костю, Лиду тоже на луг. Беспричинная улыбка не сходит с ее раскрасневшего лица, какая-то приятно щемящая радость переполняет до краев, и счастливее ее сейчас нет никого на свете».

Автор оставляет свою героиню на распутье. Но ясно уже, что выбор ее будет более обдуманым и зрелым, чем первоначально. Природа человеческого счастья имеет свою логику, свои закономерности. Насилие над собой, эгоизм, расчет на временную выгоду принесли уже и еще принесут много горя и самой Марии и тому, с кем так случайно связала она свою судьбу, чтобы затем в муках перестраивать ее заново...

«Лебедушки» — лирическая новелла о близком автору человеке, учителе и земляке Иване Бунине. Написана эта новелла на основе известных из биографии писателя фактов — любил он деревенскую глубинку, разгульную стихию народной речи, песни любил послушать у самых истоков, из уст тех, кто слагает их и поет по всякому поводу, в том числе и по просьбе приезжего барина... Был у Бунина заветный уголок, где звучали эти песни особенно волнующе для него и напевно, знал он приветливую голосистую крестьянку по имени Настя Карева. И вот один из таких эпизодов Иван

Рыжов в меру своих сил воскрешает. Задушевно, тепло пишет автор и о женщинах, сошедшихся по зову Насти «покричать» песни, и о необычном слушателе их импровизированного концерта в крестьянской горнице. Не впервой здесь писатель. И в который раз уж восклицает про себя: «Ах, как удивительно несравнима и хороша русская песня!»

Несколько сентиментальным, полоненным чарующими звуками народной песни рисует молодой автор образ любимого писателя. Но под конец, будто заробев от написанного, И. Рыжов переходит на более холодные и резкие мазки. Мы видим Бунина вдали от Родины, мятущимся в тоске, так и не решающимся постучаться в дверь советского посольства в Париже. Может, это тоже факт из биографии, но он выглядит чужим, нарочитым для темы новеллы, назидательность концовки слишком очевидна.

Из других произведений сборника хотелось бы отметить рассказ «Под одной крышей» — о судьбах двух русских женщин, переживающих на склоне лет свое одиночество во вдовьем кругу. Долгими зимними ночами женщины ведают друг дружке наболевшее. Горькая тайна Насти, от которой отвернулся выросший сын, потрясает. Автор походя, несколькими точными штрихами рисует портрет сына Николая. И этот как бы проходной образ запоминается, усиливает впечатление от материнского рассказа о нем.

Удались автору акварели «Звезды в травах», написанные как стихи в прозе. Здесь много душевного тепла, простора, много красок в описании картин деревенского нынешнего быта. Акварели эти озвучены напевной народной речью, что вполне закономерно для автора — уроженца Орловщины. Есть у кого учиться И. Рыжову, не скрывающему своих симпатий.

«Под одной крышей» — книга удивительно портретная. Сюжет рассказов И. Рыжова обычно очень прост, действие играет здесь производную роль. На первом плане всегда цепь деталей, обрамляющих образ. Поступки героев естественно проистекают из их характеров и привычек. Илья Разоренов, Тихон Гастев, старушка Настя, Захар из рассказа «Щенок» — все это очень непохожие друг на друга, самобытные

392 люди. Знакомство с ними обогащает, расширяет представления о людях и проблемах современной деревни.

Еще один одаренный писатель заявил о себе хорошей книгой.

*Николай Родичев.  
Ж-л «Молодая гвардия», 1968 г.*

## Открытие.

Тула, Приокское книжное издательство, 1967

### Лирическая книга

«По улице бежит собака. Большая и красивая, с отвислыми длинными ушами и палевыми боками — охотничий сеттер. Но это мы, взрослые, знаем, что собака — охотничья. И не боимся ее. А четырехлетний Витька Бойцов этого не знает... От взрослых он слышал, что собак надо бояться, собаки кусаются», — продолжая эту историю, автор рассказа Иван Рыжов всерьез задумался над переживаниями мальчугана и поведал нам, что дальше события развивались не менее напряженно и стремительно. Любопытство взяло верх, и Витька все-таки оказался за оградой. Но и там сомнения преследовали его. И не только сомнения. Детское воображение бурное, а поэтому вскоре мальчишке подумалось: не гиппопотам ли, о котором папа вчера читал, вышел ему навстречу? Мы улыбаемся. А Витьке было не до смеха. Собака стала обнюхивать Витькины следы. Малыш в ужасе зажмурился и подумал: «Все, теперь съест...»

А когда узнал, что собака охотничья, что бояться ее не надо, то радостно засмеялся и побежал рассказать отцу о своем открытии.

Иван Рыжов так и назвал свой рассказ «Открытие». А разве открытие мира во всех его цветах и подробностях не самое главное и занимательное на заре жизни нашей? В загадочности каждого нового дня, каждого встреченного явле-



ния сокрыта большая лирическая сила, дарующая нам радость. И через многие годы эта радость вспоминается нам, и становится вновь светло от давних переживаний. Любому из нас на всю жизнь безмерно памятна и дорога страна по имени «Детство», где русалочьим смехом смеются осыпанные сережками березы на весеннем ветру, где отливают золотом и тихо шепчутся усатые колосья летних полей, где бьют под горой родники живой воды. И до чего же здорово заглянуть мысленным взором в эту страну и омыть свою душу живой водой неповторимых впечатлений!

Радость свидания с детством придает лирическую окрыленность рассказам Ивана Рыжова, собранным в книге «Открытие», только что выпущенной Приокским книжным издательством и украшенной сердечными и выразительными рисунками ныне покойного Вячеслава Пуршева.

Из этой книги дети узнают, как Витька и Гошка Черенцовы, утопая по пояс в снегу, протапывали дорожку маме («Глубокая дорожка»), как Андрейка Бегунков боялся парикмахерской, а потом все-таки стричься пошел — захотел быть красивым («Красивый»), как Алешка, сидя на крыльчке, громко песню пел («Для мамы»), как неутешно плакал Юрка, разорив гнездо, и птенчиков стало жалко («Горькие слезы»).

Детям вынь да положь занимательный сюжет, чтоб и весело было, и даже страшно. Писать можно для них только тогда, когда хорошенько узнаешь их душу, а вернее, в своей обнаружишь неуправляемую тягу к детворе, жажду мальчишества. Иван Рыжов должен быть благодарен силам, пробудившим в нем эту жажду. Читатель ему скажет спасибо за теплоту и искренность рассказов, согретых добродушной улыбкой взрослого, за родниковую прозрачность описаний природы. Многие места хочется перечитывать вновь и вновь.

...Сборник «Открытие» адресован детям, но он интересен и взрослому читателю. Говоря о его достоинствах, нельзя обойти молчанием иллюстрации художника. Вячеслав Пуршев сумел сделать свое открытие живописного и яркого мира героев Ивана Рыжова. Встреча с художником начинается прямо с талантливой обложки, где

394 перед нами встает перепуганный мальчуган в желтой майке, в непомерно длинных штанах, с маленькой лопаткой в руке. И тут же большущая собака, лениво оглядывающая мальчугана.

Листая книгу, мы с интересом рассматриваем мальчика у окна, обставленного тронутыми оттепелью деревьями, любуемся заснеженными домами города, красотой летнего леса, улыбаемся, видя Андреюку в кресле парикмахерской. Мальчишек много. И у каждого художник отметил особое очарование, каждому передал красоту своей многогранной души, которая так была отзывчива к детям.

*В. Катанов.*

*«Орловский комсомолец», 1968 г.*

## Горькая рябина.

Тула, Приокское книжное издательство, 1976

## Зов земли

Прозаик Иван Рыжов живет на Орловщине, на исконно русской земле. Это человек, навсегда покоренный родными сельскими просторами, влюбленный в поэзию крестьянского труда. Он с детства знает, насколько этот труд тяжел и как в то же время захватывает без остатка. Это писатель-однолюб, приверженный одной заветной теме. Такое впечатление выносишь по прочтении его книг. Все они — и «Под одной крышей», и «Кинь Грусть», и «Последний корень» — посвящены людям советской деревни. И новая его книга «Горькая рябина» рассказывает о том же — о хлебопашцах, о тех, на ком держится мир.

Сборник населен прекрасными русскими людьми-тружениками, простыми, сердечными, работающими. Знакомишься с ними, радуешься каждой встрече, и становится тепло от сознания, что таких людей много в нашей жизни и все они — твои современники. Это лесник Аверь-

яныч («У Аверьяныча»). Он без леса, без забот этих не мыслит жизни. Это пастух Илья Разоренов («Новый дом»). Он здоровье на войне потерял, перенес много горя и лишений, но сохранил душу живую.

Всех героев Рыжова не отпускает, тянет к себе, зовет земля. Вот слесарь Матвей Козлов из рассказа «Запах земли». В войну он потерял всех родных, деревня его сгорела; он поселился в городе и прожил там уже восемнадцать лет. Но дом его на окраине, близко к полям и перелескам, и каждое пробуждение весны вселяло в него беспокойство, его тянуло в родную деревню, а когда он побывал в отпуске на родине и поработал на тракторе, то и вовсе потерял покой. Матвей окончательно решает переехать в деревню и работать на земле.

Отношением человека к работе, к любимому делу поверяется у Рыжова характер героя. Даже о солдате писатель говорит: «...воевал старательно, будто делал нужную и привычную работу». Ивановна из одноименного рассказа, старая больная женщина, давно на пенсии, но все время в работе — то в поле, то по дому; она искренне удивляется: «Как же без работы-то?»

Поступки героев Рыжова естественно вытекают из их характеров и привычек. Все они — и дед Гордей («Последний корень»), и Прасковья («Пенсия»), и Мария Милакова («Встреча»), и Клара Иванова («Горькая рябина»), и многие другие — самобытные, не похожие друг на друга люди, знакомство с ними обогащает, расширяет представление о людях нынешней деревни.

Рассказы Рыжова поэтичны, в них много душевного тепла, точных зарисовок деревенского быта с метко схваченными деталями. Для писателя характерно глубокое проникновение в суть характера, умение психологически обосновать поступки. Картины природы помогают раскрытию душевных движений, пробуждению души героев.

*Любовь Лёхтина.*  
«Литературная Россия», 1977 г.

Каждому из нас знакомо это особенное, ни с чем не сравнимое ощущение — держать в руках новую, только что изданную, пахнущую клеем и краской книгу и, предвкушая удовольствие, мысленно загадывать, что же она, эта книга, таит в себе? Чему она учит, какие жизненные откровения обещает? В чем состоит ее эмоциональный заряд? Прежде чем перевернуть первую страницу и углубиться в содержание, надеешься, что твои лучшие предположения сбудутся, что книга тебе понравится, заденет за живое, оставит след в душе. Новый сборник рассказов Ивана Рыжова, как всегда, оправдывает наши ожидания. Вчитываешься в этот сборник и словно переносишься в омытое степными ветрами раздолье сельских проселков, мелководных речушек и редколесья, будто вырываешься из душных кирпично-бетонных громадин на вольный воздух, туда, где еще слышится щебет птиц, стрекот кузнечиков, шелест яблоневой листвы, где по утрам свежо от росы, а вечером «все перебивает запах меда от ульев, молодого огуречника с огородов», где «слышно в вечерней тишине, как цыркают тугие струи молока о дно подойников...». Все достоверно и безыскусно в книге, все настоящее, неподдельное, как в жизни, как в реальной действительности. Никакой фальши, никакого нажима, авторского своеволия и насилия над героями — в этом, как мне кажется, и заключается главный принцип, главный девиз писателя.

Автор чуток и внимателен к своим героям. Долгой чередой проходят перед читателем обычные людские судьбы, раскрываются естественные в своих проявлениях человеческие характеры. Вот возвращается с войны в чудом уцелевшую деревню солдат Семен Назаров, с большим трудом переносит страшную весть о гибели своего отца, матери и сестры, расстрелянных оккупантами, затем дичает, замыкается в себе, многие годы живет ожиданием справедливой расплаты со своим обидчиком, бывшим старостой Мишкой Бычковым, а встретившись с кровным врагом с глазу на глаз, не может поднять на него руку («Расплата»). Вот сла-

босильный, обремененный семьей, ершистый и вспылчивый колхозный пастух Илья Разоренов с вольнолюбивой душой степного кочевника («Новый дом»), вот хлопотливая, неугомонная, равнодушная к славе Марья, за которой не угнаться в любом деле — «и снопы ловко вязала, и за плугом легко ходила...» («Из двух щепок»). В рассказах Ивана Рыжова немало таких неброских с виду, не всегда успевающих за стремительным бегом времени действующих лиц, добрых и разных, терпеливых и выносливых, с чужинкой и без нее. И все они выросли корнями в родную землю, все заняты привычным крестьянским трудом, без которого их просто невозможно представить. «Как же без работы-то? — удивляется героиня одного из рассказов писателя. — Одной, как сычу, сидеть в избе...».

Многое в рассказах Ивана Рыжова навеяно воспоминаниями детских лет, воспоминаниями, как известно, самыми дорогими, самыми сильными, самыми важными в формировании личности. Впечатления детства помогают писателю зорче видеть, отчетливей представлять людей, глубже разбираться в жизни. А один из его новых рассказов целиком посвящен возвращению в милые сердцу отчие края («У Аверьяныча»).

Заурядный, бесхитростный сюжет: вырвался наконец герой-рассказчик из городских теснин в родную деревню, уже на дальних подступах к ней заволновался, забеспокоился от нетерпения, с чувством радости и умиления стал узнавать знакомые дороги и овраги, удивляться всему новому и непривычному, прислушиваться к здравым рассуждениям гостеприимного хозяина, грустить об ушедшем времени. Побывал он и на лесном кордоне, и на колхозной пасеке, встречался с разным народом и, расстроганный и просветленный, вернулся в город, вернулся с твердым намерением следующий свой отпуск обязательно провести здесь, в родной деревне, среди близких ему людей. Так заканчивается внешняя канва повествования. Но за этой незамысловатой историей проглядывает и другой, более значимый пласт, основной смысл рассказа: серьезные авторские раздумья о том, что делается с ней, современной деревней. Какие необратимые процессы в ней про-

398 исходят, чем они объясняются? Почему не везде берегут землю, почему оскудели покосы, а колхозная пасека стала убыточной? Откуда взялась эта настораживающая про-  
 слойка молодежи, те самые «полупролетарии», которые и от села оторвались, и к городу не пристали (приедут в суб-  
 боту, расхлестанные, развязные, «позубоскалют, а то и подерутся, а в воскресенье с полными сумками сызнова в город...»)? А главное — что будет, когда нынешние пяти-  
 десятилетние мужики и бабы уйдут на пенсию — кто за-  
 менит их? На чем тогда держаться деревне? Все эти слож-  
 ные, невыдуманные проблемы и явления вызывают у  
 автора законную тревогу.

У Ивана Рыжова зоркий глаз, острое зрение. Он уме-  
 ет подметить, как ранней весной дымятся паром в  
 полдень первые проталины, как в жаркую пору струится,  
 переливается над полями знойное марево, как в сумер-  
 ках сонно и устало кричат грачи, угольно чернея на  
 верхушках засохших тополей.

...Дочитана последняя страница. Закрываешь новый,  
 со вкусом оформленный художником В. Погореловым сбор-  
 ник рассказов Ивана Рыжова с чувством уважения и бла-  
 годарности к писателю, который идет своей собственной  
 дорогой, с упорством старателя-золотодобытчика разра-  
 батывает одну-единственную, но очень важную тему.

*Л. Сапронов.*

*«Орловская правда», 1977 г.*

## Горькая рябина

Удивительная пора — детство! Она оставляет такие  
 впечатления и воспоминания, которых хватает на всю  
 жизнь, и ничем их не сгладишь и не вытравишь. Сколько  
 лет назад кончилось мое деревенское детство и отроче-  
 ство! А мне все видится наше село, залитое праздничным  
 утренним солнцем, видятся огромные лохматые ветлы,  
 усыпанные грачами, галками и воронами. В ушах еще сто-  
 ит их ярмарочный яростный гомон. А ведь уехал из де-

ревни почти сорок лет назад. Но и сейчас, проезжая по Ярославскому шоссе свою деревню, я все пристально присматриваюсь к месту, где стояла наша, четвертая от церкви, изба. Ее давно нет, нет и рябины, которую я посадил тогда, — спилили. Знаю это. А все как-то не верится. А вдруг ошибся? А вдруг есть?!

Иван Рыжов родился в орловской деревне Коровье Болото, там прошло его детство. И оно оставило глубокий след в его памяти, в его сердце. Человек, который вырос не в деревне, — будь он трижды чувствителен и наблюдателен, — не смог бы с такой любовью, радостью и болью написать о ее природе и людях, их заботах, тревогах, стремлениях, не смог светом их красивых душ озарить свои рассказы.

Лет семь назад прочитал я впервые рассказ Ивана Рыжова «Новый дом». А вот сейчас лишь пробежал глазами несколько первых фраз, как вспомнился мне весь он — до мельчайших бытовых подробностей, до самого незаметного движения души пастуха Ильи Разоренова, отца четырех детей, который с войны вернулся больным, но по-прежнему влюбленным в землю. Он отдает ей все и безоговорочно считает, что его «дети подрастут и станут помогать матери, ему, станут работать на тракторах, на фермах — будут пахать землю, сеять, доить коров» — делать извечную и такую необходимую крестьянскую работу, без которой Илья Разоренов не мыслит и жизни.

Живет он трудно и неудобно — еще не поднявшийся после войны колхоз ничем не может помочь ему, и он не в силах «достроить новую избу». А «старая уже стала ветха, покосилась на один бок, матицы сгнили, провисли — вот-вот завалятся». Но даже в самую трудную минуту он по-настоящему болеет за дело, которое ему не просто поручено, но дорого.

Неискоренимой любовью к земле, тягой к ней наполнены многие другие рассказы книги — «Запах земли», «На покосе», «Последний корень», «Ивановна»...

В нашей деревне сейчас происходят огромные перемены — увеличивается оснащение техникой, улучшается быт. И конечно, это связано с ломкой привычек, с переменной местожительства многих и многих тысяч людей. Все

400 это проходит нелегко. И если мне дорога рябина, которую я посадил в детстве, и никак не могу смириться с тем, что ее уже нет, то как же этим тысячам людей дороги избы, поставленные их отцами и ими самими, как же дороги сады, посаженные их руками, — это дело всей жизни. И вдруг приходится покидать все, начинать заново...

Об этом думает Иван Рыжов, болеет за деревню, принимает близко к сердцу ее заботы и волнения. Поэтому и подавляющее большинство его рассказов посвящено деревне. Это похвальная последовательность. И не беда, что некоторые рассказы (например, «Последний корень» и «Ивановна») как бы повторяют друг друга, что у деда Гордея много общего с Домной Ивановной — писатель озабочен судьбами этих людей, а они при всем их разнообразии во многом сходны... К этому циклу рассказов примыкают «У Аверьяныча», «Встреча», «Пенсия». Последний из них не только сердечен и по-хорошему трогателен. Несмотря на тяжелое положение, в котором оказалась его героиня Прасковья Никитична, он полон веры в доброту людей, в справедливость, он зовет к чуткости, к человечности.

Рассказы Ивана Рыжова населены людьми, у каждого из которых свой характер, свое лицо, свои оправданные ситуацией поступки, своя речь. Они взяты из жизни. Этим они и привлекают меня, как, надеюсь, привлекут и многих читателей этой книги.

*Николай Старшинов.*

*Ж-л «Молодая гвардия», 1978 г.*

Блажной.

Мосфильм. 1979. Реж. А. Васильев

Дебют в «Дебюте»

...Человек стоял перед небольшой осенней рощицей. За верхушками деревьев тихо всходило новорожденное солнце. Человек стоял и слушал, как ветер гудит и шелестит.



стит в кронах деревьев, как громко и радостно перекликаются птицы, и лицо его было серьезным и значительным. Из осенней рощицы выкатилась черная дворняга и опрометью кинулась к Матвею (так зовут нашего героя). Он опустился на траву у кромки поля и, поглаживая ошалевшую от лесных запахов собаку, вновь задумчиво уставился в близкую земную и небесную даль...

Этим лиричным планом создатели фильма «Блажной» начинают свою ленту. Кадр восходящего солнечного диска просиял золотом до белизны. Он заполняет почти весь экран, и на его фоне проходят титры: «Экранизация одноименного рассказа Ивана Рыжова. Производство молодежного экспериментального творческого объединения «Дебют» киностудии «Мосфильм». Работа над фильмом на киностудии заканчивается, и скоро зрители, и в первую очередь орловцы, смогут увидеть его на большом экране.

Создатели картины — дебютанты. Режиссер-постановщик Антон Васильев, оператор-постановщик Борис Бондаренко, директор картины Александр Каменский.

Имя виновника торжества — орловского писателя Ивана Алексеевича Рыжова — тоже впервые на экране. Жизненная тема, глубокая, патриотическая, нравственная основа его рассказа «Блажной» заинтересовали молодого режиссера. Сам Антон Васильев говорит, что самым сложным для него было выбрать тему. Пересмотрел много предлагавшихся сценариев, интересных и даже «прокатных», но резонанса, душевного настроения ни один не вызвал. Но вот в руки выпускника ВГИКа попала книга прозаика Ивана Рыжова «Горькая рябина». Герои его рассказов, казалось бы, внешне не примечательны, обыкновенные труженики деревни. Но как реалистичны портреты современников, как точно и живо они раскрывают сложность и драматизм глубинных жизненных процессов.

— Меня, — рассказывает режиссер, — привлекли чувство меры, внутренняя прозорливость писателя.

Мой режиссерский выбор остановился на близкой мне теме. Я бы ее назвал темой возвращения, ставшей теперь уже достаточно модной, однако в данном случае решенной

402 оригинально. «Блажной» как раз очень современен и диалектичен в решении этой темы.

Перевести тему рассказа на язык кинематографа помог известный сценарист Эдуард Володарский.

— В киносценарии, — рассказывает Эдуард Яковлевич, — я старался выразить основную мысль произведения И. А. Рыжова — чувство родины и жизненного призвания. В центре — образ рабочего Матвея, который, несмотря на долгие годы жизни в городе, несет в себе мечту возвратиться в родные края, когда-то опаленные войной, и трудиться на земле. Он сначала сталкивается с непониманием со стороны жены и сына и все-таки уезжает в деревню, чтобы в новых условиях продолжить честную трудовую жизнь тракториста. Так, хотя и поздно, осуществляется сокровенная мечта рабочего человека.

Полтора месяца шли съемки в подмосковном районном центре Коломна.

Раннее утро. Одна из съемочных площадок на городской автостанции. Все готово к работе: установлены съемочная аппаратура, дополнительная подсветка.

На местах режиссер Антон Васильев, его помощники, оператор. Актеры Георгий Иванович Бурков (артист Московского драматического театра имени К. С. Станиславского — исполнитель главной роли — Матвея) и актриса Московского театра им. М. Н. Ермоловой Наталья Сергеевна Архангельская (в роли Анны — жены Матвея) четвертый раз закончили репетировать сцену отъезда Матвея. План отработан, найден ракурс камеры, и, кажется, режиссер может дать команду: «Внимание! Съемка!». Но нет. Оператор уже смотрит не в камеру — на небо. Да, да, по сценарной разработке день должен быть солнечным. Вот и приходится ждать выплывающего из-за туч солнышка.

Я воспользовался погодным киноантрактом и попросил рассказать Георгия Буркова о работе над своей ролью. Известный актер Московского драматического театра имени К. С. Станиславского запомнился зрителям по фильмам «Зигзаг удачи», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину», «Ирония судьбы».

Георгий Иванович рассказывает:

— Играть Матвея — для меня значит утверждать образ положительного героя — таким он мне представляется по рассказу И. Рыжова. Мне импонирует рассказ Ивана Рыжова своим стремлением дать образ человека простого и умного, грубоватого и очарованного, беспокойного и основательного.

В разговор включается исполнительница женской роли — Анны — Наталья Сергеевна Архангельская.

— Чтобы играть без нажима и наигрыша, чтобы зритель верил тебе, надо не просто вжиться в роль — герой должен расти и развиваться внутри тебя, подобно человеку внутри организма матери. Тогда в костюме героя актер чувствует себя как в собственной рубашке, и остается только включить камеру... и сыграть.

Еще двадцать лет назад Наталья Архангельская дебютировала в роли Дуняши Мелиховой в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон».

Съемки в фильме Наталья Сергеевна совмещала со сценической работой: репетировала одну из главных ролей в спектакле лауреата Государственной премии СССР В. Распутина «Деньги для Марии».

В мосфильмовском «Дебюте» складывается добрая традиция — опытные кинематографисты помогают творческой молодежи.

Ассистент режиссера Клавдия Ивановна Николаева — ветеран кинематографа. Как сейчас Антону Васильеву, она в свое время помогала в съемках Василию Шукшину.

Эта помощь не мелочная опека или посягательство на право своего творческого решения.

— В съемочной группе каждый знает и четко выполняет свои обязанности, — говорит Клавдия Ивановна. — В этом и заключается лучшая помощь нашему режиссеру-постановщику.

Бережно к молодежи относятся члены художественного совета «Дебюта». Среди них признанные мастера режиссуры Г. Чухрай, И. Таланкин, Ю. Озеров, В. Ордынский, А. Михалков-Кончаловский.

— Свою задачу совет видит в оказании помощи молодым работникам кинематографии в их идейно-творческом

404 становлении, создании благоприятных производственных условий для постановок фильмов-дебютов. И по всему видно, старшим товарищам это удастся.

Когда познакомишься с молодыми дебютантами, их работой, чувствуешь у них ответственность за свою творческую биографию, за искусство, которое становится делом их жизни. И хочется им пожелать счастливого дебюта в «Дебюте».

*В. Максимов.*

*«Орловский комсомолец», 1978 г.*

## По рассказу писателя-земляка

В Орле состоялся общественный просмотр короткометражного художественного фильма «Блажной». Лен-та создана на киностудии «Мосфильм» по рассказу орловского прозаика Ивана Рыжова.

Режиссер-постановщик фильма — Антон Васильев. Эта первая работа молодого режиссера получила высокую оценку художественного совета киностудии «Мосфильм».

В дни, когда состоялся дебют картины, автор рассказа и режиссер фильма побывали на предприятиях Орла и Мценска.

Особенно волнующей получилась встреча со зрителями — тружениками колхоза «Новый путь» Мценского района: ведь именно душу сельчан в первую очередь должен пробудить этот фильм.

Его тема — тема возвращения к родной земле. В роли главного героя Матвея в «Блажном» снимался известный актер Георгий Бурков. Его жену Нину сыграла актриса театра имени Ермоловой Наталья Архангельская.

Успех дебюта в Орле был предопределен и мастерством орловского писателя, и творческой удачей молодого московского режиссера. Скоро фильм Блажной появится на экранах страны.

*В. Максимов.*

*«Орловский комсомолец», 1979 г.*

## Звезды в травах.

405

Тула, Приокское книжное издательство, 1989

## Запах земли

«В последние годы опять напала на него жгучая тоска по своей деревне, по земле — хотелось ему пахать, сеять, делать привычную, но теперь далекую и оттого еще более желанную крестьянскую работу», — так говорит об одном из своих героев Иван Рыжов в рассказе «Запах земли». Его новый сборник с поэтическим названием «Звезды в травах», как и прежние, посвящен людям деревин. Тяга к земле, к труду пахаря, косаря, лесника характерна для всех, о ком пишет И. Рыжов. «Кто ж тебя хлебушком-то кормить будет? Аль булки в городе сами растут?» — говорит Илья Разоренов из рассказа «Новый дом». Труд, испокон века привычный русскому человеку, ощущается и как необходимая составляющая его духовной жизни.

Поэтому через 30 лет возвращается в родное село Николай Самохин («На могиле немца Бруно»), рвется в деревню Матвей Козлов («Запах земли»), не хотят переезжать со старого хутора Гордей и Елифан («Последний корень»). Вот как рассуждает дед Гордей:

«Кино — интересная штука... И при электричестве дуже хорошо... Но оторваться от родного корня, с которым связана пуповина... Оторвись, и она в один момент размотается...»

Теряют часть себя, душевно беднеют те, кто покидает свое село, перестав быть деревенскими и не становясь настоящими горожанами. Забыв свою малую родину, иногда забывают они мать и отца. Печально доживают одинокий век бобыль Самсоныч («Кинь Грусть») и Настя («Под одной крышей»), ждут хоть письмаца от детей, которым вся жизнь отдана.

У двух рассказов сборника есть подзаголовок, который определяет всю книгу, — «Из деревенских встреч». Некоторые страницы явственно выдают в авторе бывшего жур-

406 налиста, который изъездил глубинку, исписал не один блокнот, видел людей самых разных, жил их горем и радостями. Малым оказался для таких героев, как Аверьяныч («У Аверьяныча») или Филипыч («Ночной огонек»), объем очерка, они надолго запали в душу, захотелось чего-то большего, чем статья. Так, наверное, и появились эти рассказы.

Часто герои Ивана Рыжова, слыша фальшь в разговоре, бросают собеседнику хлесткое: «Буровишь лишнее». Такое обвинение не предъявишь автору: он хорошо знает то, о чем пишет, его деревня настоящая, правдивая. Проблемы, которые он ставит в своей книге, тоже не надуманы, а вполне конкретны. Увидел их журналист, а сформулировал писатель. Хорош язык сборника. Так и представляются «томительно тихие вечера и сладкое цоканье соловьев, зеленовато-бледные долго, почти до утра не гаснущие закаты, глянцевитые, сухо позванивающие овсы, сизо-зыбкие дали».

Есть в книге рассказ о земляке И. Рыжова Иване Алексеевиче Бунине — «Лебедушки». Органично вписывается этот рассказ в сборник. Ведь он о том же, чему посвящена вся книга, — о русской природе, удивительных русских людях, русской деревне.

Счастлив лирический герой автора, когда он косит с рассвета вместе с деревенскими жителями. Усталый до дрожи в руках, когда пот застилает глаза и, кажется, остается только упасть и заснуть, он ощущает свою тесную связь с предками, с Родиной. Последние слова рассказа «На покосе»: «И мы будем вместе с ними, со всеми. И так бы всегда, вечно...» Эта фраза и есть лейтмотив всего сборника Ивана Рыжова «Звезды в травах».

*М. Георгиева.*

*«Литературная Россия», 1984 г.*

## Звезды светят людям

Вышла из печати и появилась в продаже книга орловского прозаика Ивана Рыжова «Звезды в травах». В нее включены несколько ранее опубликованных и новые рас-

сказы. Писатель остается верен главной теме своего творчества — теме родной земли, преобразуемой трудом крестьянина. Героями большинства рассказов выступают, как правило, люди уже немолодые, прожившие нелегкую жизнь, хлебнувшие горя в годы войны, перенесшие трудности послевоенных лет.

Разными средствами автор выражает свое «необыкновенно доброе», как справедливо отметил в предисловии к книге М. Колосов, отношение к деревенским героям. Симпатией наполнены портретные характеристики. Каждый персонаж в обрисовке автора обладает своей неповторимой индивидуальностью. По отдельным приметам можно создать представление обо всем человеке. Описания внешности всегда разные, автор всякий раз находит новые слова, создавая жизненно достоверные образы.

Герои большинства рассказов не только внешне обаятельны, они покоряют своим нравственным здоровьем, чистотой помыслов, душевной щедростью, не остывшей с годами любовью к труду, страстной привязанностью к родным местам, к земле-кормилице. Автор не скрывает своего восхищения, когда, например, пишет о передовом трактористе Иване Егоровиче, чья фотография висит возле правления, о пастухе Илье Разоренове, о кузнеце Егоре Петровиче, слава о хорошей работе и честности которого разнеслась далеко вокруг, о колхозном механике Филиппче, чей рабочий день длится с утра до темной ночи.

Сельских женщин автор также изображает в привлекательном свете. Это хлопотуньи, вечные труженицы. Они отдыхают, работая, а работают по-праздничному. Читатель, безусловно, проявит интерес к Татьяне Савельевне, знающей великое множество старинных русских песен, не останется равнодушным к красавице Марье, матери четверых детей, сохранившей трепетно-нежные отношения с мужем; найдет поучительное для себя в судьбе Домны Ивановны, дожившей до пенсии, но по-прежнему не знающей отдыха; отзовется на душевные переживания Пелагеи, разрывающейся между горестным предчувствием скорой смерти мужа и радостным ожиданием появления на свет внука.

На примере судеб героев И. Рыжова видишь, какие глубокие изменения произошли в нашей орловской деревне за годы советской власти. Дело не только в том, что краше стали села («дома белеют шифером, нарядно рябят голубыми, зелеными, синими наличниками, ставнями, высоки и просторны с виду»), что телевизор стал обычным предметом в деревенском доме, что пожилые колхозники получают теперь пенсию. Главное в том, что изменились психология крестьянина, весь строй его мыслей, стало новым — социалистическим — его сознание. В безвозвратное прошлое ушли времена, когда крестьянских детей отдавали в услужение к богачам, а девушек волею родителей спроваживали замуж без всякой любви. На другой основе строятся теперь взаимоотношения людей в селе, нынче не по богатству оценивают человека, а по его труду, по его вкладу в общее дело. Примечательно, что герои-труженики в рассказах — всегда честные, порядочные люди; труд связывает их с судьбой колхоза, с другими людьми, труд облагораживает, смягчает их души.

Пожилые крестьяне являются, с точки зрения автора, хранителями исторического опыта, они помнят прошлое, они созидали новую жизнь, они, словно звезды, излучают вокруг себя ясный, чистый свет.

В иных условиях формируется судьба подрастающего поколения. На страницах книги можно услышать крик новорожденного, увидеть босоногих мальчуганов и девочек, здесь живут своими заботами школьники, подростки, появляются невесты, женихи, возникают новые семьи. Словом, нить жизни не прерывается. Молодежь усваивает опыт старших, в чем-то идет дальше, выстраивает свою жизнь по-новому. Отличительная черта молодых — тяга к знаниям. Дети и внуки нынешних крестьян-пенсионеров либо учатся в школе и готовятся поступать в профтехучилище, либо уже стали специалистами с высшим образованием и работают в своем родном колхозе. По образованности сыновья и дочери обгоняют своих родителей, в этом, по мысли автора, проявляется дух времени, сказывается рост общего благосостояния сельских жителей.



Многое радует в картинах сельской жизни, нарисованных писателем. Из этого не следует, что в деревне все идиллически прекрасно. То в одном, то в другом рассказе с тревогой говорится о том, как редуют наши орловские села. Молодежь покидает родные места, устремляется в город. Писатель серьезно размышляет над этим явлением. Правда, глубокого анализа причин, обусловивших миграцию, нет в книге, в ней показываются лишь отрицательные последствия этого процесса. Автор с неодобрением пишет о так называемых «полупролетариях» — отдельных представителях молодежи, которые и рабочими настоящими не стали, и не колхозники уже.

Большее всего бегство молодежи из села отражается на судьбе родителей. В некоторых рассказах изображаются горестные переживания стариков, оставленных, забытых родными детьми. Нельзя читать без волнения рассказ «Пенсия», героиня которого Прасковья, оставшись в деревне одна, поддалась уговорам шалопутного сына Степки, продала дом, корову, переехала жить в город и дожила до такого черного дня, когда взрослый сын попрекает мать куском хлеба. Еще более горькие чувства возбуждают рассказы «Кинь Грусть» и «Под одной крышей», где изображены похожие ситуации. Оба рассказа написаны от первого лица, автор близко к сердцу принимает страдания героев, сопереживает им и гневно возмущается черствостью детей, забывших, бросивших своих родителей.

Органично вписываются в книгу рассказы с военными сюжетами. Эхо войны слышится на многих страницах, автор постоянно возвращается к суровому времени, особенно когда пишет о бывших фронтовиках. Сильное впечатление производит рассказ «Расплата». Композиция, сюжетная канва, языковые средства — все подчинено исследованию психологии человека, попавшего под власть мстительного чувства.

Война заставляла людей жить на пределе возможностей. К сожалению, не все, вернувшись с фронта, сумели сохранить высокий жизненный настрой, некоторые ослабли, удовлетворились малым. Герой одного рассказа Тихон Гастев «с шестью классами дослужился до капи-

410 тана, командовал ротой», а в мирное время не захотел утвердить себя в большом деле, стал жить серо, неприметно. Неожиданно врученная ему награда за боевые заслуги обостряет у героя чувство вины, слишком поздно понимает он, что должен был жить иначе.

В плане интернационального воспитания хотелось бы отметить пронизанный очищающей грустью рассказ «На могиле немца Бруно». Долгое время в нашей литературе о войне преобладали образы немецко-фашистских захватчиков, наших заклятых врагов. Сейчас возникает потребность показать и других немцев, не разделявших фашистской идеологии. Изображенный в рассказе германский солдат Бруно не был сознательным антифашистом, но он сумел сохранить в себе человека: подкармливал голодных русских детей, жалел их, а одному из них спас жизнь, заплатив за нее своею. Идея интернационального братства утверждается и в этюде «Гости», где описана встреча бывшего советского воина с немецкими писателями, приехавшими на орловскую землю.

Есть в книге рассказы, освещающие интимную сторону человеческих отношений. Душевные переживания, сладостные муки любовной тоски переданы тонко, проникновенно. Возвышающе действует на душу рассказ «Я жду теперь осень», свидетельствующий к тому же об успешном освоении писателем более сложной формы повествования.

Проза Ивана Рыжова насквозь лирична. Писатель не отдаляет от себя жизненный материал, а подает его через личное восприятие. Авторское «я» проявляется уже в том, что многие рассказы написаны от первого лица и повествователь выступает в них участником событий, активным собеседником. Голос автора слышен также в тревожащих душу вопросах, в обобщающих раздумьях над увиденным, в сопоставлениях личной судьбы с судьбами своих героев и в эмоциональных оценках. Постепенно вырисовывается сложный, емкий образ лирического героя.

Тонкая наблюдательность автора полнее всего раскрывается в восприятии природы. Пейзажные картины по-

ражают разнообразием, полны жизни, движения; писатель чутко улавливает и умеет передать словом запахи, звуки, цветовые нюансы природной жизни. Все живое, что запечатлел писатель, воспринимается как часть нашей большой Родины. Не случайно книгу завершает рассказ «Лебедушки». Это горькое повествование о трагической судьбе И. А. Бунина, лишившегося России, которую он преданно, по-настоящему любил.

*Е. Панкова,  
доцент кафедры  
советской и зарубежной литературы.  
«Орловская правда», 1984 г.*

## Зеркало.

Орел, «Вешние воды», 1992

### Неразбавленный орловец

Издательство «Вешние воды» выпустило новую книгу орловского прозаика Ивана Рыжова — сборник «Зеркало».

За творчеством Ивана Рыжова слежу давно, с конца шестидесятых. Наверно, поэтому в каждой его новой книге, в каждом рассказе я всегда радуюсь чувству явного узнавания — да, это пишет Рыжов и никто другой. Стилистика, психология, настроение, щемящая грусть и затаенная нежность в ощущениях своей какой-то затерянности или слиянности с огромным миром родной природы, любимой Орловщины. И вся природа, и все его герои, не важно, кто они — горожане или деревенские, — в творчестве Рыжова проходят через его сердце — насквозь, навывлет... Краткие рассказы — излюбленный жанр писателя. Наверное, повторюсь, сославшись на известное утверждение Бунина: «...надо писать совсем маленькие сжатые рассказы в несколько строк и что, в сущности, у самых больших писателей есть только хорошие места, а между ними вода».

412 Что касается меня, да не обвинят в пристрастности, в кратких рассказах Ивана Рыжова я нахожу только «хорошие места», настолько все в них емко, уместно, образно и лирично. И когда читаешь, чувствуешь большую наполненность маленького рассказа — вот первый план, внешний, а за ним другой, третий. Текст, подтекст...

Я люблю деревню в прозе Рыжова. Авторские раздумья о прошлом и настоящем, его печаль и тревога о будущем. Как ни верти, вся Россия родом из деревни, и еще неизвестно, кто больше приобрел — тот, кто умчался в поисках лучшей доли за призрачной городской жар-птицей, бросив родное гнездо, или тот, кто до последнего дыхания накрепко привязан к своей малой родине.

Сознательно не берусь перечислять названия отдельных рассказов из книги «Зеркало», не спешу отмечать в них какие-то повороты сюжетов и судеб. Потому что считаю: книгу надо взять и прочесть самому. Сколько разных голосов в этой книге! В них, своих героях — старушках, сельских парнях и молодухах, пенсионерах и трактористах, автор, как он пишет в рассказе «Зеркало», вдруг видит и узнает себя. И чему тут, собственно, удивляться? Ведь он тоже родом оттуда. Он не просто хороший русский человек, как говорит один герой из его рассказа: «А я коренной, я неразбавленный орловец, понял?»

Память о малой родине, о родной деревне все равно придает терпкий вкус его творчеству. Эта память, вечная и древняя, живет в его крови. Не случайно, думаю, иногда в своих рассказах он словно пробует на вкус «далекого по времени, но близкого японского поэта Басе». Прочитайте «Зеркало», и вы обязательно почувствуете то, что составляет прелесть кратких рассказов и всей прозы Ивана Рыжова — далекую по времени, но близкую Россию.

*Ида Грачева.*  
*«Поколение», 1993 г.*

## Зеркало красоты

413

С первого же рассказа «Настроение» Иван Рыжов завораживает картиной бодрого пейзажа: «Декабрьское морозное здоровое утро. Я иду в соседнюю деревню Зоревку... Дорога маслянисто-накатанна, мраморно-тверда, розовато блестит против солнца. Холодный, желто-каменный плоский диск солнца слепит глаза, льдисто-розово окрашивая большое снежное поле, темнеющие рощицы, былки прошлогодних трав по краям дороги, крупные сиреневые колчи земли».

Приятно идти вместе с автором по земле, где пахнет морозным сухим чистым снегом, где даже в сумерках наступающего вечера не покидает человека красота, подмеченная зорким, цепким, вдумчивым взглядом художника. При такой творческой манере будничная проза бытия становится праздником души, подлинной поэзией.

Что ни рассказ, то новые живописные картины. Там («Бог в помощь!») запоминается «высокое изумрудное небо, горько-сладкий нектар полевых цветов, мягкий стрекот кузнечиков», там («Ночь») «зернисто блестит снег от мертвенно-бледной на чистом низком небе луны», там («Ласковый») «пустой голубой берег, черные, как кружева, птицы в лазоревом небе», там («Восхищение») «река от ветра на середине блестяще-рубчатая, рябит, и в этой ряби упруго, весело прыгают, кругло дробятся лучи солнца». Яркими и точными мазками писатель рисует пленительный образ Родины.

Но этот образ был бы лишен главной жизненной силы, если бы автор прошел мимо людских судеб. Для короткого рассказа хватает порой одной фразы, чтобы заиграл-засветился оригинальный русский характер, проявилась личность. Вот старушка разливает тепло обаятельной души с помощью слов: «Бог в помощь!». Вот теплым вечером на земле, пахнувшей «пылью, коровьими лепешками, разогретой травой», слышится: «Земля что-то обнизилась». И в этом суеверно-тревожном бормотанье чудится нечто давнее-

414 давнее. Так говорили перед началом Смутного времени старушки на Руси в предчувствии грозных перемен.

Эпиграфом из Бунина («Как ни грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен») Иван Рыжов заявляет о верности красоте. Сдержанно, предельно кратко рассказывает о людях, потерявших в вихрях житейских свежестъ чувств, открытость души, молодую жажду общения. В рассказе «Пенсионеры» и того хуже. Бывшие начальники сходятся группами по чинам и толкуют о прошлом. «Кружась, как листья, все ходят и ходят» они по аллеям, «идут, не приближаясь друг к другу, в отдалении, как шли всю жизнь». Грустно, сдержанно и жестко. Прямо-таки по-бунински.

...Хорош «Мой Бунин» — сердечное признание в любви самому близкому писателю с эпиграфом: «Ангел отмечает некоторых особым знаком». Читая, вспоминаю нашу с Иваном Рыжовым поездку в Озерки, степной разлив колосистой нивы, разговор на пригорке с одним из жителей: он показывал в сторону, где жили Бунины, говорил, со слов своего старшего брата, как отец писателя приезжал из Ельца, садился у порога, играл на гитаре и пел. Далекое, хрестоматийное становилось совсем близким. Вспомнился летний вечер и бесконечный разговор, молодой и веселый, о Буinine, его странствиях и родстве с Орловщиной, о дивной красоте классических страниц.

Читая рассказы Рыжова, зажигаешься желанием уехать в деревню и вслушиваться там в живую, многоцветную речь стариков и старушек, расспрашивать их о пережитом. «Все чаще и чаще я стал вспоминать о ней, слышать ее голос, слова», — начинается рассказ «Бабушка Фрося». Это было с автором, это происходит с каждым из нас. Трогательно все в бабушке Фросе: и простота, и доброта, и близость к природе. Без нее нерадостно видеть хату под старыми кленами, тропку по-над огородами, вечернюю зарю, «будто кем натертую красным жженым кирпичом, над четко чернеющим вдали лесом».

...Иван Рыжов завершает свою книгу лирическим очерком «На тысячу верст кругом Россия...». Рассказывает о поездке в Спасское вместе с Евгением Носовым, одним из тех

замечательных россиян, на ком держится авторитет современной литературы. От восхищения парком Тургенева, природой среднерусских раздольев переходит к Бунину, с радостью находит родство двух великих Иванов. И тот, и другой выросли на народных песнях, сказках, былинах: «Одни корни, одна культура питали их, образуя, формируя их души, их творчество». Бунин мог бы не раз повторить слова, подобные тургеневским: «Точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни — есть величайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями».

Очерк о Тургеневе достойно венчает книгу — отличный подарок читателю в наши смутные дни, когда достоянием гласности то и дело становятся ложь, суэта, чудовищные мерзости, убивающие душу. Мы как-то забыли, что художественная литература в старину называлась изящной словесностью.

*Василий Катанов.*  
«Орловская правда», 1993 г.

## Позднее свидание.

Орел, «Вешние воды», 1996

## И это все о нас

*«Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле» (И.Бунин. «Сны Чанга»).*

*Эти мудрые строки взял эпиграфом для своей очередной книги Иван Рыжов. Книга хороша и по содержанию, и по оформлению. Последнее — заслуга прекрасного художника Николая Силаева и, конечно же, издательства «Вешние воды», выпустившего этот изумрудно-золотистый том.*

Поговорим о содержании. Уже само название книги — «Позднее свидание» — настраивает на лад грустный и светлый одновременно. И, между прочим, не зря: проза

416 Ивана Рыжова замешана на чувствах романтично-прозрачных, на легких таких вздохах сожаления... Нет, не об ушедшем, хотя и о нем тоже, но все-таки больше о чем-то здешнем, сегодняшнем, ускользающем и неуловимом.

«А закат все так же прекрасен, все та же умиротворяющая благодать разлита вокруг, а на душе уже отчего-то тревожно, уже какая-то печаль завладевает мною и сладко томит, томит...

Как странно и как хорошо!»

Это — вечная грусть художников о несбыточности знаменитой мольбы «остановись, мгновение, ты прекрасно»...

Не останавливается жизнь, красота ее, разлитая в каждом миге бытия, проливается сквозь время — проливается в никуда. И певцам остается лишь грустить. Но как чудесна эта грусть!

Орловец Иван Рыжов, лауреат Всероссийской Бунинской премии, написал немало, и написал разное. Однако почему-то рассказы шестидесятых («Длинные дожди», «Последний корень») удивительно гармонируют с этюдами девяностых, написанных и плотнее, и короче. И там, и тут — все та же безнадежно-сладкая погоня за ускользающим.

«...Вдали, у узкого устья длинного пруда, изумрудно светится, лениво колышется острая кинжальная осока. И орут, орут — волнами перекачивается курлыканье, томный крик лягушек, крик первобытный, радостно-печальный, почти человеческий, понятный...»

Но не думайте, что автор — этакий вздыхающий созерцатель. Бережно нанизывая на строку зоркие эпитеты, Рыжов порой вдруг вслед за этим выкидывает ядерное коленце: запускает в нас пахучее словечко, убийственно знакомое, потому что оно тоже из жизни. А жизнь — штука резкая, как та только что упомянутая осока. Залюбовался да и взрезал ею свою доверчивую плоть, а хуже того — душу.

И это тоже надо знать. И об этом тоже следует писать. И Рыжов пишет. Про «холмистую женщину», про «кобеля многоразового», про «плесневые лица с тухлыми глазами».



Удивительная эта смесь высокой лирики и почти что натурализма особенно присутствует в разделе «Настроение (краткие рассказы)». В этих картинках с натуры чего только не встретишь: и пьянство тут описано, и скабрезность человеческая, и обман.

«Фи...», — скажет «правильный» читатель. Тогда пусть выйдет на улицу... И в жизни, и в литературе «правильные» люди — обычно самые фальшивые.

«Позднее свидание» — книга многих лет. В нее вошли и уже публиковавшиеся произведения, такие, как «Аринкин хутор», «От праздника до праздника», и новые рассказы.

В каждом есть мы.

Ю. Оноприенко.

«Орловская правда», 1997 г.

## Читают и плачут

*«Серый день. Серые стены. Серая печаль. Мокрая согнутая изумрудно-яркая трава за широким окном, каменистый желтый берег металлической реки, темная старая заброшенная усадьба. И старые вековые редкие липы позади. И слезы, слезы... О ком? О чем? Печально, одиноко, щемяще-нежно!..»*

Эти и другие чудесные строки звучали на вечере, посвященном творчеству писателя Ивана Рыжова. Поводом для встречи любителей его произведений стала недавно вышедшая книга Ивана Алексеевича «Позднее свидание». «Орловская правда» первой опубликовала одобрительную рецензию на эту книгу, прекрасно изданную в писательском издательстве «Вешние воды». Отраднo, что читатели уже подтвердили правомерность нашего газетного отклика.

Встреча-презентация проходила в музее Бунина. Место выбрано не случайно. Рыжов — лауреат Всероссийской Бунинской премии, которой награждаются писатели, с особой трепетностью относящиеся к слову, тонко работающие с ним.

418      Выступали многие — и все говорили искренне. Актер Владислав Трахтенберг, не раз читавший рассказы Ивана Рыжова по радио, произнес проникновенные фразы о писателе. Аплодисментами встретили собравшиеся художника первой величины Николая Силаева, сделавшего иллюстрации к книге «Позднее свидание». Поэтесса Ирина Семенова, лауреат другой, Фетовской премии, уже не в первый раз публично призналась в любви к Ивану Алексеевичу. Литературовед Нина Максимовна Кирилловская сказала, что по Рыжову когда-нибудь будут изучать наше время. Тут же родился и термин «рыжововедение».

Разговор велся с добрыми улыбками — Ивана Алексеевича любят и как писателя, и как человека. Его собственное выступление было исполнено какого-то домашнего обаяния. Ответсек областной писательской организации Геннадий Попов сообщил, что с помощью книг Рыжова успешно решает проблему «отцов и детей» в своей семье.

Этому можно верить. Лирические строки Ивана Рыжова одинаково нравятся и пожилым, и молодым. Например, такие:

«Глухо, далеко, пустынно-гулко, как в пустой железной бочке, слышится из деревни зимний лай собак. Пахнет морозным сухим чистым снегом, далеким дымком, кислым мокрым навозом от недавно вывезенных куч...»

Воистину, во всем можно найти красоту, надо только уметь ее видеть и открывать другим. Рыжов умеет.

Поэтому так озадаченно примолкли почитатели, когда Иван Алексеевич шутовски пригрозил, что от своих любимых кратких рассказов собирается вообще перейти к произведениям сверхкратким, состоящим из одной-двух фраз, в стиле японских танка. Не надо скупиться, дорогой наш друг! Хорошего прозаика должно быть много!

*Ю. Оноприенко.*

*«Орловская правда», 1997 г.*

## Встреча.

419

Орел, «Вешние воды», 2000

## Живой свет

С удовольствием прочел новый сборник известного орловского, вернее российского, писателя Ивана Рыжова. В книгу, великолепно, сурово-сдержанно проиллюстрированную не менее известным нашим художником Николаем Силаевым, вошли краткие рассказы разных лет, публицистические заметки, портреты земляков, стихи, посвященные автору.

Основная концепция книги, на мой взгляд, емко сформулирована автором в интервью «Россия — любовь моя»: «Что нынче требуется от нас, писателей? Борьба против бездуховности. Это самая важная задача, ибо сохранить души — это сохранить Родину».

«...Настоящее искусство всегда приносит радость, очищает и приподнимает как-то выше, вызывает слезы благодарности», — говорит Иван Алексеевич в другом месте книги, в очерке о прекрасном русском писателе Юрии Казакове. Эти слова можно отнести и к творчеству нашего земляка.

Открываю наудачу страницу тридцать пятую, перечитываю рассказ-миниатюру (а любой краткий рассказ писателя — не больше страницы, а то и нескольких строк!) «Как хорошо!»: «...Уже полдень. Солнце стоит высоко, печет в запыленные грязные окна автобуса. И бегут, бегут коротко остриженные убранные ржаные, пшеничные поля, на миг останавливает взгляд ржавое гречишное поле, и замирает сердце от вида тихого зеркального пруда, промелькнувшего и исчезнувшего за окошком. И этот лес по дороге — длинный, нескончаемый... А впереди — праздник, друзья детства, соседи...

И я уже не слышу ничего, отключаюсь, воображаю и вижу явственно их.

Как хорошо!»

«Как хорошо!» — хочется воскликнуть вместе с автором, справедливо рассуждающим в уже упомянутом выше интервью «Россия — любовь моя»: «О своих кратких рассказах скажу так. К подобному жанру прибегали Бунин, Тургенев. Из современных писателей отдали им дань Астафьев, Бондарев, Крупин и другие. Короткие рассказы, порой состоящие из нескольких абзацев, дают возможность отозваться на злобу дня, философски осмыслить факты жизни...». Именно это и удастся Ивану Рыжову, пишет ли он о стариках, о проблемах литературы и русского языка, о горячо им любимой сельской или городской природе, о любви, наконец...

Аккордом, не оставляющим равнодушными, звучат глубокие, драматичные, а порой и трагичные мысли писателя о современной действительности, о нашей горькой «живой» истории, представленные в разделе «Публицистика, заметки, зарубки на память». Одни названия очерков чего стоят: «Спаси и помилуй», «Не обмануться», «Стыдобушка», «Абсурд»... Писатель резко ставит наболевшие проблемы, мучительно ищет ответы, приглашает, нет — призывает нас всколыхнуться, прийти в себя, спасти родную землю.

Найдет читатель в этом разделе книги и лиричнейшие строки о дорогом сердцу каждого орловца тургеневском Спасском (очерк «На тысячу верст кругом Россия...»): «...встаю — в незашторенные, открытые окна слабым странным светом светит луна, на траве и в парке на ветках мигают, гаснут и опять вспыхивают огненными точками светлячки, словно зовут куда-то; и куда-то падают и падают, срываются с куполообразного синего неба мелкие золотистые звезды; и в этом рассеянном лунном свете, зеленоватых огоньках, блуждающих на земле и небе, серебристом блеске глянцевого, литых дубовых листьев есть что-то знобяще-мучительное, загадочное и прекрасное одновременно...».

«Утро. Мороз, синее чистое небо. И я говорю себе: «Еще не вечер. Еще далеко не пропала (и не пропадет) Россия. Пусть Господь Бог наказал нас за грехи наши, пусть человек в миру познает о себе слишком многое, пусть

и очистится...» — пишет Иван Рыжов в очерке «Муки наши». Именно нашему очищению помогает новинка издательства «Вешние воды», которой автор нашел точное название — «Встреча» 421

Рад, что эта встреча состоялась!

*Вадим Еремин.*  
*«Орловская правда», 2001 г.*

## • СЛОВА И РЕЧИ<sup>1</sup> •

### Букет пурпурных астр

Мне не раз приходилось бывать в Орле. Но в тот день я впервые приехал сюда в качестве корреспондента центральной газеты. И приехал я с определенной целью — написать очерк о девушках-трактористках. Время, как и теперь, было напряженным — в разгаре была «холодная война». В случае чего, ребята уходили на передовой край, а девушки снова, как и в годы Отечественной войны, должны были занять их места. Мое задание — поддержать инициативу орловских девчат.

День выдался тихий, теплый, солнечный. Терпко пахнет опавшими листьями, в чистой воде отражаются деревья и высокое безоблачное небо, и от этого река кажется глубокой и бездонной. По далекому пригорку, как цветы, рассыпались на блестящем зеленом бархате травы ребятишки из детсада. А дальше, до самого горизонта виднеются сжатые поля и побуревшие скирды соломы. Воздух спокойный и прозрачный; медленно летят паутинки.

Мы стоим над обрывом Орлика, который, по словам Н. С. Лескова, вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город. Среди пятнадцати имен писателей первым, конечно, называется И. С. Тургенев.

Вот и это место, этот обрыв и спрятавшийся в кустах сирени старинный особняк с полукруглыми окнами — тур-

---

<sup>1</sup> *От составителя.*

В разделе собраны как ранее опубликованные юбилейные поздравления, так и написанные специально для данного издания тексты. Материалы, публикующиеся впервые, отмечены знаком \*.

геновские: это и есть то самое бывшее «дворянское гнездо», которое мы знаем по роману великого писателя.

С памятными местами Орла меня знакомит влюбленный в свой край, мягкий лирик по натуре, Ваня Рыжов – молодой местный журналист – сотрудник молодежной газеты. До застенчивости скромный, Ваня будто мимоходом, не навязчиво, но упорно старается как можно больше рассказать мне о родной земле – ее красоте, ее истории, о людях, о местах. Этот белокурый паренек обладает завидным даром замечать и запоминать хорошее, удивляться и восторгаться открытыми им прелестями в природе, в человеке, в литературе.

Когда я высказал желание познакомиться с интересными людьми, Ваня оживился, глаза его заблестели:

– Ну как же, как же! Ой, как много у нас, о ком стоит написать!.. Да, много, много, да!..

И он стал рассказывать о своих встречах, рассказывать увлеченно, с мельчайшими подробностями, с тонко подмеченными деталями.

– Девушки-трактористки мне нужны, – уточнил я.

– В Залегощи – девочки! Прелесть – что за девочки, да – прелесть! Я их всех люблю, да – люблю. Вот к ним мы и поедem, это и недалеко. Только прежде заедem в Спасское-Лутовиново, поклонимся тургеневским местам.

Узнав о наших планах, редактор молодежной газеты, где работал Рыжов, Геннадий Харитонов – высокий, чернявый, с большими, похожими на крупные спелые каштаны, глазами парень изъявил желание поехать с нами.

Сборы были недолгими: уже через полчаса наша машина мчалась по Симферопольскому шоссе. Ребята шутили, рассказывали смешные истории и тут же успевали обратить внимание на какую-то достопримечательность, мимо которой мы проезжали. Неожиданно Рыжов хлопнул Харитонова по плечу:

– Ген Иванович – цветы! – и умоляюще стал просить остановиться. – Девочкам букет привезти – они будут рады.

Машина остановилась. Справа, насколько хватало глаз, раскинулась плантация, похожая на пестрый ковер, – поля

424 цветководческого хозяйства. Ребята вышли из машины, постояли, высматривая сторожа, и, не увидев его, медленно, как воришки в чужой сад, направились к цветам. Я понастоящему волновался за них, да и за себя: вдруг сторож объявится, шум поднимется, скандал, неприятность... «Молодые, увлекающиеся, — подумалось. — Наверное, они как-то не так поняли мое желание познакомиться с девушками. И цветы не стали покупать в киоске, а пошли добывать с риском для себя. Говорят, девушки такие цветы больше ценят. Все это так, но я ведь еду по делу...»

Обратно ребята возвращались быстрее, трофей — большой пук пурпурных астр — нес Геннадий. Крупные, как подсолнухи, головки цветов местами были прихвачены утренником, нежные лепестки кое-где поблекли, но несмотря на это букет был свеж и пылал ярким огнем. Положенный у заднего стекла, он неизменно привлекал к себе взоры прохожих.

— Чем же славны залегощенские девчата? — уточняю я у ребят.

— О да, да! Девчатки действительно славные! Вот увидите! — отвечает восторженно Рыжов своим необычным говорком, который не перестает покорять меня какой-то естественной первородностью.

В совхоз мы приехали уже под вечер.

Висевшая над столом лампочка горела тускло, вполнакала. Ее рыжеватый свет еле оттеснял в углы комнатный полумрак, который осторожно наступал оттуда, намереваясь поглотить сидящих. Настроенный на «Маяк» с белой ребристой облицовкой транзистор лил мягкую вечернюю мелодию.

За столом нас много, человек десять, уже около часа о чем-то беседуем, но непринужденный разговор никак не завязывается. Девушки сидят на диване, втиснулись в него все четверо и, как перепуганные птенцы из гнездышка, робко поглядывают на нас, стыдливо улыбаются, прячут глаза, иногда отвечают на вопрос, чаще же — лишь пожимают плечами.

Хозяйка дома — тетя Маша уже второй раз наполнила тарелку пахучей рассыпчатой отварной картош-



кой и третий раз вышла за огурцами – они у нее особенно хороши: твердые, ароматные, вкусные, – а разговор все еще тянется туго, как густой мед через узкое горлышко бутылки.

Чтобы разрядить обстановку, дядя Гриша – отец одной из девушек – наклоняется ко мне, горячо дышит в самое ухо, шепчет:

– Вы попросите их спеть. Они же поют как! У-у-у!.. – он крутит головой от удовольствия. – Все в хоре участвуют.

Ваня Рыжов слышит наш разговор, уточняет:

– Да, да! Это правда: во время зонального смотра сельской художественной самодеятельности их хор получил звание лауреата.

Просить девушек петь мне почему-то неудобно, да и не хочется: я ведь не за песнями приехал, и нужны мне не певички, а трактористки.

Сижу, прислушиваюсь к разговору, рассматриваю девушек, обращаю внимание на их руки. Ваня Рыжов советовал обращать на руки особое внимание: по ним можно узнать о профессии человека. Но тут это сделать трудно. Руки у девушек белые, нежные, ногти ухожены. Такие руки бывают у студенток, у артисток, у канцелярских работников.

И вдруг, как-то совсем незаметно, будто из приемника полилась протяжная песня. Голос, запевший ее, был необыкновенно чист. Боясь спугнуть песню, я сидел, не шевелясь. Я уже догадался, что запела Валя Должикова – круглолицая, розовощекая в зеленой кофточке девушка. Она сидит крайней слева, и именно оттуда я слышу песню.

*Пойдем в мой край,  
В поля, в луга Орловщины,  
Нигде я лучше края не встречал.*

Песню подхватил другой голос – такой же чистый и нежный, только чуть помягче и немножко робкий. Это запела беленькая, хрупкая девочка Нина Свешникова. Нина такая застенчивая, что даже имя свое

426 при знакомстве произнесла неуверенно, будто плохо выученный урок. И вот эта робкая и хрупкая девочка запела, и уже после первой строчки ее голосок окреп и уверенно довел куплет до конца.

*Я тут на «ты»  
С любим ручьем и рощею,  
Тут для меня  
Начало всех начал.*

Третьей песню подхватила Таня Замуруева — полненькая, темноволосая девушка в красной косынке. Таня старше своих подруг года на три, она и посмелее их всех. Подтолкнула Нину Жилину — давай, чего ты, и вот песня уже совсем окрепла, обрела силу, четыре голоса поют ее слаженно, красиво. Я слышу голоса всех четырех, будто поет каждая по себе, и в то же время все они в какой-то момент сливаются в один чудесный, хорошо спевшийся квартет.

*Тропинками извилистыми, узкими  
Пойдем туда, где земляки мои,  
Где по соседству  
С соловьями курскими  
Поют не хуже  
Наши соловьи.*

Девушки переглядываются, улыбаются друг дружке, но продолжают петь.

Дядя Гриша слушает, наслаждается, с его лица не сходит улыбка, он часто моргает, словно смахивает ресницами набежавшую слезу, пытается сам запеть, но не дает себе воли, боясь помешать песне. Ваня, вижу, растроган песней до предела — улыбается смущенно, а мысли его витают где-то далеко-далеко, унесенные песней...

Песню неожиданно обрывает яркий свет. В клубе кончилось кино, и лампа моментально наполнилась белым до рези в глазах светом, стены сразу будто раздвинулись, в комнате стало просторнее.

И незаметный до сих пор вдруг ярким факелом вспыхнул в стеклянной банке на комодке букет пурпурных астр. На него обратили внимание, заговорили, послышались шутки, смех. Скванность и натянутость улетучились вместе с прятавшимся в углах сумраком. Ваня Рыжов стал почему-то вдруг оправдываться:

— Вы знаете, вот не могу спокойно слушать хорошую песню... Да, да!.. Вот трогает она меня!.. Трогает. Да, да, трогает...

Разговорились после песни и девушки, осмелели, стали рассказывать разные случаи, я старался запомнить все, не записывая, чтобы не спугнуть их блокнотом.

Нет, ребята меня не обманули: все девчата работают трактористками. И кроме того — все они учатся в вечерней школе и участвуют в художественной самодеятельности.

И мне было немножко обидно, обидно на самого себя за то, что я вчера вместе с ребятами не рвал пурпурные астры для залегощенских девчат.

На обратной пути ребята дурачились на заднем сиденье, возились, подшучивали друг над другом. Особенно старался Геннадий, он, похоже, был в ударе и основательно донимал Ваню Рыжова. Где-то среди других «подковырок» я услышал и такую:

— Ты думаешь, если ты двойной тезка Бунина — Иван Алексеевич, так и все?

Рыжов на это, как мне показалось,отреагировал чересчур обидчиво, но отбивался по своей натуре мягко:

— Да ну, Ген!.. Да при чем тут это?.. Да ну, ты совсем уж... — и он отвернулся к окну.

— Ладно, Рыжов, не сердись.

— Да ну тебя, Ген... Ну тебя к Богу в рай...

Я не понял тогда смысл ни харитоновской шутки, ни рыжовской обиды.

Смысл этой короткой сценки раскрылся для меня позднее, когда я неожиданно получил от Рыжова... рассказ. Оказывается, он пишет! А Бунин, как выяснилось потом, его любимый писатель.

С тех пор прошло много лет, я забыл уже содержание того рассказа, но ощущение после его прочтения помнит-

428 ся до сего дня. Это было очень свежее письмо — на редкость ароматное по языку и необыкновенно доброе по отношению к людям. Рассказ был напечатан в газете.

Рассказы Ивана Рыжова стали появляться все чаще и чаще в местных и столичных изданиях, имя молодого писателя быстро заприметили критики и ставили его неизменно рядом с такими именами, как В. Астафьев, Е. Носов, В. Белов. С этими писателями Ивана Рыжова роднила не только деревенская тема, но и отношение к людям деревни и главное — высокий уровень его мастерства.

Судьба не раз сводила меня с этим писателем. Случилось так, что я был редактором его первого сборника рассказов с элегическим названием «Кинь Грусть». Потом у И. Рыжова были другие книги. Писал он для взрослого читателя и для детей, но тема всегда была одна — люди деревни.

А потом, к сожалению, наступил перерыв...

И вот, наконец, я держу в руках новый сборник Ивана Рыжова. В нем много и моих добрых старых знакомцев — тут и «Тихон Гастев», и «Запах земли», и «Кинь Грусть», и много вижу нового. И последнее, новое, особенно радует: это значит, что писатель в работе, в строю.

Пишет Иван Рыжов медленно, и я не знаю, ругать его за это или хвалить. В писательском деле ведь не столь важно количество, в нем всегда ценилось и ценится качество. Поэтому я не буду ни хвалить его за медлительность, ни ругать: каждый пишет так, как ему пишется.

И все-таки жаль: так хорошо и так мало...

Но это — на всякий случай, для подстегивания: Иван Рыжов находится сейчас в хорошем возрасте — наступила пора зрелости. Будем надеяться, что у него все еще впереди.

*Михаил Колосов.  
1966 г.*

## Родное слово

429

Иван Алексеевич Рыжов, русский писатель, мне радостно о тебе писать. И юность, и молодость наша шла рядом, почти по одним тропинкам, одним улицам. И матери наши знали и уважали друг друга. И нам с тобой пришлось учиться в одной школе, в одном институте. И работать на одном заводе, в одной редакции. И сейчас мы с тобой в одном творческом союзе — Союзе писателей России.

Оглядываясь назад, я хотел бы твоим верным читателям и друзьям сказать о тебе не только поздравительные слова, а слова благодарности за верность русской прозе, в которой ты заслуженно занимаешь место одного из лучших в отечественной литературе рассказчиков. Ты с самого начала своего творчества выбрал трудный, долгий, но плодотворный путь подвижников русского слова. Имена Чехова, Бунина всегда были тебе путеводным светом. С каждым новым рассказом крепло, наливалось соками и запахами родной земли твое самобытное художественное слово.

И посвящено твое творчество простым людям земли русской. В твоих книгах живут, любят, страдают честные, отзывчивые на доброту люди русской глубинки — неразбавленные орловцы, как ты их сам ласково и гордо называешь. А с какой нежностью ты пишешь о русской женщине! Чего стоит только один маленький рассказ о бабушке Фросе. Нужно иметь большое сердце, чтоб так писать. Нужно иметь большое мужество, чтобы так зорко разглядеть такого человека, как Илья Разоренов.

Ты, Иван Алексеевич, никогда не отстранялся от людей обиженных, ты всегда был и остаешься рядом с ними. Они — твоя забота и опора. И ты доказал это своим глубоким русским художественным талантом.

Не могу, Иван Алексеевич, не отметить и такую грань твоей личности, как верность раз и навсегда избранным учителям. Ты одним из первых в Орле принял на себя заботу и долг о возвращении России имени твоего тезки, вечерней зари русской прозы Ивана Алексеевича Бунина.

430

Много было сделано тобой на этом поприще. Как редактор молодежной газеты не ты ли в тяжкие для Юрия Казакова дни печатал впервые его горькие рассказы «Свечечка» и другие? Разве орловская молодая проза рождалась без твоего участия?

Ты одним из первых расслышал на Орловщине чистые голоса Игоря Лободина, Алексея Леонова, Юрия Оноприенко.

И русская большая литература тоже расслышала тебя, когда отличила достойнейшей литературной премией имени Ивана Алексеевича Бунина. Как будто великий земляк твой, тезка по имени и отчеству подал тебе свою руку.

*В. Дронников,  
член Союза писателей России.*

## Весна Ивана Рыжова

*Родился он 19 апреля 1936 года в деревне Коровье Болото на Орловщине. В 1949 году семья переехала в Орел. Здесь Рыжов окончил среднюю школу, работал на заводе приборов слесарем, контролером ОТК, освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ, потом (1961 — 1974) в «Орловском комсомольце» — литературным сотрудником, редактором. Был председателем обкома по телевидению и радиовещанию, заведовал сектором печати в обкоме КПСС, его избирали ответственным секретарем Орловской писательской организации, затем Иван Алексеевич занялся только творчеством, которое в 1994 году было увенчано Бунинской премией Союза писателей России и Орловской администрации.*

Первая книга рассказов «Под одной крышей» вышла в Москве, в издательстве «Советский писатель» (1967) — редкая по тем временам удача молодого автора. Блистательным эхом в судьбе русского прозаика отозвался его успех на творческом семинаре, когда он робко предложил вниманию солидных литераторов, в том числе московских, свои первые рассказы. Помню, как хвалили «Щенка». Помню, как

кто-то сказал: «Иван Алексеевич Бунин мог бы порадоваться за своего ученика Ивана Алексеевича Рыжова».

Раньше книги Иван Рыжов опубликовал рассказы «Под одной крышей» и «Тихон Гастев» в «Литературной России» (1964). Еще ранее стал печататься в «Орловском комсомольце», где мне довелось работать. Помнится, первая заметка, с которой Иван Рыжов появился в редакции, была о книгах. Разговоры о книгах, о литературных богатствах края сближались. Это нашло отражение в надписи, сделанной Рыжовым на подаренной мне первой книге: «Дорогому... с которым связывает любовь к книгам, к писателям-орловцам, к родной Орловщине». В рассказе «Родное место» мне понравился эпиграф из И. А. Новикова: «Кто сказал, что Орел — городишко? Средоточие мира — Орел». Любил перечитывать место, где Егор, герой рассказа, идет на свидание с Дворянским гнездом: «А под вечер он нетерпеливо поглядывает на часы, начинает томиться. Видится ему уже вечерний закат, крутой обрыв над мелкой и узкой, черно-малиновой от заката речкой, деревянный домик с коричневыми полукруглыми наличниками, маслянистая лента тропинки, уходящая в синие дали полей. Он слышит, как возле речки начинает бить соловей...». Мне, тоже родом из орловской деревни, страстному поклоннику поэзии Пушкина, Есенина, Исаковского и Твардовского, был дорог, как и Рыжову, берег, освященный гением Тургенева. Писались стихи:

*Над Орликом — крылья тумана,  
За Орликом — гомон и шум...  
Так вот она, завязь романа,  
Раздолье тургеневских дум.*

Жил я в доме, где нынче творит замечательный наш художник А. И. Курнаков, ходил к Дворянскому гнезду, искал достойные строки и долго не находил. Читал о дорогом месте у Е. К. Горбова, которого все мы очень уважали, и, разумеется, в «Жизни Арсеньева» И. А. Бунина. О Бунине Иван Рыжов написал «Лебедушки» — удивительное лирическое повествование, полное нежно-восторженной любви к родному краю, не раз повторяемое в новых кни-

432 гах. Повторяемое с большими дополнениями. Если в первом варианте начало с утреннего разговора с Верой Николаевной, то в «Лебедушках» из книги «Аринкин хутор» (Орел, «Вешние воды», 1994) совсем иное с первых строк: «Все началось хорошо. Звонили колокола, съезжались гости, родственники. Венчался молодой писатель Иван Бунин с гречанкой Анной Цакни. В церкви было много народу, было душно, пахло ладаном, свечками, отвесные золотые лучи света празднично озаряли лица гостей, жениха, невесты. Сладко пел церковный хор, грустно и приятно басил дьякон, но Иван Бунин, обычно любивший церковное пение, службу, сегодня не замечал всего этого, был занят другим. Тонкое нервное лицо его было возбуждено, темно-синие глаза блестели и все время смотрели в сторону».

Так и было. Была потом и «пронзительно-горькая грусть» о стороне, где «возле усадьбы сонно и устало кричат грачи, угольно чернея на верхушках засохших тополей... Сад жарко залит солнцем, жарко блестит, липовая аллея усыпана большими золотисто-медными монетами», девушки-лебедушки поют «нежно, любовно-грустно, как-то печально, будто чувствуя уже близкое расставание», «взмахивают руками-крылами и, мелко-мелко перебирая стройными ногами, плывут и плывут по морю Хвалынскому, по лугу зеленому».

Много написал Иван Рьжов о деревне печального и горького, с болью и сочувствием — о старушках, глубоко верящих в красоту бытия, не убитых заботами и невзгодами. И нарисовал в творчестве своем солнечный образ России, идя вослед за великим своим наставником И. А. Буниным. Не забыть нашу поездку в Елец, в Озерки. Так и стелется перед глазами ровная нива-степь на закате. Хорош был вечер на зеленом холме, рассказ старожила, брат которого помнил отца писателя: «Сидел на пороге и на гитаре играл». Дома не было, но страстные патриоты родного края, сойдясь в сумерках у костра, горячо говорили, что дом восстановят. Молодая женщина, влюбленная в Бунина, держала на руках дочку Лику. В Ельце мы вошли в храм, где бывал Бунин. Вернувшись в Орел, я открыл «Жизнь Арсеньева». Встретившись вновь, радостно вспоминали:

— Как было хорошо!



Из всех времен года самое прекрасное — весна. Шумом раскованных вод, звоном птиц, зеленью первой травы она наполняет душу ожиданием счастья. Весна, подарившая Ивану Алексеевичу самый большой праздник, продолжается в его лучших творениях. И продолжается потому, что писатель выбрал очень верный ориентир — Бунина.

Уже первый рассказ «На покосе» из книги «Под одной крышей», написанный по личным впечатлениям, переключился с «Косцами» Бунина. Но лишь переключился. Уже в нем царило свое, пережитое-перечувствованное. Иван Рыжов строг к себе, благоговейно влюблен в своего учителя, в то же время питается прежде всего соками жизни, черпает из собственного опыта. Тут и «Звезда любви приветная» — волнующий рассказ о солнечном ударе любви, и печальный «Аринкин хутор», и «Горькая рябина», и множество коротких рассказов, навеянных памятливыми мгновениями бытия.

Считаю справедливым сказать уважительное слово о самом верном и близком друге Ивана Алексеевича, о высоком таланте этого друга окружить заботой и вниманием творческую личность. Алла Михайловна, жена писателя, ветеран орловской журналистики, многие годы отдала «Орловскому комсомольцу» и «Орловской правде», оставила добрый след в памяти читателей интересными статьями и очерками. Особенно талантливо — о людях труда, о семейном долге. Было и такое, когда ее публикации перепечатывались столичной прессой. Теперь всю душу отдает продолжению рода: воспитав сына, заботится о внуке и внучке...

Работая редактором молодежной газеты, И. А. Рыжов поднимал уровень литературных страниц, вышедших под названием «Орленок», и не только литературных. Вот почему его труд был отмечен орденом. Много доброго сделал, работая на радио и телевидении, в Орловской писательской организации, где и сейчас входит в состав правления.

Каждая новая книга говорит о пристальном внимании к жизни, о росте мастерства. Весна души Ивана Рыжова продолжается. Да будет она долгой-долгой на радость людям!

*В. Катанов,  
писатель.*

## 434            Плывут, плывут лебедушки

Так были названы рассказы Ивана Рыжова, опубликованные в еженедельнике «Литературная Россия». Было это в далекие семидесятые годы в Москве, когда мы учились в Литературном институте имени А. М. Горького. В своей первой столичной публикации молодой журналист из Орла поведал о полевых проселках, сенокосной поре на своей родине, ее бело-розовых полях цветущей гречихи, встречах с земляками и своих поездках в тургеневскую усадьбу Спасское-Лутовиново. Литературный заповедник стал заповедником его души, местом раздумий и успокоения, о чем написал проникновенно, свежо: «В печальные дни одиночества, а в провинции они бывают особенно часто, мне всегда вспоминается Спасское, как будто живет там кто-то из близких и думает о тебе, и хочется тогда поехать туда и побродить по аллеям, посидеть где-нибудь на пеньке, поразмышлять о жизни той и этой, о чем-нибудь светлом, хорошем...

Поездки в Спасское-Лутовиново стали для меня одной из радостей жизни, праздником, озарением души».

Первый сборник Ивана Алексеевича «Под одной крышей» вышел в московском издательстве «Советский писатель» и стал для автора крепким корнем, из которого впоследствии «проросли» новые рассказы о судьбах много повидавших и переживших людей. И сам после службы на флоте успел поработать на заводе, прежде чем взяться за перо, стать журналистом, а затем редактором областной молодежной газеты.

В студенческие годы, когда наша страна была самой читающей в мире, слово журналиста, поэта или писателя было весомо, к нему прислушивались власть имущие и по критическим выступлениям принимались меры. Тому свидетель автор этих заметок, работавший в то время после окончания Литинститута корреспондентом «Курской правды».

Представляю, скольким людям помог И. А. Рыжов на посту редактора «Орловского комсомольца», а затем председателя Орловского комитета телерадио. Не случайно труд

журналистов приравнивают к шахтерскому труду, если газетчик честно служит людям и несет им слово правды.

«Слово — великое дело, — писал Лев Толстой. — Великое потому, что словом можно соединить людей, словом можно и разъединить их, словом можно служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти. Берегитесь того слова, которое разъединяет людей».

Рассказы Ивана Рыжова издавались на украинском языке, выходили в Болгарии. И он охотно печатал стихи и прозу товарищей по перу из нынешнего не столь уж «ближнего зарубежья», гостил у них, любя дальние поездки, перемену мест вообще ради новых впечатлений и встреч с людьми. Его пути-дороги пролегали от родного порога крестьянской хаты в селе Коровье Болото, что в Кромском районе, до берегов Балтийского моря, где служил моряком, и солнечной Молдавии, откуда однажды уехал от изобилия виноградного вина.

Как любовью с первого взгляда, его творчество озарено именем И. А. Бунина. Любимому писателю посвящен один из лучших рассказов «Лебедушки», который заканчивается народной песней:

*Плывет стая,  
Плывет стая лебединая,  
Лебединая, лебединая, гусиная...*

«Нежно-печально, как во сне, поют бабы, и плывут, плывут по морю синему, по лугу зеленому девицы-лебедушки...»

Печалят и радуют такие слова и картины родного края, как и мир, в котором все мы живем.

*И. Лободин,  
писатель.*

## Встречи с Иваном Рыжовым\*

Было это лет двадцать тому... Шли мы с моим другом, художником Валентином Анисимовым мимо мастерской нашего коллеги Виктора Лупачева. Решили зайти в гости. От-

436 крыл хозяин; заходим – там дым коромыслом, громкие разговоры, смех. В гостях у него человек десять: художники, писатели. Идет бесконечный русский разговор о литературе, искусстве, о политике. Сразу выделялся колоритом личности писатель Иван Алексеевич Рыжов. Громко, живо говорил о своем любимом писателе Иване Бунине. Как водится, выпили еще, и продолжился перекрестный разговор, когда никто никого не слушает, все говорят обо всем. Так я впервые познакомился с Рыжовым. Я сказал ему, что работаю над живописным портретом Бунина. Ему сразу же захотелось посмотреть. Пошли поздним вечером ко мне в мастерскую. Показал ему портрет и много других работ в живописи, в графике. Он с интересом смотрел, курил и без остановки говорил о своих впечатлениях. Живопись он чувствовал точно и тонко. С тех пор мы стали дружны с Иваном Алексеевичем, глубоко уважаемым мною человеком и писателем. Часто встречались, спорили и соглашались, иногда, как положено, выпивали. И все больше понимали друг друга. Может быть поэтому он попросил меня сделать иллюстрации к его книге «Позднее свидание». Я сразу согласился и работал с удовольствием, серьезно. Прочитал все его произведения – легли на душу. Очень люблю и ценю его краткие рассказы. Всего несколько предложений, а как цепляют, щемят душу.

Мне запомнился этот приход Ивана Алексеевича Рыжова, моего друга, человека добрейшего, широкого душой и светлого.

Дал бы ему Бог здоровья!

*Николай Силаев,  
художник.*

## Беседы в теплый вечер\*

И кого нам любить, как не Рыжова? И кому кланяться?

Когда в доверительном разговоре он кладёт ладонь себе на затылок (то его, только его жест) – это значит, что переполняет Рыжова безмолвный восторг, удивление перед чьей-то ласковой строкой.

Как он умеет восхищаться! Как нежно он говорит об акварельном слове Игоря Лободина... Или о словесной акварели Юрия Казакова — о плавных росписях чувств, тихих и неумирающих, уверенно проросших в вечность, струящих глубокий запах истины.

По Казакову и Бунину Иван Рыжов различает родные души — так по затеплившимся огням озябший мореход различает родные корабли в плотном безжизненном тумане.

Маячок бунинской строки, невзначай возжжённый собеседником, мгновенно притягивает Рыжова; он распахивает объятия и сердце, и не может насытиться речью.

Но редки такие сладкие беседы, потому что родных душ всегда мало, даже среди литераторов — единицы; потому они и родные.

Ну и что, что ты писатель, — писатель зачастую зело вонючий зверь. Иной виртуозно плачет о судьбах мира, однако никогда не забудет истребовать рублишко за этот свой плач.

И пафос рифмы, и громкость завываний у этого профессионального плакальщика расписаны по тарифу; о чём с таким говорить Рыжову?

О чём Иван Алексеевич будет толковать и с тем, кто на всех местных парадах норовит облобызать всех местных министров? Рыжов вообще человек непарадный.

Он и в ранние годы не очень-то публично ораторил — только когда собственный официальный чин заставлял.

А когда сбросил Рыжов с себя все чины — сбросил облёгчённо, как смешные соломенные доспехи, — так вовсе перестал говорить с подмостков.

Писатель не должен быть лицедеем; и трибуном ему быть не пристало. И в лицо писателя знать не надо — знайте его строку, она одна его лицо и доспех.

А строка у Рыжова прочна и честна, бескорыстна и несуетна; красота её светла, как тёплый вечер; лучит она покой и доброту; и смотреть в неё хочется, будто в глаза отцовские.

И как снова и снова не поклониться благодарно, как не прильнуть к согбенному старому другу?

*Юрий Оноприенко,  
писатель,*

*лауреат премии им. И. А. Бунина 2004 года.*

Когда я работал в областном драматическом театре им. И. С. Тургенева, в начале 80-х годов, мой друг и главный режиссёр театра Леонид Юрьевич Моисеев познакомил меня с писателем Иваном Алексеевичем Рыжовым. В те дни по моему приглашению приехал в театр один из популярнейших артистов в СССР Олег Табаков, а И. А. Рыжов занимал пост председателя областного комитета по телевидению и радиовещанию. Естественно, дело не могло обойтись без интервью с О. Табаковым, которого я сопровождал всюду как приглашающая сторона. Это было событие, запомнившееся надолго. Мало-помалу встречи с Иваном Рыжовым стали продолжаться, учитывая, что Леонид Юрьевич состоял, как драматург, в орловской организации Союза писателей СССР, которую впоследствии возглавил всё тот же Рыжов.

Я прочитал с интересом подаренные мне Иваном Алексеевичем книги «Звёзды в травах», «Звезда любви приветная» и подумал, что такой талантливый человек должен жить в Москве, вращаться среди известнейших писателей страны, а он скромно, так, в небольшом провинциальном Орле...

Нередко мне приходилось сталкиваться с именитыми писателями, артистами, режиссёрами и т. д. и Рыжов выгодно отличался какой-то душевной простотой, доступностью, хотя командная нотка в нём нет-нет да и проскальзывала, но теперь, из другого времени отчетливо видно — не от начальственной струнки, а от знания литературного процесса, уверенности в себе и своём художественном видении мира.

Вначале поражала его интересная манера разговаривать — своеобразная немногословность, повторы некоторых восклицаний так сочетались с богатейшей мимикой лица, выражением глаз и удивительной жестикуляцией рук, что центром разговоров всегда становился Иван Алексеевич.

В отличие от громадного Моисеева, восторженно и громогласно торжествующего по малейшему поводу, Ры-

жов всегда очень конкретен, с ноткой пессимизма ждёт реального результата и лишь тогда становится весёлым и щедрым на комплименты.

Приятно смотреть на его обращение с женщинами, в разговоре с писателем они становятся женственными и прекрасными, точнее — лебёдушками (как он часто называет их в своих произведениях).

Однако в 1990 году судьба нас свела троих в общем деле. Неутомимый Леонид Юрьевич решил создать орловское издательство, ибо все бывшие издательства оказались в кризисе, и писатели были выброшены за борт современности, как мешки с песком из корзины воздушного шара.

С моим приходом совпала подготовка И. А. Рыжовым специального выпуска газеты «Вешние воды», посвящённого 120-летию Ивана Бунина.

Вот тут я впервые увидел, как он скрупулёзно относится к каждому слогу, вернее — к каждой запятой. Как спорит с авторами, корректорами, ответственным секретарём газеты за каждый штрих, чтобы отпечатанный материал был безукоризненным.

Газета произвела приятное впечатление не только в Орле, но и на IX съезде Союза писателей РСФСР, где делегаты её просто расхватали в вестибюле, добросовестно положив по двадцать копеек за номер. И далее во всех выпусках «Вешних вод», где ответственным был Иван Алексеевич, можно было быть спокойным за содержание текстов, подписи к фотографиям и всю газету в целом.

Запомнился выпуск первой его книги в издательстве под названием «Зеркало». Помощи никакой в то время не было, и мы с ним насобирали средств по крохам на скромненькую книжку в мягкой обложке. И когда я вручил вёрстку автору, я увидел разъярённого льва: «Кто позволил!? Это что за безобразие?!»

Оказывается, корректор переправила весь текст в соответствии со своими литературными представлениями, заменив, к примеру, слово «околица» на «окраина» и т. д. Виной всему оказалась пресловутая свобода, наступившая в издательствах, где теперь за деньги стало можно

440 всё, а вышедший «Закон о печати» полностью открывал шлюзы океану графомании и низкопробности. И наш корректор уже столкнулась с новоиспеченными авторами, которые не дрались за каждую запятую, а позволяли что угодно сокращать и править текст, расставлять знаки препинания, добавлять свои мысли и вдобавок ещё благодарили за «помощь».

Иван Алексеевич восстановил свой первоначальный текст, а корректор навсегда забыла подменять автора в литературе. Верстки следующих книг нареканий автора уже не вызывали.

Время идёт, давно уже нет нашего друга Л. Ю. Моисеева, возглавившего после секретарства Ивана Рыжова писательскую организацию и поднявшего уровень орловских писателей до самых известных и лучших в России.

Иван Алексеевич стал первым в России лауреатом премии им. И. А. Бунина, недавно вошел в состав Высшего творческого совета Союза писателей России, готовит к выпуску очередную книгу.

Всем известен его маршрут по тропинкам старого Орла: Дворянское гнездо, левый берег Орлика, стрелка — место слияния Оки и Орлика, левый берег Оки, городской сад и т. д., где писатель прогуливается в свободные минуты.

Иногда заходит в издательство и спрашивает 100 грамм для настроения. Теперь в кабинете издателя есть маленькая бутылочка, на которой написано: «Только для Великого Рыжова».

Алексеевич с порога, невзирая на посетителей: «Есть?» — и показывает пальцами знаменитый «перпендикуляр». Когда говорю: «Есть!» — оживляется, радостно потирает руки, выпивает сотку, чуть прикусив потом хлеба или печенья, и уходит. Если не разрядился, то через 33 минуты возвращается. «А ещё есть?» И, если есть, ещё более довольный и радостный уходит. Уже совсем.

Недомогание в последнее время приостановило наш шуточный ритуал, и бутылочка ждёт своего часа, как и стул, на котором сидит наш писатель во время собраний, мы с Виктором Дронниковым его почтительно бережём, никого не пускаем.



Все ждут полнейшего выздоровления Ивана Алексеевича и новых, новых его рассказов, повестей и романов.

*Александр Лысенко,  
писатель и издатель.*

*Июнь 2004 года.*

## Один на один со словом\*

Иван Алексеевич Рыжов — человек стойкий и упорный. И справедливый. Он — добрый, как будто застенчивый. Но и неравнодушный, и взрывной, когда отстаивает в споре или просто в разговоре что-либо принципиальное. И тогда он «орет», как и персонажи его писаний (которые «сидят, орут, пьют», либо «вскакивают и орут», а то и вовсе «орут, бесятся»). Но это — не нахрапистость. Это — эмоциональность. Неудержимая, перехлестывающая.

Вот он обрадованно рассказывает, что его вслед за Юрием Казаковым назвали продолжателем школы Ивана Бунина! Берет с полки московский журнал, раскрывает: три писательских имени рядом, т.е. последовательно, в соответствии с временными характеристиками...

Бунин и Казаков для Ивана Рыжова имена особенные. Трепетные. Публично (читай — печатно) он признается в любви к прозе Юрия Павловича Казакова в декабре 1962 года (отклик на вышедшую книгу). В любви к творчеству Ивана Алексеевича Бунина (печатно) — попозже. В устных же беседах пристрастия Рыжова были обнародованы давно.

...Есть у Рыжова рассказы большие, почти повести. Но особая тяга у него — к «кратким рассказам». Этот жанр он не без основания приравнивает к стихотворениям в прозе, и вот что пишет по этому поводу: «И еще я думаю, что «Стихотворения в прозе» (кстати, совершенно новый прозаический жанр в русской литературе) проложили дорогу к «Кратким рассказам» Бунина, к теперешним «Затесям» Астафьева, «Мгновениям» Бондарева, «Камешкам на ладони» Солоухина...»

Воспользуемся оставленным многоточием и дополним приведенный ряд именем автора цитаты. Его место в нем — закономерно. Может быть, только — расположить его к Бунину следует ближе других имен.

В застойные 70-е Рыжов — редактор «Орловского комсомольца». Тогда газета вставляла «фитили» не только официальной «Орловской правде», а и стоящей «над» номенклатуре. Высокий гнев нередко был снисходителен к укусам «молодежки». Но Рыжову — председателю областного комитета по телевидению и радиовещанию, которым он стал позже, снисхождения не было. Нахлобучки за критические сюжеты и передачи следовали одна за другой.

Работа в прессе — особо напряженная и нервная, и продуктивно совмещать ее с писательским трудом мало кому удавалось. А тут еще добавились анонимки, явно кем-то организованные. Пошли разбирательства. Сотрудники недоумевали и пытались отстаивать своего шефа.

А Рыжов вдруг успокоился. Он, автор уже нескольких книг, ушел на освобожденную (оплачиваемую) должность секретаря писательской организации. Работа хотя и чиновничья, но к литературе ближе. И оставляет определенную материальную стабильность. Однако полного погружения в творчество не обеспечивает.

Он вздохнул свободно лишь тогда, когда решился уйти на «вольные хлеба».

Они давно уже один на один — Рыжов и Слово. Иван Алексеевич пишет, пишет свои сверкающие тонкими гранями краткие рассказы. В которых наше сегодняшнее бытие, зорко схваченное, лаконично и мастерски изображенное. Люди, характеры, природа. И сколько глубины на двадцати-тридцати (порой чуть меньше, порой чуть больше) строках, сколько мысли, чувства! Сколько жизни!

*Дмитрий Порушкевич,  
поэт, редактор газеты «Орловский вестник».*

## Видения Ивана Рыжова

443

Проза Ивана Рыжова располагает к печали, к грусти и думе, высокой думе... То, как она сделана, вызывает восхищение.

Любопытно, что собственные его восхищения, упования, надежды и радости полны печали. Это пушкинское «*Печаль моя светла...*» Полагаю, он также трудно переводим на чужеземные языки, как и Пушкин. Как все искони русское, как всякое чисто национальное явление...

...Только что почти полностью перечел две последние его в некотором роде итоговые книги — «Позднее свидание» (1996) и «Встречу» (2000). Может, и думать не думалось автору, но рассказ к рассказу, все вроде частный случай, а вот поди ж ты, — сложилась одна и единая и, увы, — беспроглядная, беспросветная, беспробудная картина деревенской жизни за последние полсотни лет, страшной жизни, озаряемой разве что закатами и тихим прелестным светом русских пейзажей...

Бесконечная грусть, боль и глухая тоска в этом нескончаемом его затянувшемся обманном прощальном романе с деревней. Что называется, бес в ребро... Или, точнее, пример того, как нет сил перерезать пуповину ни у матери, ибо она уже умерла, ни у дитяти, хотя оно уже выросло, но обессиленное смертной своей любовью...

И в самом пронзительном рассказе Ивана Рыжова «Аринкин хутор» и на копейку нет завиральности, нарочитости, намеренной сгущенности атмосферы или укрупненности характеров и ситуаций, на изломе которых проще живописать. Мир его рассказов зауряден, обычен и обыден. И именно на фоне этой обыденности, повседневности, неброскости тем ознобнее встает и проступает ужас того, что сотворила (и творит) с собою Россия. Временами кажется, что и дышать нечем ...

В последнем (покамест) придержающемся еще классической формы рассказе «Лебедушки» Иван Рыжов пытается вырваться из затянувшейся уже его болезненно-сладкой трясин-

444 ны (тематики), обращаясь к жизни любимого писателя и своего учителя Ивана Бунина, ища спасения в ней, хватить хоть там воздуха. Но лаковые, песенные *«девицы-лебедушки»* со стройной чернобровой поповой дочкой впереди хоровода оказываются фикцией. За ними маячит, за ними слишком отчетливо проглядывает уже столетней давности фантом бунинской — и тогда уже исковерканной, изломанной, обезображенной, забитой и обескровленной Деревни.

И там она его достает.

Круг замыкается.

Новое время, его душевная сухотка, его духовная анемия, алчность, скопидомство и жадность передернувшихся, кувыркнувшихся через собственную голову властей *{«перестройка»}* задерживают последние горизонты. Ни позади, ни впереди — ни зги. Только один, уже собственный, усохший и источенный от самоедства *«последний корень»*.

Есть изъян, ущерб некий в самом русском человеке, в самой нации, когда она с таким пренебрежением, с таким презрением, с такой жестокостью и деловитостью, как если бы прирезала свинью или курицу для стола, буднично уже как-то режет, удушает, пускает кровь деревне, корчует, искореняет ее источники и родники, выдаивает, высасывает, жамкает, мнет и рвет уже пустую грудь, точнее вымя той, которая ее наплатала...

И никак не опамятуется.

Слишком наглядной становится бессмыслица русского существования.

И — кажется — русской литературы — тоже...

Крик стынет в горле.

Голоса нет.

И что кричать в пустыне и в пустоту...

О ты, жалкая участь Иеремии, бесконечно плачущего, стонущего и стенающего на стенах иерусалимских над погребенной уже под пеплом родной землей.

Здесь шок, корень и драма целого поколения русских писателей... Им уже и защищать нечего и некого. И слез у них, кажется, уже нет. И писать не о чем... И не то что никто не услышит, не хотят слышать. То, что пишется, никому уж то не нужно...

Не просто как гражданин Отечества, как писатель, Иван Рыжов с его неутраченной, с единственной его, с его неизменной, непеременимой любовью, пусть, пусть даже к родным гробам и пепелищам, оказывается в ситуации, близкой к творческому коллапсу, не он один. Нет более унижительного и рабского состояния для писателя.

Писатель переживает мощную творческую ломку... Она сродни той бунинской, времен «Окаянных дней»...

Но Бунин тогда был еще относительно молод... Он был в расцвете творческих сил... Не совсем то здесь...

Из-под пера писателя один за другим выходят вдруг краткие, недоговоренные, недосказанные, как бы — мимолетные рассказы...

Это не солоухинские «Камешки на ладони». Те оставались в русле прежней солоухинской прозы. Не бондаревские «Мгновения», которые перешли в разряд почти чистой публицистики.

Здесь что-то другое...

Проза Рыжова всегда отличалась обстоятельностью, предметностью, сугубой заземленностью, твердостью и крепостью, речь и язык — при всей пластичности — плотностью и ядерностью, она была именно человеческой и земной, за что ее и любили по всей России. Она была укоренена в своем времени.

Здесь странная взволнованная — именная — речь, здесь нет времени (или оно без разницы и номинально), мир целокупен, здесь нет изб и углов, ничего суетного, только русский простор и пространство, небеса, воздух, язык стал текуч и прозрачен, как вода, перо подобно свету, им только освещаются вещи и предметы. Они сделались легки и невесомы, они волнуются и тают, ибо прежде них — столь тонкие определения, что вещи превращаются в тени, в цвета, в марева, мир переливается, дразнится, блазнится, чудится, встает как видение!

*«Кроткий убогий день. Был — не был. Гостил — уехал. На серо-зеленом лугу стоял, прядал, густо ржал золотой конь».*

Душа восхищается! Сердце изнывает в сладости!

Что же произошло?

Здесь, наконец-то, пера и бумаги коснулась вечность. Здесь свет и дух побежал... Явился же предвестник, обольститель, создатель! Слова явлены в какой-то первобытной красе и силе, в какой-то заговоренности и замороженности, когда они были почти одно с природой, с душой, с космосом. Кажется, еще усилие — и они дойдут до той первозданности, до того состояния, когда слово означало — Бог. И обретут ту силу дыхания, любви и обольщения, которой созидался мир — в свежести и чистоте. Словом он был сотворен! И, читая нынешнего Рыжова, я верю — вещей дух русской деревни носится уже над полями, над безвидной землей и водой и скоро, скоро сызнава станет и утвердится на них!

Сам Иван мне видится таким.

За ним всегда следует, точнее, впереди него всегда идет его аура — из света. Он и не говорит, а как бы слегка бухтит, такие легкие раскаты, такое вальяжное урчание грома, ибо — огненные и блещущие острые молнии он отдал уже прозе, а это избыток, который изливается на встречных.

Соответственно, он может гневаться, но не умеет злиться. В нем нет зла. Отсюда — энергетика и свет.

Тонкость, приметливость, традиция. Преданность русскому языку, в люльке которого сидит кудесник.

*Анатолий Загородний,  
писатель.*

## • В ЗЕРКАЛЕ КРИТИКИ •

### Теплое небо Родины

*...Эта родина, этот наш общий дом была —  
Россия, и... только ее душа могла петь так, как  
пели косцы в этом откликающемся на каждый  
их вздох березовом лесу.*

И. Бунин. «Косцы».

**И**ван Рыжов вырос в том исконно русском краю, в орловском подстепье, где когда-то проходили самые протоптанные пути крымских татар на Москву — Калмиусский, Изюмский и особенно памятный Муравский шляхи. Здесь, на пути бурливого половодья ордынских орд, как своеобразный «волнорез» возникали стрелецкие слободы, «засечные полосы», крепости вроде Мценска, Орла, Кром, селился люд бесстрашный, поистине «с конца копья вскормленный», как и соседи-куряне, готовый выжечь вместе с лесом и степью на пути ордынцев и собственные жилища.

И при всем этом орловцы удивительно цепко, с неистовой любовью держались за этот пограничный, порубежный край русской земли.

Сама земля здесь — это чаще всего пашня, немало поработавшая на веку, вскормившая своим не столь уж щедрым хлебом великое множество поколений. Омываемая, помимо Оки, десятками мелких речек, словно затаивших само течение в низких травянистых берегах, открытая всем ветрам Орловщина, вся срединная русская равнина, не раз становилась и в наши дни полем величайших сражений. И обелиски, то здесь, то там безмолвным каменным посевом поднявшиеся среди орловских полей, на перепутьях дорог, кажутся окаменевшим, застывшим эхом суровых и легендарных событий.

Эту орловскую землю с ее веснами, когда высокие облака поистине расходятся «тонким белым дымом, сливаясь с влажно-синеющим небом» (Бунин), с неповторимым запахом антоновских яблок в осенних садах и главное — с неискоренимой, кровной привязанностью людей к своей земле, к родному корню — следует всегда видеть, как своеобразную «окрестность» любого характера в рассказах Ивана Рыжова. Это неизменная и изменчивая живая «рамка» его повествований. Пусть все более далеким становится и для писателя трудное детство в деревне Коровье Болото, пусть все больше иных впечатлений — Иван Рыжов служил на флоте, работал слесарем на заводе, бесконечно многообразны его журналистские пути-дороги! — накладывается на сознание, углубляя и расширяя человеческое и художническое кредо писателя. Но вечно теплое небо Родины, рассеянный, не обжигающий свет детских и юношеских воспоминаний, родниковая чистота тех деревенских открытий, когда впервые ступаешь босой ногой на стерню, тянешься рукой к шершавому добродушному листу подсолнуха, заглядываешь в бьющееся сердечко земли — деревенский омут или родник-копанку, — все это оживает ныне в каждой строке его поэтической прозы.

Весна... Что-то поломалось в устойчивых, зимних ночах, в строгой застылости сугробов, причудливо выгибающих «гребешки». В одном из лучших рассказов Ивана Рыжова «Запах земли» возникает очень реалистическая, стыдливо-скромная, сдержанная по составу эмоций и словесных красок, совсем не обжигающая возбужденностью картина весны в обычном среднерусском городке. Слесарь Матвей Козлов, герой рассказа, давно оставивший родную деревню, потерявший там в дни войны всех родных, именно в такую простодушную, тихую весну вдруг стал необычайно зорко, как звуки полузабытой в городе старой песни, как такты понятной еще предкам душевной мелодии, улавливать, как будто узнавать заново каждый шагжок весны.

Вот он заметил, как уже к концу февраля «небо стало быстро очищаться от свинцового покрывала, стало нали-



ваться синевой...» Прошла неделя-другая, и взгляд его уловил, как «первые проталины закурились, задымились паром в полдень»... А с крыш еще не оползли пласты снега, но они уже подтаяли, «отслоились» от железа и шифера, и «нацеливались в землю острые, как пики, мутно-белые с утра сосульки...»

Восприимчивость человеческой души к знакомому, извечно повторяющемуся, но постоянно волнующему празднику весны — первый признак душевного здоровья человека и целого народа. Нельзя жить в придуманном мире, без случайностей, капризов природы, ее неуправляемых мелодий, — тем-то они и прекрасны. И эта восприимчивость, коль она не задавлена грудой бесцветных забот, пустых поспешаний, может расти стремительно, обновлять, возрождать саму природу человека. Робкие звуки весны, ее нарастающий гул, шум («идет-гудет зеленый шум») внезапно слились, зазвучали в едином хоре с внутренним, ожившим, как росток, порывом души героя. Герой И. Рыжова уже не взглядом, не сознанием, а всем существом своим ощутил, что он вновь стал не обособленным, а единым с этой пробуждающейся землей, — теплым небом, голосами птиц.

«...Утро было теплым, не морозным, и капель остро клонула его в макушку. Матвей вздрогнул, посмотрел вверх, а там уже нависла, как прозрачная, изумрудная серьга, другая, и он ступил в сторону и радостно, с удовольствием засмеялся, а капли дробно и часто чмокали о доски, о тяжелый снег, и там, где они падали, снег рябел, далеко и изломанно тянулась темная пунктирная линия.

«Скоро уж и жаворонки, скворцы прилетят», — отметил Матвей и зашагал по узкой тропинке в поле... И острее, резче запахло прелой землей от проталин, которых с каждым днем становилось все больше и больше. И запахи эти тревожили, бередили Матвея...»

Иван Рыжов пишет словом выношенным, тут нет слов из словаря «ничейного», взятого напрокат, без веса и колорита. Раз мелькнет в его рассказе деревенская женщина, «рослая, закутанная в теплую шаль и оттого похожая на толстый гриб боровик», или двужильная Марья, что

450 «из двух щепок сделана», но читатель сразу почувствует за этим и биографию писателя, знающего с детских лет всякую крестьянскую работу, и зоркость его взгляда, и глубоко патриотическую нравственную основу всех его рассказов о деревне и ее людях.

Это стремление — писать о будничном, незаметном, не об отдельном успехе человека, а о всей его судьбе — писать о деревенском труженике — требует от художника особого чувства меры, внутренней прозорливости. Человек в наши дни — в вечном поспешании, погоне за общепринятыми радостями и триумфами — не всегда, не в каждый миг похож на самого себя. Та же звеньевая Марья («Из двух щепок»), Клара из рассказа «Горькая рябина», тихий медработник из типичного районного невеликого городка едва ли похожи на себя в ярком свете юпитеров, в громе трескучих похвал. Они смущаются, не знают, куда деть себя, казнят себя как лодырей. Но в другое время, в труде, радостном сердце, эти героини и бывают самими собой. Писатель должен найти тот момент, тот фокус, когда случайная гримаса слетает с лица, с жизненных усилий и раздумий героя и он виден в самобытном, глубоком, наиболее личном решении, поступке. И. Рыжов как раз и обладает этим чувством подлинности, способностью остановить, заморозить мгновение и показать именно лицо человеческое, а не стандартную маску.

Матвей Козлов, возвращающийся в родное село после душевной встречи с весной (раньше он лишь глядел на нее, но... не видел), пастух Илья Разоренов («Новый дом»), истово, горячо быющий за дом, за свой корень на земле, наконец, старик Гордей, осиротелая птица на старом гнезде («Последний корень») — все это отличные реалистические характеры, портреты современников. Они раскрывают сложность и драматизм жизненного процесса.

Эти герои вовсе не одержимы какой-то злостью к городу. И сам писатель вовсе не стремится, возвеличивая труд на земле, непременно укоризненно поглядывать на плохой, скверный город. Все дело в другом. И старуха Иванова в одноименном рассказе, ухитряющаяся держать и корову, и овец («Как же без работы-то... Одной, как сычу,

сидеть в избе»), и лесник Аверьяныч («У Аверьяныча»), знающий каждый выводок кабанов, лисью нору в лесу, и Иван Егорович («На покосе»), который на скошенную траву под палящим солнцем глядит особо — сделал «руку козырьком», — все они неосознанно, но глубоко убеждены:

*Жизнь хороша, когда мы в мире  
Необходимое звено,  
Со всем живущим заодно.*

<А. Н. Майков>.

Всем рыжовским героям вовсе не трудно понять достоинство и красоту жизни настоящего заводского труженика. Он тоже необходимейшее звено в мире. Но вот кого они не могут не только принять, но даже всерьез понять, так это растущую «прослойку» своего рода деятельных «суетливых тунядцев», прозорливое племя маменькиных сынков, застрявших где-то «посередке» в городе, безответственных «полупролетариев», как говорит рыжовский Аверьяныч.

Чем они, оторвавшиеся от земли, полубрезгливо относящиеся к ней и ныне, но и в городе усвоившие лишь некий налет «пресыщенности», идеал развязного житья-бытья, вредны в глазах старого лесника?

«— Вред, едрены палки, — убежденно говорит Аверьяныч. — Посуди сам: приедут патлатые, с какими-то бляхами на грудях — одно развращение от них. Говорят, культура, едрены палки. Тьфу, — плюется он. — Пену сняли, а до глубины не добрались. А сам знаешь, что в пене один мусор.

— Ну, не все же такие, — возражаю я.

— Не все, — соглашается Аверьяныч. — Так настоящие туда-сюда каждую неделю не мотаются, трудовую копейку берегут. Осел в городе — значит, трудись, внутрь лезь — перенимай рабочие традиции. Подошел законный отпуск — приезжай в гости, милости просим. А эти — в субботу сюда, позубоскалют, а то и подерутся, а в воскресенье с полными сумками сызнова в город. Не родителям помочь, а от родителей тащут...»

Подобных «выходцев от земли», людей, как говорил когда-то В. В. Овечкин, «без стельки», с неизменной нагловатостью, расхлестанностью, предельной опустошенностью писатель, как правило, и изображает лишь бегло, в сопоставлении с теми, на ком держится и трудовая традиция, и высокая народная мораль. Герои, как перекати-поле, не пригнанные ни к городу, ни к селу, — некая пена, которая бьется в берега устойчивых человеческих судеб, бывает то жалкой, беспомощной, а то — нередко под воздействием «зеленого змея» — агрессивной, опасной. Но зоркость художника, обостренный нравственный слух позволяют И. Рыжову и в потоке человеческих судеб выходцев из деревни разглядеть тех, кто вызывает сочувствие, чей уход от земли — подлинная мука для них самих и потеря для земли.

Старуха Прасковья («Пенсия»), век свой доживающая в городе, не заслужившая и пенсии в силу какого-то непродуманного предписания, не прониклась тем высокомерием к земле, к труду на ней, которые так характерны для «полупролетариев». Война, послевоенное лихолетье — все, кажется, могло выбить в ней жизнь, внушить глухое беспamięтство. Но для нее даже далекая деревня военных лет, голодная, с «тошнотиками», поистине «обсклетевшая», — это светлый, чудесный мир, где понимают ее обиду. И на простой тропе, ведущей в родную Каменку, — может быть, это и последний ее приезд сюда, окончательный! — она осматривает все с детской ненасытностью, жадностью и неистраченной теплотой. Рассказ «Пенсия» полон веры в доброту людей, в справедливость, он зовет к чуткости, к человечности.

Чем все же так влечет орловская деревня и героев И. Рыжова, и того героя-повествователя, журналиста, за которым угадывается сам автор?

Раздумывая над этим, вспоминая невольно И. А. Бунина, одного из самых близких писателям-орловцам художника, приходишь к выводу, объясняющему всю идейно-нравственную, глубоко патриотическую позицию автора данной книги.

Видимо, есть в мире, в жизни немалых человеческих групп — и орловское крестьянство одна из таких групп —

притяжения, воздействия, которые не утрачивают своей силы и красоты и много десятилетий спустя. Традиции труда на земле — это вековые незримые «стены» того общего дома, имя которому Россия. Эти традиции сформировались многими поколениями. И потому традиции, неписанные законы, подпирали все историческое и нравственное бытие народа многие столетия. Сама орловская земля, не столь богатая, ласковая к крестьянину, как соседнее черноземное подстепье, — это пашня, т. е. земля, вобравшая в себя и пот, и нелегкие раздумья, слезы и кровь бесчисленного множества русских пахарей и ратников. Она вся словно насыщена, «намагничена» былыми радостями и печальми.

Но ведь традиции не висят в воздухе, они в нас самих, в современниках, в наших же душах, в каждом, как будто случайном, неожиданном душевном движении. И когда Егор Иванович («На покосе») встает с косой, «поплевав на руки», идет «хакая» обдуваемый теплым степным ветром, то словно продолжается тот путь, которым шел кольцовский косарь:

*Тыдохни влицо,  
Ветер с полудня,  
Освежи, взволнуй  
Грудь широкую...*

А когда пастух Илья Разоренов легко «понимает», даже не всматриваясь в нее, лошадь, косящую «большим лиловым глазом», слышит издали внутренним слухом, как «светло-розовое молоко циркает в подойник», то в этом знании явно участвует весь трудовой опыт отцов и дедов. Кстати говоря, и сама наблюдательность писателя, его прекрасное знание всех мелочей крестьянского труда, которым отмечены рассказы И. Рыжова, — это тоже от жизненных университетов крестьянского подростка, наследника всех трудовых традиций.

Веками формировалась — и сейчас она ощутима в пахарях, лесниках, пастухах И. Рыжова — и привычка людей к медлительной долгой поступи деревенского времени, и к тем биологическим процессам выращивания из зерна колоса, це-

454 лой нивы, и чуткость к тем мелодиям обновления и расцвета, которые звучат весной в природе... Через все это не перескочишь, психику не реформируешь с наскока. А если и складывалась такая ситуация, когда человек уходил от земли, попадал в город с его непривычными ритмами труда и быта, то не сразу создавалось в нем ощущение столь же полной отдачи всех сил человека, его ума, таланта на новом месте.

Иван Алексеевич Бунин, объясняя всю силу таких же притяжений к родному гнезду, к земле, селу, писал в рассказе «Суходол»: «Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей да вот еще преданьями, прошлым и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание да песня — отрава для славянской души!»

Иван Рыжов — талантливый наследник этих замечательных традиций русской прозы. Его путь — через деревенские проселки, где живут его герои, через человеческие души, осознающие свои корни на земле, свою любовь к Родине — бесспорно, еще будет длиться, неся новые художественные открытия. Отраднo, что он обращается и к изображению самого певца темных аллей всей срединной России И. А. Бунина («Лебедушки»), к трагическим узелкам, завязанным войной в человеческих душах («Расплата»). При всей открытости, простодушии среднерусской полосы, завораживающем однообразии перелесков, синих полосок рек, деревень, исподволь возникающих на горизонте, — какая бездонная глубина прекрасных характеров, поэтических натур в этом краю. «Это бил всего лишь родничок... Целого века не хватило бы наглядеться на него», — говорит в романе «Русский лес» Л. Леонов. И отраднo, что путь, пройденный талантливым орловским писателем, подарившим уже читателю много отличных рассказов, обещает новые встречи, новые открытия в мире родной срединной России.

*В. Чалмаев.  
г. Москва, 1967 г.*

## Запах вечности

455

*Об Орловской земле, русской прозе  
и рассказах Ивана Рыжова*

## 1. Н а с л е д с т в о   Б у н и н а

**Н**ет, прямых и косвенных потомков великого русского писателя не отыскалось, претензий на право издания и переиздания написанного Буниным никто не выдвигает (да и срок истек), так что не пугайся, дорогой читатель, твое право на обладание его несравненной прозой никто уже не ущемит. Да и вообще-то речь пойдет о литературных наследниках Бунина, а их, несмотря на очевидный парадокс этого, не так уж много. Впрочем, может быть только так оно и должно быть, и даже наверняка именно так. Ведь подражать можно только горизонтальному шаблону, а до высот нужно расти. Поэтому Бунин, как и любой великий писатель, застрахован от «тиража» (и в этом смысле весьма небезынтересно, что Бродский, например, в «тираж» пошел, да еще как пошел!).

Тем не менее именно литературные наследники у Бунина есть, их двое. Имя одного известно достаточно хорошо — это Юрий Казаков, стремительно проживший отпущенную ему Богом горькую красоту жизни и оставивший пронзительные строки о ней. О нем — отдельно и с удивлением. Слишком непонятно подчас, откуда из тесноты и сырости московских дворов пробилось то великое чувство России — полевой, крестьянской или ледовитой, поморской, вовсе диковинной? И здесь как подсказка мерцает имя Бунина. Может быть, Пришвина. И, конечно, — Тургенева. Ведь, в конце концов, и про самого Бунина Ходасевич говаривал, что это — Тургенев, из которого отжали сахар повествования. Не сказать, чтобы Иван Алексеевич шибко радовался подобным аналогиям, совсем напротив — гневался, а в гневе был «зело свиреп и неистов». Однако немалая доля истины в словах Ходасевича, несомненно, есть.

Поэтому, если наследование Казакова имеет все-таки больше литературное происхождение, то следующее имя,

456 которое я назову, — если и не взывает к кровному родству, то, без всякого сомнения, говорит о родстве культурно-географическом. А в нашем случае — это разновидность родства кровного...

\* \* \*

Так получилось, что современный орловский прозаик Иван Рыжов, творческий взлет которого пришелся на нынешнее смутное время, именно в силу этого духа безвременья и разобщенности оказался вне поля зрения столичной критики (а сейчас это значит — и критики вообще). Хотя в целом, нельзя сказать, чтобы Рыжова совсем не знали, первые его вещи стали появляться в те же годы, что и повести и рассказы Ф. Абрамова, их и тогда уже отличала, если не та же глубина и сила, что у признанного мастера, то уж совершенно точно — какая-то особая чистота дыхания его прозы, ее удивительная соразмерность ритмам народной жизни. А главное — дар любви, соприродной; не вымученной и надломленной любви интеллигента, ищущего опору в земле, а именно изначально взрослого на ней человека, когда-то давно оставившего ее и теперь, из городско-го своего далека, видящего, как она утрачивается вообще. Так, что уже начинает казаться, будто, напротив, это она, земля, смотрит из его рассказов на нас — свою главную утрату — ведь, в конце концов, и вся «деревенская проза» есть не что иное, как скорбные глаза брошенной матери, Матеры...

## 2. Ч е р е з   п е й з а ж

Тем не менее в случае с прозой Рыжова дело оказалось не только в земле, вернее — не в отвлеченной «земле» как философской или историософской категории, даже не в почве, а именно в орловской земле...

Мне думается, есть что-то необъяснимо кощунственное в разного рода обстоятельных и пафосных признаниях в любви к родине на нескольких страницах печатного текста — это все равно, что нахваливать молоко матери



за высокую калорийность и богатое содержание витаминами. Поэтому прошу не счесть все нижеследующее одним из таких «признаний» — это всего лишь попытка взглянуть на всем нам знакомые вещи реально.

А необходимость в этом давно уже приспела. Хотя бы потому, что со времени известных слов Лескова о крае, вспоившем на своих мелких водах стольких русских писателей, сколько не поставил их на службу Родине никакой другой — с того самого времени этот край пополнил сия блистательную плеяду еще многими именами: Бунин, Пришвин, Андреев, Зайцев, Рыжов...

Не странно ли — все одна и та же земля... Будто хочет она высказать что-то самое сокровенное, что-то самое главное устами своих сыновей. И не может. Не может потому, что есть на свете великое множество безъязыких вещей, которые не могут говорить и даже не могут внятно «выглядеть» — они могут только пахнуть, но пахнуть — вечностью. И у тех, кто чует этот запах, вновь и вновь возникает соблазн передать его словами, образами...

\* \* \*

«Всю ночь плескалась метель, и окна теперь слепые, залеплены белым мягким снегом. Изю всех щелей дует, несет свежим снегом. Холодрыга невероятная. Снимаю ружье с покрытой инеем стенки, смотрю в черное дуло: чисто, блестяще — воронено-хорошо! Выхожу на крыльцо. Стылый влажный ветер опять набирает силу, свистит, мечется в застрехах, в печной трубе; жалобно звенят, гудят провода на столбах, скрипят, ходят ходуном старые, в снежных кружевах, ракиты — зябко. Слабо светит плоское солнце — твердый золотой диск, почти каменный; прямо от порога снежное море, розово курится, несет золотистой пылью...» (Иван Рыжов, «Богач»).

\* \* \*

В. Кожинов в одном из основных своих литературоведческих трудов, выдержавшем уже много переизданий, книге «Как пишут стихи», приводит такую «статистику»: из примерно тысячи авторов, пуб-

458 ликовавших во времена Пушкина свои стихи, поэтами стали (т. е. остались в истории литературы) не больше двадцати. И дает исчерпывающее объяснение: поэт — это судьба. Думаю, вряд ли кто возьмется это оспаривать. Более того, видимо, не будет ошибкой утверждение, что и писатель вообще — это тоже, в первую очередь, судьба. И здесь, разумеется, речь идет не о «фатуме» язычника, но о свободном волеизъявлении человека, ведь даже само русское слово «судьба» есть не что иное, как сросшееся за столетия «суд Бога». Исчерпывающе христианское, как вы понимаете, по своему содержанию языковое понятие.

Так подробно на этом я остановился только лишь потому, что в случае с «феноменом Рыжова» мы имеем дело именно с судьбой, а точнее, с ее выбором. Приведенный выше отрывок из его поздних, так называемых коротких рассказов, — и есть результат выбранной им писательской судьбы. Большинство из этих рассказов написано в последнее десятилетие, и они, на мой взгляд, — лучшее из того, что создано немолодым уже прозаиком...

Тут, конечно, многое «совпало» — послеперестроечная разруха в головах и на просторах России, горечь ежедневной лжи новой жизни и несмываемое клеймо души избранной, «неуместная», как галоши в жару, родовая деревенская порядочность, и многое, многое другое. Но главным мне все-таки видится поступок: когда благополучный, в общем-то, при любых номенклатурных «рокировочках» функционер, каким числился у себя на Орловщине И. Рыжов, из всех многообразных жизненных перспектив выбрал ...ничету. И литературу. Это, напоминаю, во времена, когда слова «чубайс», «инфляция» и «голодная смерть», аки львы рыкающие, на каждом углу подстерегали забитого и затравленного, уже и в самом-то деле неисправимо «бывшего», советского человека.

Понятно, что «не вдруг», что «давно тяготило», но все-таки есть в этой его «свободе» что-то удивительно среднее другой писательской судьбе: судьбе И. А. Бунина, любимейшего писателя Рыжова. Как сказал о такой свободе Георгий Адамович:

*«...Но никогда ты к небу не был ближе,  
Чем сейчас – без денег, без любви, в Париже...»*

Судьба внутреннего эмигранта (самая распространенная среди русских писателей в наши дни) закрепощает честного художника быту, безденежью, чему угодно — но освобождает в главном. Из «хорошей» деревенской прозы Рыжова мгновенно выветрился «партийный оптимизм» («Ну, неудобно даже как-то, отдел идеологии все-таки... Деревня, она же — передний край неусыпной заботы партии, новая стратегия, а у вас... Мрачно как-то все, повеселее надо бы, попроще, понимаете ли...»).

И вдруг дохнуло горьким дыханием жизни, старости, трагедией великой и отлетающей любви — к природе, женщине. «Как хорошо-то, Господи! Грустно и хорошо...» — восклицает Рыжов. Осень жизни, благодатная, благоуханная проза, исполнившаяся писательская судьба... А бывшие его обкомовские сослуживцы, ныне верные путинцы, прошедшие огонь и воду приватизации «новые рыночники», чешут свои непотопляемые многодумные головы да только руками разводят: одно слово, юродивый...

\* \* \*

«Даль, синева, бутылочно-зеленая речка, вековая блаженная тишь, кроткое, умиротворенное поле, стойкий лай деревенских собак — и я.

— Хорошо! И молось, молось: «Господи, продли все это: речку, птиц и меня в этой горькой и прекрасной жизни...» (Иван Рыжов. «Я»)

Можно много говорить о традиции, предшественниках, не обойтись, безусловно, без стихотворений в прозе Тургенева, без японского поэта Басе, который становится такой же плотью прозы Рыжова, как и орловский свежескошенный луг или старый городской парк, без Бунина — «до боли и скрипа зубов» ощущавшего красоту мира... Но мне думается, что не это главное. Наверное, самое важное, что определило появление этой прозы, — это дистанция. Литературная и историческая.

Ведь с тех пор, как русская проза научилась писать русский пейзаж, прошло полтора века. А что было до «Записок охотника»? У классициста Карамзина какие-то «пташки щебетали в кустах», у волшебника Гоголя «романтический соловей сладостно пел в тишине украинской ночи», и только у Тургенева мы услышали все двенадцать колен соловьиного пения и почувствовали тяжесть утренней росы на собственных сапогах.

Поэтому необходимо не просто отметить, но и постараться осознать тот факт, что русская проза училась писать природу с орловского пейзажа. И не только природу, но и то, что до недавнего времени являлось нераздельной и неслиянной частью этой природы — русский народ. (Вспомним, что живые крестьяне впервые заговорили в русской прозе только на страницах «Записок охотника». До этого — помещики, чиновники, максимум — лакеи и пасторальные «поселянки».)

В этом было немало и отрицательных сторон — хотя бы то, что особый тип орловского крестьянина, наиболее искаженный неправдами крепостничества, стал пониматься как универсальный, то есть по преимуществу русский народный тип. Между тем известно, что доля крепостных в русском крестьянстве не достигала и 30% от общего числа. А следовательно, и русский Север, и Урал, и Сибирь-матушка, да и, вообще, подавляющая и корневая масса русского крестьянства до 20-го века оставалась неузнанной. До Абрамова, Шукшина, Распутина, Астафьева, Белова...

Тем не менее нельзя забывать, что и эти наши классики голос-то ставили по «орловским нотам», и литературными «азами» для них стали изрезанные оврагами бесконечные поля и перелески Орловщины. Хотя и трудно, пожалуй, назвать азами — Тургенева, Лескова, Бунина, Пришвина...

\* \* \*

У литературы весьма странные отношения с действительностью: и если сначала действительность населяет литературу, то затем уже литература населяет и раздвигает действительность. Классический пример

тому — «тургеневские девушки» и «нигилисты Базаровы», появившиеся в действительности именно после литературы. Однако с природой неодушевленной не все так однозначно, как с одушевленной — и если в приведенном случае мы можем говорить о подражании литературе и прочем, то каково воздействие литературы на пейзаж? Тот самый, азбучный, орловский?

Безусловно, не такое — и даже приди в голову Тургеневу или еще кому написать о неких «утко-дроздах», вряд ли они засвищут в Орловском Полесье. Тем не менее воздействие есть, оно ощущается. И это, пожалуй, самое точное определение. Учитывая безусловную еще совсем недавно, сомнительную нынче и все-таки снова чаемую в будущем всеобщую грамотность, а также и сам институт общеобразовательной школы — мы можем утверждать совершенно смело, что всякий, кто прочел, скажем, Бунина, будет воспринимать тот же орловский пейзаж уже иначе, уже со всей той инаковостью, какую Бунин поселил в нем.

И имя Бунина здесь возникает не случайно — ведь если в Тургеневе русская проза знакомилась с классическим русским пейзажем, то в Буinine она с ним впервые прощалась. Когда по мере отдаления детали делались все отчетливей и отчетливей...

«Большое видится на расстоянии...» — сказал наш национальный поэт. Для того, чтобы так зримо и прощально увидеть Русь, как увидел ее Рыжов, потребовалось большое расстояние. И литературное (Бунин), и историческое (конец XX века).

Рассказы Рыжова невелики — страничка, максимум полторы. Это то, к чему в конце жизни, по сути, стремился и Бунин. Известно, что при всех поздних правках он себя только сокращал, попросту вычеркивал целые абзацы. Однако, как мне кажется, таково было не одно лишь субъективное желание Бунина — к этому стремилась вся подлинно реалистическая линия русской литературы, которая уже упоминалась в этой статье. До «деревенской прозы» включительно. Недаром Распутин назвал рассказ — основной литературной формой конца

462 XX века. Логическим завершением чего стал именно маленький рассказ.

«Кроткий убогий день. Был — не был. Гостил — уехал. На серо-зеленом лугу стоял, прядал, густо ржал золотой конь. Стоял, прядал — ноги стройные, в белых носках, бока полные, атласные, хвост волончатый, грива ржаная, длинная, ляжки тугие, точно резиновые, ноздри широкие, мокрые, теплые, глаза карие, налитые, влажные, сам весь светло-рыжий, недоступный — сказка!

Подхожу, смотрю, трогаю — морозится, вздрагивает, напрягается... Глаза яркие, бешено-выпуклые, косят в мою сторону: вот-вот ударит литым тяжелым копытом. И в то же время ластится, тянется мягкими влажными толстыми губами.

Ласкаю, шепчу, трогаю, упиваюсь...»

Читая это, вдруг понимаешь, явственно ощущаешь, как все крохотное пространство рассказа (небольшая картина в рамке) начинает источать запах вечности, будто вечерние травы, напитавшиеся росой. Родной и древний мир смотрится в тебя. Но откуда такая глубина проникновения в него, в родной пейзаж? Где корни этого небывалого реализма?

Наверное, сама извечная неустойчивость нашего национального бытия, какая-то неизбежная трагичность его дают русскому писателю эту невиданную глубину проникновения, эту дивную способность мгновенного прощального созерцания. Вот оно: вот-вот исчезнет со всеми своими деревнями и пашнями. Придут, сожгут. Татары, поляки, французы, немцы... большевики...

И это не просто история — это уже особенность нашего соборного мироощущения. Созерцающее сознание — ясное, как перед боем, пронизывающее все национальное бытие в своей единовременности, вдруг. Ведь его вот-вот не станет, исчезнет...

«Шелковый потертый луг, темно-лиловое небо, хрустальное бормотанье сонной птицы. Медленный хруст мертвого первобытного песка на берегу речки. Говор мужиков, это древнее ржание. Был — не был. Гостил — уехал. Куда?...»

Владимиру Кострову принадлежат удивительные слова: «Бог говорит с русским человеком через пейзаж». Здесь начинается наше Богообщение. С последними вопросами и ответами. Когда в едином миге все это — и луг, и ржущий конь, и деревенька на берегу — осознаются как последние ценности, осознаются во всей неподъемной тяжести их близкой утраты. И именно это дает нам силы отстоять, отвоевать, обустроить заново. До сих пор давало...

Таково, думается мне, единое русское ощущение, переживание единой общерусской судьбы. Но почему же все-таки Орловщина — то место, где «запах вечности» ощутим, как нигде?

Скорее всего, потому, что в течение многих веков именно через орловскую землю пролегла дорога всех нашествий на Русь — что с Юга, что с Запада. И если, например, на Вологодчине иной забор старше, чем все Соединенные Штаты вместе взятые, то в Орле нет ни одного старого дома, который бы не пострадал от бомб, снарядов, огня и меча.

Именно здесь возникало, веками складывалось напряженнейшее ощущение русского бытия — ощущение его постоянной утраты, дрожащее, как натянутая струна, чувство Родины.

Оно и подарило нам имена Тургенева, Лескова, Тютчева, Фета, Бунина, Пришвина. А на излете XX века, в годы вновь подступивших утрат, дивную прозу Ивана Рыжова — «горькую и прекрасную», как сама наша жизнь...

*Р.С. В то же время, если задуматься, ничего так и не обнадеживает, как вот эта извечная прерывчатость, катастрофичность нашего национального бытия. Потому что в ней самой кроется какое-то удивительное постоянство, которое является не только постоянством потерь, но и постоянством одолений!*

Алексей Шорохов.  
«Роман-журнал XXI век»

## Завороженность

*(Поздняя проза Ивана Рыжова)*

\* \* \*

Подводя итоги, век проводит ревизию и переучет ценностей, обнаруживая при этом, что как-то поторопился по ходу дела с прославлением и канонизацией отдельных явлений и лиц и походя проглядел другое, куда более значительное... Растерянность, постигающая нас на пороге, — не оттого ли?

\* \* \*

Утратив позитивные основания критического метода, филология объявила в литературе чрезвычайное положение постмодерна, — когда художнику уже нечего сказать, и поэтому позволительно говорить что угодно, а критику оценивать как угодно. Игра в бисер, разметанный перед свиньями. Критики предпочитают охотиться стаями. Каждая назначает свои объекты поклонения: столпы, у которых подобает отмечаться. То же с приношениями в жертву: соучаствовать положено всем своим. Большинство же прочих писателей вне поля зрения — вне игры в бисер. Особенно в провинции. Вид из столицы на текущий литературный процесс вызывает у маститых критиков некое безадресное умиление: надо же — еще пишут! Ах, велика Россия...

\* \* \*

Так по большому счету пропущен критикой Иван Рыжов. Автор многих книг, журнальных и газетных публикаций, лауреат престижных премий (в том числе особо значимой: Бунинской) — он почтен толикой похвал, но по-настоящему еще не прочтен. Инерция восприятия предьявляет его читателю как представителя деревенской прозы, прилежно следующего бунинской традиции: конкретика плана содержания — поэтика плана выражения. Основания для первоначальной оценки достаточны. Ду-



мается, что Рыжов был убежденным реалистом — доколе сама реальность была убеждена в своей достоверности. Системный кризис конца века стал испытанием художественного метода.

\* \* \*

Биография Рыжова маркирована знаками века. Увидел свет в канун террора (апрель 1936-го) — и вышел в свет на исходе оттепели (первые публикации в 1963-м). Родился в деревне Коровье Болото, а живет в городе Орле: из вязкости натурального быта в пространство парения духа... Школа. Флот. Завод. Литинститут. Газета. Власть. Телевидение... В общем — биография. А жизнь проистекала в текст. Иван Алексеевич, двойной тезка Бунина, не столько обстоятельствами выбора, сколько избирательным сродством был вовлечен в пустое место, образованное в советской литературе настроенностью власти к творчеству нобелевского лауреата. Наряду с Паустовским и Казаковым, Рыжов в пору доминанты тематического подхода удерживал примат стиля. За что и поплатился, — снисходительным небрежением критики и ехидным невниманием коллег по цеху: наследование метода было трактовано как следование по стопам. Рыжов не спорил. Рыжов писал. Рассказы, ставшие в своем роде классическими. Издательства охотно брали крепкие и пронзительные новеллы, отвечающие тайной ностальгии РСФСР по России. Наиболее полюбившиеся выходили в заглавия книг: «Аринкин хутор», «Зеркало», «Звезды в травах», «Под одной крышей», «Кинь Грусть», «Звезда любви приветная»... По рассказу «Запах земли» режиссер Антон Васильев на «Мосфильме» снял фильм «Блажной». Георгий Бурков, сыгравший героя, отмечал в интервью глубину и цельность сотворенного Рыжовым характера. Трудный российский быт претворился в рыжовской прозе в стиль жизни. По авторитетной теории Х. Блума, «страх влияния» слабого художника делает комичным эпигоном, сильного — трагичным новатором.

\* \* \*

От прежнего Рыжова критика отписалась общим одобрением; перемены в нем, глубинные сдвиги, просто-напросто проглядела. Преданность стилю освободила писателя от почвеннического канона. Так освобождаются от долга — исполнив сполна. Свобода дается духу не как облегчение от тягот, а как новое страдание. Рутинная повседневность слетает, как отмершая от действительности шелуха, и обнажившиеся глубины завораживают... Для отражения измененного видения Рыжов избирает новый жанр. Пробраз формы — в тургеневских «Стихотворениях в прозе»; спустя полвека (1930) в краткие лирико-философские миниатюры изливается Бунин. Какие-то параллели прочерчиваются в прозе Акутагавы, Борхеса. Из поздних русских проб вспоминаются «Камешки на ладони» Солоухина и «Мгновения» Бондарева. Но Рыжов — иное.

\* \* \*

Критика, обожравшаяся «Голубым салом» (постмодернистский бестселлер В. Сорокина), сдержанного новаторства Рыжова просто не заметит. Суть метода проста: художник — подобно мастеру дзэн — несколькими точно рассчитанными случайными штрихами («Штрихи» — так Рыжов именует свои новые вещи) очерчивает обнаруженную в мире пустоту — прореху в ткани бытия, сквозь которую сквозит мир иной. Видение порождающей пустоты — как наваждение.

\* \* \*

Около ста миниатюр вошли циклом «Настроение» в предыдущую книгу «Позднее свидание» (Орел, 1996); еще с полстолько рассыпано в редкость по страницам местной печати. Все вместе представляет некую странную общность, подобную завораживающему действию калейдоскопа. То, что осталось от позитивистской картины мира, напоминает россыпь пестрых осколков, в зависимости от поворота мысли складывающихся случайным образом в прихотливые узоры, подчиненные логике зеркала. Иллюзия порядка лишена разумного основания и

перспективы. Можно так, а можно и эдак. И никто не может промыслить, — что потом. В поздней прозе Рыжова свободно взаимодействуют фрагменты разных пластов быта и уровней бытия, разрушенных мощным течением века, прорвавшего плотину социалистического строительства и несущего прочь обломки. Настрой текста задается неустроенным ритмом, возникающим из опыта стиля, упорядочивающего хаос мысли о времени. Язык рассказа составляется из взаимодействия разных и разных дискурсов — от косноязычия до изощренности речи, от диалектной сочности выражения до утонченного аскетизма фразы. Все событие текста — на пространстве в ладонь. Весь цикл — мозаика фрагментов, соразмерных этим фрагментарным рассуждениям о них.

\* \* \*

Зерном рассказа может стать слово, стихотворная строчка, случай, анекдот — любой житейский сор. Стиль кристаллизует прозу жизни в высокую прозу. Но истинным содержанием становится то, что сможет вложить от себя в ограненную речью пустоту страницы сам читатель. Ибо основной троп (риторическая фигура) позднего Рыжова — эллипсис, опущенное средоточие, фигура умолчания о главном. Завороженный течением жизни, автор усматривает в нем таинственные омуты, и их моделирование в течение текста есть суть его прозы. Проговаривание от первого лица, как и нарочитый автобиографизм фрагментов, — не более чем художественный прием. Нарратор (повествователь) не персона автора, но его аватара, то есть воплощение в условности текста его жизненной позиции. И не более. Но и не менее. Рядом всегда есть место читателю. Вам. И когда кто-то по ходу рассказа восклицает: «Господи! Хорошо-то как», — вы уже не отдаете отчета, кто это выдохнул из себя: Бунин, Рыжов или вы сами. Да это уже и не важно.

\* \* \*

В объективе-калейдоскопе Рыжова — жизнь. Жесткая, нежная, бессмысленная, беспощадная, расхристан-

468 ная, безъязыческая, — живая, Господи! — все еще живая. Оттого рефреном: как грустно, как дивно, как хорошо. Сжатое пространство текста перенаселено персонажами: беспросветно пьяные мужики — любители и профессионалы, бодрые персональные пенсионеры и гнутые унылые старухи, заурядные злые бабы и грешные красивые женщины, косноязычные ораторы и стихийные философы, трудяги и паразиты, блаженные и чокнутые, потасканные кобели и прочие сукины дети... А еще кошки, собаки бегают, летают бабочки, птицы — все Божье чудо, все хорошо! Это философское кредо автора, который в ипостаси персонажа постоянно присутствует в происхождении события сюжета. Общее для всех — посконная земля и заплатанное небо, где нарезает медленные круги посторонний ястреб...

\* \* \*

«Штрихи» Рыжова — улыбка чеширского кота, хлопок одной ладони, они не принуждают к морали, но вынуждают к мышлению. Рыжов вовлекает в восприятие, учит двигаться в пустоте. Непривычный читатель недоумевает: а что мне тут делать? — Живи. — Нет, вы мне скажите, что такое хорошо и что такое плохо! — Сам разберешься, не маленький... И худо-бедно разбираешься. А рассказчик не столько рассказывает, сколько умалчивает; стоит за плечом и дышит, отточит точку и запнется на запятой, потопчется на многоточии — и исчезнет, оставляя тебе право досказать все по-своему. «Настоящий конец в том, что старик повесился», — комментировал некогда Хемингуэй свой рассказ-айсберг. Рыжов оставляет своих стариков на нашей совести: кто хочет, может повесить, кто милосердней — помилует. Развитие сюжета не predetermined; тема открыта для вариаций. В новой прозе Рыжова косвенным образом происходит позднее свидание великих антиподов русской литературы, Бунина и Набокова. Насколько постмодернизм обладает творческой потенциальностью, ее проявление свободно в выборе автора.

\*\*\*

(В свое время в тени неканонизированного классика Рыжов обнаружил пространство свободы. По путеводной нити стиля он выходил из методического тупика социалистического реализма. Если бы я был склонен к патетике, я написал бы так: Рыжов давно преодолел в себе Бунина, и настоящим alter ego его стал Набоков. Со «своим стариком» Рыжов во всем согласен, а с тем упорно спорит, что гораздо для творчества плодотворнее. На архитектонике «Настроений» дальние отсветы «Бледного огня». Поскольку Рыжов в самооценке скромн, а я не склонен к пафосу, то я этого писать не стану, но мнение во мне укоренено прочно.)

\*\*\*

От Бунина точность детали и отточенность эпитета. От Набокова понимание новой формы. Пространственная структура фабулы в рассказе «Ночь» совмещает гостиничный номер, прирученную природу и родной дом. Темпоральная динамика проводит странную кривую из настоящего времени декабрьской ночи через прошедшее мимо осеннего огорода воспоминание в давнопрошедшее тепло детства — и параболой возвращается в настоящее, открытое в будущее предрешением поездки домой. Сюжет замкнулся, но замкнутости нет. До конца договаривает тот, кому по сути нечего сказать.

\*\*\*

(В ту же страничку «Ночи» вместился автопортрет: автор походя отразился в ночном окне. «Высокий покаты́й лоб, лысая с седыми венчиками волос, продолговато-круглая, как дыня, голова». Прямой нос, кошачьи глаза, уши-локаторы... Нет, все же это персонаж. Настоящий Рыжов похож на расстриженного Деда Мороза. Добр там, где к добрым относятся настороженно. Его учат-учат уму-разуму, — а он бывает по случаю сердитым, а злым — нет. А коли и выразится в сердцах, так тут же нечаянно-мусульманским жестом омоет уста — и вновь свое, отмеряя в пустом воздухе растопыренной пятерней ритм спонтанной прозы...)

\* \* \*

На безусловной оригинальности и первичности своей настаивает более всех тот, кто менее других в ней сам уверен. Рыжов — мастер; ему ли суетиться попусту. Он творит свободно из подручных средств. Цитата из Псалтыря. Хайку Басе. Возникший по ходу мысли вопрос (вынесенный в заглавие) — что лучше? Молитвенный текст: «Дай, Господи, мне то и это...», — но мы так и не узнали, чего он просил у Бога, как не знаем сами — о чем просить для себя, помимо избавления... да, а где же автор-то? Ушел. А как ушел — мы и не заметили. А нам оставил медитативный текст: всего 44 слова, включая предлоги и союзы. А ведь какая славная компания собралась — ветхозаветный пророк, японский поэт, русский прозаик и аз, грешный... Жаль, ненадолго. Но, как сказал блаженный Августин, — все, что кончается, слишком коротко. Но ведь поговорили и поняли друг друга. Надо надеяться, что когда-нибудь сойдемся снова. При посредстве Рыжова.

\* \* \*

Завороженность текстом, замороженным таинством жизни, сродни сну. Реальность нелюбезна, но сны, проникающие ее, как промоины в грязном весеннем насте. «Слежу, слежу, падаю — не возвращаюсь». Это сон. Это рассказ (?) «Сон». Девять завораживающих строк, лишенных синтагматической связанности: связь по смежности желания и памяти.

\* \* \*

Стиль не ворожба, но следствие приверженности пера миру, где прекрасное нерасторжимо перевернуто с печальным. В этом состоянии художник осторожно освобождает слова из силков синтаксиса и отпускает на волю, и летят они легкими стайками в белом небе листа, огибая зияющие пустоты, в которых порождается смысл... А над полем страницы, склонив высокое чело в венчиках седых волос, незримо сущ создатель сего, и думает о своем, а мы — о своем, а оказывается оно у нас общее.

\*\*\*

471

В отделе писем одной газеты лежит неопубликованным письмо сельской учительницы: «...было мне днями плохо и тяжело, пришла домой, взялась за газету — и прочла миниатюру И. А. Рыжова; верите ли, — на душе стало светло; грустно — но светло». Позднее свидание с читателем состоялось. По взаимной любви.

\*\*\*

Завороженность — не рабство предчувствиям; скорее, наоборот: обостренная свобода ума в предощущении чуда, долженствующего случиться здесь и сейчас, в неприглядной российской действительности, — и не вопреки ей, а из нее самой. Художественное осмысление препятствия течению жизни суть преодоление. Высший смысл творчества — оправдание надежды.

\*\*\*

Но бывают дни, когда горизонт обложен сплошь, и сердце придавлено тяжестью непомерной, и меркнет свет над листом чистой бумаги... Какое уж тут вдохновение. Муза со вздохом уходит к другому, молодому и дюжему.

А надежда... а вот надежда остается. Рыжов переходит от «Кратких рассказов» к «Дневнику писателя». Общим эпиграфом к предыдущей книге стояла цитата из Бунина: «Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле». Эпиграф предвещал переход к автобиографичности. Или так: к монографичности — описанию опыта своего одиночества. Стилистически эта эволюция более чем оправдана. Все экономнее в художественных средствах поэтика текста, все дальше от прописи непосредственное письмо, все тоньше слой амальгамы на зеркале, отражающем мир, — и вот уж не зеркало перед читателем, а прозрачное чистое стекло, и сам Рыжов от первого лица пишет о себе и говорит о своем. Так соткался в текст «Дневник писателя».

(...Словно Рыжов провел ладонью от высокого лба к упрямому подбородку, стирая отрешенное выражение, присутствующее авторству — если хотите: творчеству — и открылось

472 ничем не защищенное лицо человека. И вот что удивительно, вот что в редкость — это одно и то же лицо! Проза Рыжова при перемене жанра сохраняет аутентичность — то есть подлинность).

\* \* \*

Рыжов ведет речь от первого лица, а с первого спросу больше. Если авторская интонация не совпадет с интенцией текста, встроенной сверхзадачей, — публицистика в пылу жаркой полемики разваривается в газетную лапшу. Ту, которая и так уже у всех на ушах нависла и в зубах навязла. У Рыжова не так. Он ни с кем не спорит и никому не вторит, он не устраивает своей точки зрения на хорошо защищенной партийной позиции. Он берет риск высказывания на себя и не боится впасть в ересь. Пристрастен ли Рыжов в своих дневниках? Конечно. Он стоит при страсти своей, при высокой страсти к русскому слову, хранящему в сокровищнице своей что было, что есть и что будет с нашим народом. Поэтому частное высказывание писателя есть часть общей правды. Рыжов в публицистике одновременно субъект и объект, заинтересованный свидетель современности и потерянный персонаж своей истории. Отдельно взятый человек, который не может и не хочет быть отдельно от времени, от народа, от призвания своего.

\* \* \*

Вы можете не соглашаться с мнениями Рыжова. Ваше право. Рыжов не ищет сообщников. Думайте сами, думайте иначе — но думайте, черт побери! (прости, Господи...) Думайте, а не пережевывайте газетную жвачку, пуская яростные слюни. Мне кажется, что иногда Иван Алексеевич сознательно сгущает субъективность свою, чтобы заставить читателя через противоречие выявить свое понимание реальности, данной нам в ощущениях, но ускользающей в описаниях. Оттого и запальчив бывает Иван Алексеевич, и резок в оценках. Далек не всегда он рассудителен, но чистосердечен всегда. Публицистика как таковая не декларация убеждений, но означенное и мотивированное отно-



шение личности к безличному злу. А дневник... что ж, и дневник ведь не исповедь, и даже публикация его здесь и сейчас не демонстрация авторского тщеславия; скорее это акт отчаяния писателя, уставшего от равнодушного невнимания. Рыжов как наиболее чувствительный нерв в открытом переломе эпохи. Он избывает в спонтанном тексте свою душевную боль и умственную смуту, не ставя целью кого-либо вразумлять или задабривать. К наболевшему в глубине таланта слову от себя прибавит Бог.

\* \* \*

Чтение опубликованных дневниковых записей Ивана Рыжова не праздное занятие; ленивому любопытству тут нет удовлетворения. Рыжов дает показания о себе, но довлеет гнев и злоба его, темная ярость новых «окаянных дней» России. Прямая речь открытого дневника — еще одна отсылка к опыту Бунина. Стилеобразующая общая черта совпадает с линией судьбы. Исповедник слова, Рыжов свидетельствует о времени, хранит верность призванию и обличает неправду века сего. То он гневен и суров, как пророк на площади. То он смирен и смущен, как грешник в синклите. Поэт (а Рыжов в тонкости восприятия своего поэт несомненный) в России отныне не больше чем поэт; он не меньше как юридивый. Кому как не ему распинаться за всех и пропадать со всеми, «ругаться греху» и совращать в добротолубие? Кому, если не ему?

\* \* \*

В своей публицистике, отлитой в форму откровенного монолога, Рыжов уже не инстанция высказывания, а часть речи, единица живого русского языка, на котором выражается еще никем неосознанный скрытый смысл нашего времени. Состояние замороженности сродни пророческому. Даже когда художник слова говорит о том же, что и все, его чуткое ухо, его чувство стиля находит в хаосе опорные точки упорядоченности, соразмерности — то есть гармонии. Из шума и ярости разноречивой и противоречивой толпы в поздней прозе Рыжова прорезается глас народа.

(...Иногда среди сплошного разговора Рыжов западает в невидимую собеседнику паузу, смолкает и как бы теряется, а затем почти неощутимо подбирается, выпрямляется — и, напрягая позвоночник подобно скрытому луку, высказывает главное... словно кто-то из него или посредством его послал импульс силы, вложенный в простые и ясные слова. Очень может быть, что этот образ Рыжова рожден не столько наблюдением, сколько чтением его. Наверное, это не так важно. Вот книга, — а в ней летящие в сгущенном воздухе времени точные стрелы отточенных слов. Дай Бог им достигнуть...).

*Владимир Ермаков.*



# *И*риложения

библиография  
указатель имен



## Библиография

477

«Под одной крышей», рассказы. М., «Советский писатель», 1967 г.

«Последний корень». Тула, Приокское книжное издательство, 1968 г.

«Кинь Грусть», рассказы. М., «Советская Россия», 1971 г.

«Горькая рябина», рассказы. Тула, Приокское книжное издательство, 1976 г.

«Звезды в травах», рассказы. Тула, Приокское книжное издательство, 1984 г.

«Длинные дожди», рассказы. М., изд-во «Современник», 1989 г.

«Звезда любви приветная». Тула, Приокское книжное издательство, 1989 г.

«Зеркало», краткие рассказы, эссе. «Вешние воды», 1992 г.

«Аринкин хутор», рассказы и повесть. «Вешние воды», 1994 г.

«Позднее свидание», рассказы. «Вешние воды», 1996 г.

«Встреча», краткие рассказы, публицистика. «Вешние воды», 2000 г.

## Книги для детей

«Открытие». Тула, Приокское книжное издательство, 1967 г.

«Вратарь Сашка Катуков». Тула, Приокское книжное издательство, 1970 г.

## Публиковался в журналах

«Роман-газета», «Роман-журнал XXI век», «Огонек», «Наш современник», «Крестьянка», «Муравейник», «Форум», «Бежин луг», «Десна», «Полесье» (Белоруссия), «Русская земля», «Земский вестник», а также в еженедельниках «Литературная Россия», центральных и областных газетах, коллективных сборниках.



## Указатель имен, написанный как авторский комментарий

479

### **Иван Александров.**

Старейший и мудрейший поэт. Живет во Мценске, большей частью в деревне. Оттуда и его корни, оттуда и его чистота и мудрость стихов... Глубинный, земной человек. И стихи его, и он сам — простота, правдивость, честность. И неизбывная любовь — к Пушкину, Фету, Толстому... Что может быть лучше?

### **Сергей Антонов.**

Знаменитый, очень популярный писатель в 60 – 70-е годы, автор «Поддубенских частушек», «Дело было в Пеньково», «От первого лица» и др. Часто приезжал в Орел, в Спасское. Познакомились, мило беседовали за рюмкой вина, приглашал настойчиво в Москву, на ВЛК (Высшие литературные курсы). Не поехал. Я не люблю ездить в Москву без крайней необходимости. Так и увяло наше знакомство.

### **Александр Бабореко.**

Один из лучших (а пожалуй, самый лучший) исследователей и комментаторов творчества Бунина. Он первый, еще в советские годы, написал и издал книгу «И. А. Бунин. Материалы для биографии». Переписывался с В. Н. Буниной, Алдановым, Адамовичем, Зайцевым и др. Писал, комментировал честно, смело, а потому и не дали ему возможности поехать в Париж, в Грасс к любимым местам, где жил его любимый Бунин.

Благодаря А. К. Бабореко я единственный в Орле имел счастье получить от него «Грасский дневник» Г. Кузнецовой, «Жизнь Бунина», «Беседы с памятью» В. Н. Муромцевой-Буниной, «Окаянные дни» и др.

### **Светозар Барченко.**

Светлый, добрый человек, талантливый писатель. Познакомил нас Михаил Колосов. Подружились, а потом как-то исчезли надолго. И однажды вдруг звонок из Москвы: «Ваня?

**480** Куда пропал? Хочешь издать книгу? Я теперь главный редактор издательства «Современник».

Сначала не поверил, потом обрадовался.

Так появился мой сборник рассказов «Длинные дожди».

**Дмитрий Блынский.**

Высок, строен, красив. Чем-то похож на Есенина. Талантлив был необычайно. Уже в молодости его стихи становились песнями, его высоко ценили Исаковский, Слуцкий, Цыбин и другие поэты.

Встречались мы часто, как всегда, выпивали, и тогда его было не удержать – читал и читал свои стихи глубоким баритоном. А я слушал, наслаждался и его стихами, и его русской красотой. Как и всякий талантливый человек, был скромн, прост, обаятелен. Орловщина может гордиться таким поэтом и человеком.

**Евгений Горбов.**

«Писатель большой лирической силы» – сказал о нем К. Паустовский. Его повести «Феня», «Куриная слепота», роман «Дом под тополями» издавались еще тогда в центральных издательствах, его читали во всей великой стране – Советском Союзе. А жил в провинции – в Ельце, в Орле, работал рядовым сотрудником в «Орловской правде». Был единственным в городе в то время членом Союза писателей СССР, ему дали рекомендацию для вступления в Союз писателей Паустовский, Федин, Караваева. А я горжусь, что Горбов дал рекомендацию в Союз писателей мне. Добавлю: он единственный из орловцев занесен в старую литературную энциклопедию.

**Владимир Громов.**

Редкая эрудиция, наполнение понятий, знания обширные – стыдно стоять, а тем более говорить с ним. Стыдно от своего скудства, верхоглядства...

**Виктор Дронников.**

Росли на одной улице, бегали, защищали друг друга; теперь бородатый, горячий, прекрасный поэт, пишет нежно-грустные стихи, как редко кто:

*Скоро-скоро отцветет долина,*

*Скоро пчелам погружаться в сон.*



*На бордовой шапке георгина  
Греет крылья дивный махаон.*

**Вадим Еремин.**

Скромный, вроде незаметный человек, благородный, мягкий, понимающий. И честнейший необыкновенно. Как и его творчество.

**Владимир Ермаков.**

Умница, образованнейший, начитанный — до него идти, идти — не дойти. Пишет стихи, прозу так сложно — не продраться. Но это на первый легкий взгляд. Вчитаясь: глубоко, точно, печально...

Хорошо с ним общаться, напиваться...

**Анатолий Загородний.**

Восточный человек, хотя и русский. Приехал из Казахстана. Эрудированный, любит неординарную литературу — Достоевского, Набокова, Павича... Сложно понять — сам пишет мало.

**Юрий Казаков.**

Больше знали за границей, чем у нас в России. Как-то к нам, студентам Литинститута, приехал на встречу тогда всемирно известный французский писатель Сартр. Вопросы, ответы. Я спросил: «Как вы относитесь к творчеству Бунина?» Внимательно посмотрев на меня, ответил: «Хорошо отношусь. Но вы читайте рядом живущего Юрия Казакова. Не пожалете — прекрасно пишет».

А я уже давно читал Казакова, любил его страстно. Его рассказы просто не отпускали: живописность, запахи, звуки, покоряли музыкой слова; все очень точно, и все пронизано острой, даже какой-то восторженно-печальной, а порой и горькой любовью к человеку, к закатам и восходам, к медленным рекам, полям, а особенно к суровому Северу. Отдельные его рассказы достигли уровня Бунина, Чехова...

Зная мою любовь к Юрию Казакову, Дмитрий Порущкевич, отдыхая в Доме творчества в Гаграх вместе с Юрием Павловичем Казаковым, с которым он подружился, поздно вечером позвонил мне: «Слушай, Казаков написал два замечательных рассказа. Согласен отдать в «Орловский комсо-

482 молец». Звони. – И дал мне номер телефона. – Учти только, гонорар повышенный и высылай сразу».

Не раздумывая, заказал Гагры, Казакова, дожидался долго. И вот слышу заикающийся голос: «Ваня, согласен, печатай, только деньги высылай вперед. Сижу без копейки».

Он вообще-то был бедный человек, денег ему всегда не хватало.

И я горжусь, что его последние рассказы «Свечечка», «Во сне ты горько плакал», который я считаю одним из лучших во всей русской литературе, появились на страницах «Орловского комсомольца».

Потом Казаков дважды приезжал в Орел к Дмитрию По-рушкевичу, хотел порыться в архивах литературного музея, написать книгу о Бунине. Не написал, умер рано – в 55 лет. Да и написал он сравнительно мало. Все написанное входит в один большой том. Но как написано! Дай Бог каждому писателю так писать.

В России его ценили разные по взглядам и стилям писатели: Астафьев и Битов, Трифонов и Лихоносов, Панова и Конецкий...

Широкой читательской публике он был мало известен: в России не получил никакой премии, награды, зато во Франции и Италии присудили ему престижные национальные премии.

### **Василий Катанов.**

Основательность, обширное прочтение (а от того и знание) русской старины, нашей истории. Иногда противоречивость в толковании ее, но... Все на пользу, все хорошо...

### **Михаил Колосов.**

Познакомились случайно. Приехал в Орел от газеты «Сельская жизнь» писать о залегощенских девчатах-трактористках. Тогда это было модно. Прониклись симпатией, подружились. Напечатал несколько моих рассказов в газете. Потом перешел в издательство «Советская Россия» и там издал мою книжку «Кинь Грусть». Затем стал редактором еженедельника «Литературная Россия» и регулярно публиковал мои рассказы.

Симпатия, дружба были взаимны. Он дружил с Носовым, Беловым, Астафьевым... И познакомил меня с ними.

Спасибо ему за все.

**Юрий Кузнецов.**

Учились вместе в Литинституте, жили на первом курсе в одной комнате общежития. Тогда еще не видели в нем большого поэта, запросто, ночью, посылали его за бутылкой водки к таксистам. На входе и выходе ночью никого не выпускали, и он лез с пятого этажа по водосточной трубе. Был ловок, смел, силен. И никто не предполагал, что он станет выдающимся русским поэтом. Ведь в то время рядом были Рубцов, Передреев и др.

И вот теперь я осознал, какая это невосполнимая потеря — преждевременная смерть Юрия Кузнецова не только для поэзии, но и всей русской литературы.

**Анатолий Лесных.**

Все как-то в стороне. А потому, что не член нашей организации. Странно как-то. Пишет стихи, прозу. И неплохо пишет. Непонятные мы люди — от других ждем доброты, а сами жестоки...

**Игорь Лободин.**

Воздушное, нежное перо. Ведь его в свое время благословили Астафьев, Белов, Носов... Длитель и длительно бы эти поощрения старших, близость творчества.

Но споткнулся... и спотыкается до сих пор.

Люблю, печалюсь, верю...

**Александр Логвинов.**

Могучий ум. Особенно во хмелю. Разговорится — не удержит. Мысль острая, глубокая, только записывать. Говорю ему об этом — не слышит... Зря!

**Александр Лысенко.**

Удивительно контактный, доброжелательный человек. Директор издательства «Вешние воды», выпустивший в свет всех орловских литераторов — с любовью, заинтересованно. Некоторые обижаются — не так. Не понимаю: а как? Славный человек!

**Владимир Мильчаков.**

Первый ответсекретарь Орловской писательской организации. Его перетянул в Орел Иван Михайлович Патенков

**484** (добрая память ему). Это ими и была создана организация. Высокий, объемистый, Владимир Андреевич как-то сразу врос в Орел, создал доброжелательную атмосферу. Он нежно относился к молодым, начинающим литераторам. И недаром его считали и своим учителем, и наставником Толя Шилиев, Витя Дронников. Многим обязан и я ему.

### **Олег Михайлов.**

Давний буневед (один из лучших, не считая А. К. Бабореко). Его очерк творчества Бунина, написанный и вышедший в издательстве «Наука» еще в 1967 году, написанный с советских позиций, вызвал неприязнь и ругательную критику. Но стойкого и строгого к слову О. Михайлова это не смутило. Потом выходили еще книги о Бунине — «Строгий талант» и др. Писал Олег Михайлов и художественную прозу. Пытался опубликовать и мои рассказы в журнале «Сельская жизнь», где он тогда работал. Но не получилось. Бог ему простит, а я тем более.

### **Владимир Муссалитин.**

Это как в песне (не ручаюсь за точность): «Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове хорошая погода...» Вот и Володя — всегда хорошая личность — доброжелательная, внимательная, вдумчивая. Я долго проработал с ним в «Орловском комсомольце», немало вместе были в командировках в разных селах и всегда удивлялся, как он быстро находил общий язык с разными людьми. Его любили. Люблю и я. Как человека, как писателя.

### **Евгений Носов.**

Классик русской литературы. Познакомились на каком-то литературном семинаре. Он прочитал мои рассказы, и они понравились. Чем-то понравился ему и я. Потом он часто предлагал мне: «Переезжай в Курск. Будем рядом».

Общаться с ним было наслаждением. Но я всегда шутиливо отвечал: «Вы — гора. И в ее тени всегда будешь незаметен. А у себя, как в присказке: «Я первый парень на деревне, а в деревне — один дом».

Он тепло улыбался, хмыкал, говорил:

— Ну, ну, гляди, тебе видней.

Евгений Иванович часто приезжал в Орел, в Спасское, всегда звал с собой. Разговоры, разговоры, о литературе, писателях, о жизни. Говорил он медленно, раздумчиво, как и писал.

При жизни его творчество было высоко оценено, он получил Государственную литературную премию РСФСР, Героя Соцтруда, а недавно, почти перед смертью, престижную премию Солженицына.

Симпатия наша друг к другу никогда не прерывалась.

Последняя встреча была в Курске, в его доме. Вместе с Михаилом Колосовым мы сидели за рюмкой вина, хотя Евгений Иванович и был уже тяжело болен. Сладко говорили. Он, как всегда, пел, как русский соловей, пересказывал, испытывал на нас свои еще ненаписанные рассказы. Незабываемая встреча. Горько, когда узнал о его кончине.

### **Юрий Оноприенко.**

По духу, по стилю — ближе всех. Я не буду говорить о его рассказах, повестях — они хороши, профессиональны. Но его маленькие зарисовки о природе прекрасны. Точны в деталях, образны — читаю, восхищаюсь.

### **Николай Перовский.**

Классические стихи. Давно уже печатается в центральных изданиях. Читаешь его и наслаждаешься чистым русским словом. А сколько в них русской души, полноты чувств, наблюдательности. Прекрасный поэт и не менее прекрасный душевный человек.

### **Сергей Пискунов.**

Кто не знал этого умнейшего, доброжелательного человека, первого секретаря обкома ВЛКСМ, потом ректора пединститута. Но мало кто знал, что он пишет изумительные короткие миниатюры-рассказы о природе, своих длительных походах в леса, поездках в другие страны...

Слово он любил трепетно, знания его были обширны, и с ним было общение не только интересным, но и познавательным.

Сколько уж лет прошло со дня смерти Сергея, но друзья-товарищи свято чтят его память...

### **Геннадий Попов.**

Сложный человек. То тонкий лирик — поэт. То сухарь — деловой человек — ответственный секретарь писательской организации. Ситуация — не дай Бог каждому. И все-таки преобладает поэт.

**Дмитрий Поружкевич.**

Его я знаю, кажется, сто лет. Работал вместе в «Орловском комсомольце», в областном телерадиокомитете. Немного словен, нетороплив, но надежен, как мало кто. Знал его еще раньше по литературному объединению. Это они, как мушкетеры: Женя Красников, Саша Никитин, Толя Лесных и он — задавали тон. Все они писали стихи. И только недавно, прочитав изданную книгу Димы, я понял, как тонок, глубок, философичен он.

А еще он издает прекрасную газету с портретом молодого Бунина на первой полосе — «Орловский вестник». Его газета — это настоящее прибежище молодых, зрелых и еще совсем юных поэтов, прозаиков. Другой такой газеты нет в городе Орле.

**Петр Проскурин.**

Одно время жил в Орле, куда его перетянул с Дальнего Востока теперь покойный, тогдашний редактор «Орловской правды» Иван Патенков. Познакомились почти в тот же день. И близкое знакомство, почти дружба, продолжалось до самой смерти Петра Лукича Проскурина.

Кто не знает его знаменитых романов «Горькие травы», «Судьба», «Имя твое»... Он часто, живя в Москве, приезжал в Орел со своей обаятельнейшей супругой Лилией Рустомовой. И мы часто бродили по городу, бывали на высоком берегу Дворянского гнезда, и любили, восхищались открывающимися далями, полями.

**Валерий Рогов.**

Боец за русскую нацию, русскую литературу. Сошлись на любви к Бунину. Хороший писатель, а потому и лауреат Всероссийской Бунинской премии.

**Ирина Семенова.**

Талантливая поэтесса. Стихи, как воздух, как молитва. Но и трагичны, как и ее жизнь. Дай Бог ей участия и помощи в ее бедах.

**Леонид Сапронов.**

О нем я уже писал в своей книге «Встреча». Другого ничего не могу добавить.

**Владимир Соколов.**

Тончайший лирик, один из лучших поэтов России. По-знакомились на одном из Фетовских праздников в Орле. А потом как-то подружились. Несмотря на свою известность, высокий талант, был скромнейшим человеком. На писательских съездах, где бы то ни было, всегда первым подходил, пожимал руку, справлялся о здоровье, творчестве. Как-то с Дронниковым, его учеником, зашли к нему в гостиницу «Русь» в Орле. Видя нас помятых, после накануне проведенного пьяного вечера, молча, ничего не спрашивая, спустился в ресторан и принес нам бутылку коньяка, хотя сам уже давно и капли не брал спиртного. Но понимал, как тяжело было нам.

Какой поэт, какая потеря для русской литературы!

**Николай Старшинов.**

Человек, с которым без раздумий пошел бы в разведку. Настолько он был добр, честен, участлив к любому человеку, даже прохожему. Он был готов без раздумий поделиться последней рубашкой, последними штанами.

Учась в Литинституте, я больше жил у него, чем в общежитии института. Он был поэтом, одно время заведовал отделом журнала «Юность», потом стал главным редактором альманаха «Поэзия».

Ему обязаны поэты многих республик страны: и молодые, и совсем юные, и маститые. Это подтвердит и наша орловская поэтесса Ирина Семенова, которую он буквально носил на руках.

Прозаик и поэт. Пристрастия наши иногда не совпадали. Но мы были близки с Николаем Константиновичем до самой его смерти.

**Андрей Фролов.**

Молодой, энергичный. Как не ошиблись, приняв его в наш Союз писателей! Пишет и стихи и прозу. И я теряюсь: что лучше? Хорошая простота, легкий юмор. Его охотно публикуют областные газеты. И я их понимаю.

**Виктор Чалмаев.**

Видный критик в семидесятые годы. Работал заместителем главного редактора журнала «Молодая гвардия» при не

менее знаменитом главном редакторе Никонове. Это в те годы было шумное постановление ЦК КПСС по этому журналу. Никонова сняли с работы, уволили и Чалмаева – главных «почвенников». Как я попал в их поле зрения, не знаю. Наверное, виновата жена Никонова Ольга Кожухова. Это она заметила, выделила, как и Л. Н. Афонин, мои рассказы на первом орловском семинаре.

Заметил их и Чалмаев. И с тех пор по-доброму относился к ним.

**Алексей Шорохов.** Высокий нежный молодой человек. Как его стихи и проза. Но главное – Орловщина всегда страдала – не было настоящих критиков. Были литературоведы – Афонин, Громов, кто-то иногда напишет рецензию. Неплохо начинал Логвинов, но потом почему-то замолк.

И вдруг Алеша Шорохов. Глубоко и тонко понимающий поэзию, прозу. Я часто читаю московские газеты, и Шорохов пользуется там заслуженным успехом. Его статьи о Лескове и др. вызвали широкий резонанс. Не забывает он и орловцев – Ирину Семенову, Юрия Оноприенко и др.

Наконец-то творчество орловцев устами Алексея Шорохова зазвучало и в Москве...



## Содержание

489

Иван Рыжов  
в кадре и за кадром ..... (фотоальбом)

I. СТРАНИЦЫ ПРОЗЫ ..... 5

*Конь золотой* ..... 7

• РАССКАЗЫ • ..... 10

Горькая рябина ..... 10

Аринкин хутор ..... 24

Один день счастья ..... 35

Позднее свидание ..... 58

Встреча ..... 79

Новый дом ..... 91

Под одной крышей ..... 103

Расплата ..... 108

Петрович ..... 124

Ивановна ..... 131

Кинь Грусть ..... 140

Запах земли ..... 152

Лебедушки ..... 167

• ЭССЕ • ..... 186

Мой Бунин ..... 186

490	«На тысячу верст кругом Россия...» .....	190
	«Как раскованно и полно вам живется...» .....	198
	«Жизнь писателя есть отречение от жизни...» .....	203
	Бог в помощь .....	210
	Моя Коровинка .....	214
	<b>• КРАТКИЕ РАССКАЗЫ •</b> .....	218
	Мост .....	218
	Ласковый .....	219
	Я .....	220
	Хулиган .....	221
	Конфета .....	222
	Близкая .....	224
	Дорога .....	225
	Что лучше? .....	226
	Бормотанье .....	227
	Царевич .....	228
	Шорох .....	229
	Былинка .....	230
	Утро .....	231
	Обида .....	232
	Осень .....	234
	Сны .....	235
	Объяснились .....	237
	Встретились .....	238
	Светлый день .....	239
	Пепельница .....	240

Плачу .....	241	491
Одним глазом .....	242	
Праздник .....	243	
Орловская .....	244	
Глухомань .....	245	
Таю .....	246	
Воробей .....	247	
Листочки .....	248	
Стихи .....	249	
Радостно .....	250	
Победители .....	251	
Любовь .....	252	
Красота .....	253	
Предательство .....	254	
Одиночество .....	255	
Здравствую .....	256	
Жарко .....	257	
Первый Спас .....	258	
Художник .....	259	
Поэт .....	260	
Силуэты .....	261	
Ради нас .....	262	
Как не хватает его .....	263	
Роман .....	264	
Богатство .....	265	
Погост .....	266	
Далекое-близкое .....	267	

<b>492</b>	Как мало .....	268
	Как горько и печально .....	269
	И она.....	270
	Частушки .....	271
	Окрест .....	274
	• ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ • .....	275
	1992 .....	275
	1993 .....	279
	1994 .....	293
	1995 .....	297
	1997 .....	300
	1998 .....	303
	2000 .....	306
	<b>II. СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ .....</b>	<b>313</b>
	<i>Автобиографическая заметка .....</i>	<i>315</i>
	• ПИСЬМА • .....	318
	I (письма писателей) .....	318
	II (письма литературоведов) .....	345
	III (письма читателей) .....	356
	• ПОСВЯЩЕНИЯ • .....	362
	И. Александров. Аринкин хутор .....	362
	А. Фролов. Посвящение И. А. Рыжову .....	364
	В. Еремин. «Нет спасения нации нашей...» .....	365

В. Дронников. «Дом престарелых. Глухая тоска...» .....	366
И. Семенова. «Нашей жизни грустную мозаику...» .....	367
Г. Попов. За окном .....	368
В. Ермаков. Пейзаж с настроением .....	370
Н. Перовский. Крест .....	371
• НАДПИСИ НА КНИГАХ • .....	372
• ОТЗЫВЫ И ОТКЛИКИ • .....	381
В. Мильчаков. Любовь к родному краю .....	381
В. Разумневич. Под одной крышей .....	384
В. Разумневич. Под одной крышей .....	385
Л. Сапронов. К человеку с любовью .....	387
Н. Родичев. Под родными крышами .....	388
В. Катанов. Лирическая книга .....	392
Л. Лехтина. Зов земли .....	394
Л. Сапронов. Земные заботы .....	396
Н. Старшинов. Горькая рябина .....	398
В. Максимов. Дебют в «Дебюте» .....	400
В. Максимов. По рассказу писателя-земляка .....	404
М. Георгиева. Запах земли .....	405
Е. Панкова. Звезды светят людям .....	406
И. Грачева. Неразбавленный орловец .....	411
В. Катанов. Зеркало красоты .....	413
Ю. Оноприенко. И это все о нас .....	415
Ю. Оноприенко. Читают и плачут .....	417
В. Еремин. Живой свет .....	419

<b>494</b>	<b>•СЛОВА И РЕЧИ•</b> .....	422
	М. Колосов. Букет пурпурных астр .....	422
	В. Дронников. Родное слово .....	429
	В. Катанов. Весна Ивана Рыжова .....	430
	И. Лободин. Плывут, плывут лебедушки .....	434
	Н. Силаев. Встречи с Иваном Рыжовым .....	435
	Ю. Оноприенко. Беседы в теплый вечер .....	436
	А. Лысенко. Профессионал .....	438
	Д. Порушкевич. Один на один со словом .....	441
	А. Загородний. Видения Ивана Рыжова .....	443
	 <b>• В ЗЕРКАЛЕ КРИТИКИ •</b> .....	447
	В. Чалмаев. Теплое небо Родины .....	447
	А. Шорохов. Запах вечности .....	455
	В. Ермаков. Завороженность .....	464
	 <b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b> .....	475
	Библиография .....	477
	Дипломы к премиям .....	478
	Указатель имен .....	479

ИВАН РЫЖОВ

*К*роза жизни

Ответственный за выпуск *А. И. Лысенко*

Редактор *В. А. Ермаков*

Художественный редактор *А. А. Ермакова*

Технический редактор *Ю. Ю. Евстифеев*

Верстка — *Ю. Ю. Евстифеев*

Корректор *Н. П. Новикова*

Издательство «Вешние воды»  
302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 1.  
Лицензия ИД № 01064 от 25.02.2000 г.

Подписано в печать 24.12.2004 г. Формат 84х108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. п. л. 15,5  
Тираж 1200 экз. Заказ №

Оригинал-макет изготовлен в ООО ИД «ОРЛИК».

Отпечатано в типографии  
с готового оригинал-макета.

